

**АЛЕКСАНДР
СЕКАЦКИЙ
ПОСЛЕДНИЙ
ВИТОК
ПРОГРЕССА**



Александр Секацкий

ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК ПРОГРЕССА

(От Просвещения к Транспарации)



Санкт-Петербург

Александр Секацкий
ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК ПРОГРЕССА

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос-Рус)
КТК 610
С 28

*Издание выпущено при поддержке Комитета по печати
и взаимодействию со средствами массовой информации
Санкт-Петербурга*

Секацкий А.

С 28 Последний виток прогресса (От Просвещения к Транспара-
ции). Исследование. — СПб., 2012. — 332 с.

Книга Александра Секацкого посвящена анализу важнейших процессов современности. Здесь представлена новая философия денег, исследуется тихая революция в сфере эротики и сексуальности, очерчиваются контуры новообретенной синтетической медиа-среды. Словом, автор дает абрис того мира, в котором все меньше места остается подлинному, «классическому» субъекту, однако пришедший ему на смену хуматон как последняя версия человеческого в человеке чувствует себя в этой новой реальности словно рыба в воде. Самое главное часто происходит на задворках громких событий, а затем обнаруживает себя внезапно, как нечто непоправимое и окончательно свершившееся.

ISBN 978-5-904744-09-0 (Некоммерческое партнерство «Агентство
по развитию международных культурных связей “Петербургский салон”»)

ISBN 978—5—8370—0639-5 (ООО «Издательство К. Тублина»)

© А. Секацкий, 2012
© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2012
© А. Веселов оформление, 2012

Часть 1

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
СУБЪЕКТА

СТАТУС ФИЛОСОФИИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР

Критика массовой культуры, одно из любимых интеллектуальных упражнений XX столетия, возникла когда-то как наследница и правопреемница критики здравого смысла, продолжив начатое еще Френсисом Бэконом выявление предрассудков. По сравнению с философией Просвещения и немецкой классической философией особенность нового типа обличений состояла (и состоит) в некотором смещении критической парадигмы: если прежде *обыденное сознание* критиковалось за свойственное ему невежество, то, начиная с определенного момента, главным поводом для негодования интеллектуалов стала *пошлость*. Отсюда вытекает и своеобразное негативное определение: массовая культура есть то, что отвергается за пошлость, при этом сам вердикт о пошлости обжалованию не подлежит.

С позиций инстанции вкуса родоначальниками новой критической парадигмы выступили Бодлер, Ницше и Поль Валери; с позиций теоретической философии — Ортега-и-

Гассет. С тех пор обличение пошлости культурного выбора масс само давно уже превратилось в заезженную пластинку: каждый очередной вклад можно оценивать преимущественно по содержащейся в нем доле язвительности. Но продолжающееся использование дежурных разоблачений представляет и другой интерес, прежде всего с точки зрения сформировавшейся зоны избирательной слепоты (*mesconnaissance* Лакана). Мыслитель левого крыла (то есть современный интеллеktуал) всегда находит, что сказать в адрес эксплуататоров, под какими бы благопристойными личинами они ни скрывались, есть у него что сказать и по поводу современной профанации духовного производства, но вот с обоснованием перехода от одной критической вариации к другой возникают явные трудности.

Условия задачи, стоящей перед левым теоретиком, примерно таковы: как, выражая солидарность с эксплуатируемыми кроткими агнцами (наследниками пролетариата), одновременно уберечь их же от ответственности за овечьи нравы современной массовой культуры? Для решения задачи обычно прибегают к помощи диалектического аттракциона (Э. Ласло, А. Глюксман, Р. Гароди): необходимо выявить формы угнетения, которые в этом случае особенно тщательно скрыты. В результате дело, как правило, сводится к механизмам оболванивания обездоленных, к навязыванию угнетателями своих пошлых вкусов и к другим подобным же приемам дезориентации трудящихся, например к «потаканию низменным потребностям». Виновниками, разумеется, являются потакающие, а не потаемые, которые, напротив, обладают презумпцией невиновности.

Обращает на себя внимание принимаемое «по умолчанию» предположение, будто демократизация обще-

ства — это одно, а та же самая демократизация, развивающаяся в сфере культуры, — нечто совсем другое, например «навязывание стереотипов», выдавание подделок за чистую монету, одним словом — хитрость господствующего разума («цинического разума», как сказал бы Слотердайн). В конце концов возникает наивный вопрос: почему так мало противников демократизации общества (все «за») и столь же мало сторонников демократизации искусства? Иными словами, почему в этом пункте столь редка последовательность аналитической мысли и так очевиден *mesconnaissance*?

Если не считать колебаний Георга Лукача и Антонио Грамши и решительной, но противоречивой позиции теоретиков Пролеткульта (прежде всего А. А. Богданова), среди левых интеллектуалов практически не найти сторонников экспроприации в сфере искусства как процесса духовного производства (а не как «сокровищницы», которую можно и нужно изъять у буржуазии). В результате имманентные друг другу явления получают противоположную оценку «без объяснения причин». Например, инфляция социальных эталонов (присвоение звания «господина» или «милостливого государя» булочнику и мусорщику) рассматривается как социальное завоевание трудящихся и вообще как фактор прогресса цивилизации, а точно такое же социальное завоевание, состоящее в облегчении доступа к артефактам культуры, напротив, рассматривается как инфляция общечеловеческих ценностей.

Культуриндустрия (воспользуемся этим термином из «Диалектики Просвещения») не рассматривается даже как частичный прогресс в деле освобождения, стоящий в одном ряду с сокращением рабочего дня и введением всеобщих избирательных прав. Однако, если напрямую

спросить, чем же доступная культура хуже доступного жилья, ответ найдется не сразу. Возникает даже подозрение относительно самой формы доступности: а что, если принцип демократичности обнаруживает здесь свою невидимую прежде сторону? И не может ли данное обстоятельство бросить тень на демократизацию вообще?

Кроме того, выясняется, что внятно сформулировать отличие массовой культуры от культуры элитарной не так просто, как может показаться. Действительно, если отбросить чисто оценочные суждения, вроде «пошлости» и «потворства низменным вкусам», мы обнаружим лишь один значимый параметр — положение на шкале «легкодоступность — труднодоступность». Но можно ли упрекать культуру за ее слишком легкую доступность?

На самом деле очень даже можно, только тогда уж надо быть последовательным. Чрезмерная доступность культуры автоматически вызывает понижение статуса духовности. Казалось бы, ну и что: доступность автомобиля тоже лишает его статуса предмета роскоши, однако никому не приходит в голову сокрушаться по этому поводу. Дело в том, что культура изначально выстроена как иерархия ценностей и дистанцирована (это входит в ее определение) от режима повседневности. Отсутствие или даже сокращение такой дистанции приводит к сущностной эрозии базисного проекта человеческого в человеке, но политкорректная философия не хочет признавать, что эрозия вызывается именно упразднением дистанции, предпочитая вновь говорить об «опошлении» и «засилье чистогана», о проникновении товарной формы в духовное производство. Ведь стоит признать, например, что *высокое искусство* зависит от своей высоты и с ее утратой лишается и собственной сущности, как сразу же возникает необходи-

мость пересмотреть роль дистанций в организации социальности. Автоматическая доступность культуры, вплоть до ее вызова нажатием кнопки, меняет в ней что-то принципиально важное даже безотносительно к содержанию, а отсутствие встречной аскезы читателя или зрителя приводит и к содержательным изменениям.

Таким образом, массовая культура, взятая в ее ценностной нейтральности, — это прежде всего новый способ адресации определенного типа сообщений: это послание с доставкой на дом. Посылка, за которой приходилось «идти на почту», теперь вручается потребителю прямо в руки расторопными медиа-посредниками¹. И здесь мы сразу же сталкиваемся с общей проблемой трансляции знаний, в частности с моментом сокровенности истины. Приходится отметить, что сокровенность и выстраданность истины конституирует форму истинного вообще. При этом дистанцированность истины мотивируется самими различными способами — от хасидского принципа «Шехины в изгнании» до гегелевского «результата вместе с процессом». И во всех случаях эзотеризм выступает как некая оптимальная форма организации и трансляции знания.

Развивая дальше напрашивающиеся выводы (пока в предварительном порядке), нетрудно заметить, что *картезианская революция* предстает как демократизация истины: пафос Декарта состоит как раз в общедоступности ясного и отчетливого, а результатом революции становится торжество рационализма. Процесс демократизации

¹ Жак Деррида в своей «Почтовой карточке», обыгрывая метафору почтовой связи, странным образом обходит такие важные параметры, как скорость и время доставки (Деррида Ж. Почтовая карточка. М., 1998).

истины идет рука об руку с политической демократизацией и даже кое в чем опережает ее: можно смело сказать, что рационализм и либерализм — это близнецы-братья, хотя и не помнящие родства. Демократизация культуры несколько запаздывает по времени, но следует тем же закономерностям — все ее основные этапы параллельны общему процессу распада иерархий (например, появление периодической печати в XVII веке подготавливает почву для доставки на дом тех ценностей, к которым прежде приходилось совершать паломничество). Гора долго не хотела идти к Магомету, но его упорство победило: гора сдвинулась и пошла.

Новый ускоренный способ дистрибуции культуры сразу же вызвал негативную реакцию субъектов духовного производства — и продолжает вызывать ее до сих пор. Защитники общедоступной истины и всеобщих гражданских прав отнюдь не приветствовали звоном щита явление массовой культуры, хотя и не смогли дать никаких вразумительных объяснений по этому поводу. Теоретическое рассогласование между органически родственными тенденциями сохраняется и даже усиливается. Так, к примеру, право Художника отказать в снисхождении потребителю творческого продукта продолжает отстаиваться в качестве принципа (и подкрепляется различными премиями и грантами, вручаемыми, как правило, наименее снисходительным творцам), но фактическое положение дел демонстрирует безраздельное господство массовой культуры. Отказ Гегеля изложить свою философию «кратко, популярно и по-французски» сегодня может рассматриваться только как элемент кокетства, например как призыв к сценаристам и прочим медиа-посредникам: «Ребята, для вас есть хорошая работа».

Резко критическое отношение к культуриндустрии абсолютного большинства специалистов по словам содержит в себе моменты необъяснимости, какой-то фатальной непроясненности оснований. И все же суть недоговариваемого упрека можно эксплицировать в духе Деррида: культура с доставкой на дом не сохраняет важнейших кондиций собственной изначальной определенности. Разрушаются витамины роста (духовного роста страждущих), пропадает всхожесть семян... Отсутствие необходимости встречных движений со стороны адресатов приводит к гиподинамии. Обе стороны, и отправитель и получатель, несут серьезные потери, а в конечном счете и невосполнимый ущерб. Имплицитно критика массовой культуры предполагает, что исчезновение разности потенциалов неминуемо влечет за собой свертывание деятельности, переход к простой репликации наличного.

Но если такое обвинение признать справедливым, от него можно оттолкнуться в последующем рассмотрении сопредельных феноменов. По аналогии уместно будет задаться вопросом: а не так ли точно обстоит дело и с общедоступностью гражданских прав? Что, если и здесь автоматическая доставка на дом приводит к схожим последствиям? Сопоставление «массовой демократии» с массовой культурой еще недавно могло бы показаться лишенным оснований, но именно схожесть последствий, проявившаяся в самое последнее время, подтверждает обоснованность сближения.

Ростки демократии точно так же чахнут, если отсутствует встречное усилие субъекта. Пока еще никто не опроверг мысль, поэтически выраженную в строках Гете:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!

Утрата всех различий между господином и *первым встречным* подспудно приводит к медленным, но необратимым изменениям. Сегодня мы можем говорить о перерождении демократии и ее преобразовании в политкорректность. Ручная, одомашненная свобода не заслуживает своего имени, точно так же как массовая культура не заслуживает принадлежности к родовому имени «культура». Если уж столько говорят о «потворстве низменным вкусам», пора задуматься и о результатах потворства гражданскому инфантилизму, тем более что они вместе (в содружестве с облегченной истиной) образуют континуум, лишенный внутренней иерархии. Принадлежность к этому континууму не требует специальных подтверждений и принимается по умолчанию. Нетребовательность, снисходительность, попустительство могут рассматриваться как общие черты принадлежности к континууму любого духовного порядка. Инфляция ценностей приводит к предсказуемому исходу: никто больше не дорожит своей причастностью ни к гражданским правам и свободам, ни к *произведениям*, заставлявшим трепетать сердца паломников. А раз не дорожит (да и как можно дорожить дешевкой?), то и не собирается ничем жертвовать ради того, что когда-то было выстрадано всей европейской историей. В результате бесконтрольная, общедоступная, прежде выстроенная в иерархию, а теперь сваленная в кучу атрибута субъекта «портится» и расхищается. Принадлежность к континууму обеспечивается предъявлением пропуска простейшего образца: предъявлением денег. Речь не идет о какой-то определенной сумме вроде имущественного ценза — достаточно в политкорректной форме обозначить их наличие, это и будет паролем: «Мы с тобой из одного континуума, ты и я». Так в первом приближении выгля-

дит пришедшее на смену иерархической духовности новое единство: массовая культура (культуриндустрия) — доступная массам истина (позитивизм) — общедоступная обесцененная демократия (политкорректность). В дальнейшем мы будем называть это единство «Плоско-Субъектный Континуум», сокращенно — ПСК.

Что же должна делать в такой ситуации философия? Следует ли ей вновь претворить себя в критику действительности, как это было сделано во времена Маркса? Учитывая схожесть положения вещей, такая реакция была бы естественной. В сущности, она и последовала: критика ПСК началась одновременно с его формированием, но с самого начала шла с явным перекосом. К примеру, «здравый смысл» никто не рассматривал как экспроприацию истины у ее монополистов — наоборот, его осуждали и продолжают осуждать как проявление невежества. Изобличение массовой культуры, возникшей из упразднения духовной иерархии, продолжается неустанно. Но вот критики экспроприированной у господина и распределенной между первыми встречными свободы что-то не слышно.

Таким образом, «дальнейшая» философия оказывается у развилки, причем выбор любого из двух направлений связан с немалыми трудностями. Можно, к примеру, проявив последовательность, подвергнуть критике ПСК как единство всех его составляющих. Исследование такого рода могло бы называться «К критике общедоступной демократии». Нет сомнений, что оно носило бы маргинальный характер, как и все выступления против политкорректности, контрколонизации, засилья экологического маразма. Ни один европейский или американский университет не отважился бы предоставить работу

профессору, публично отстаивающему подобную точку зрения.

Другая возможность связана с новой попыткой самоопределения философии. В этом случае философия должна покинуть свою привилегированную позицию, расположенную по ту сторону житейской мудрости, и смириться с экспроприацией своей родовой собственности — тезауруса европейской метафизики. Следует признать, что пресловутая сокровищница духа растащена по частям или утрачена в не востребованности, — и тем не менее духовные запросы сегодняшнего дня, какими бы они ни были, нужно принять как руководство к действию. Так врач, лишившийся своих справочников, энциклопедий и большей части хитроумных приспособлений, все же должен прибыть к больному и попытаться оказать ему помощь.

Сегодня субъект, к которому обращается отказавшийся от своих наследственных привилегий философ, — это *первый встречный*. Он, вообще говоря, не слишком симпатичен, но, во-первых, и пролетарии, представшие когда-то перед младогегельянцами, отнюдь не выглядели агнцами, а во-вторых, другой коллективной аудитории попросту нет: за единством первых встречных сразу открывается архипелаг одиночных сознаний. Но к одиночеству *Dasein* философия и без того обращена, тут не требуется никакого дополнительного самоопределения. Если же смена идентификации все-таки предпринимается, например, в поисках новых резонансов расслышанности и востребованности, приходится полюбить первого встречного таким, каков он есть. Это значит — внимательно вслушиваться в новую тональность *Gerede*, отслеживать попытки консолидации косноязычной речи, с уважением или по крайней мере с заинтересованностью относясь к анонимным фигурам анонимного языка.

Взять на себя миссию вразумления невразумительной речи — задача, не лишенная притягательности, когда-то этим путем шли Данте и Петрарка, Рабле и Мартин Лютер... Сегодня дискурсивная техника постмодернизма широко использует нарезку из неприхотливых высказываний культуриндустрии и сферы mass media, но при этом воспроизводится та же дистанция, которую еще Гегель выбрал по отношению к здравому смыслу. Постмодерн — это отчет перед инстанцией Высокой философии о результатах служебной командировки в зону общедоступной культуры, полуфабрикатной истины и «свободы», прекрасно чувствующей себя на поводке политкорректности. Попытка нового самоопределения философии, напротив, должна быть связана с безотчетным пребыванием в ПСК, с долей самозабвения и без оглядки на требования высоких инстанций. Такое пребывание требует внимательности, искренности, своеобразного бесстрашия перед наивностью и банальностью первого встречного. Что, как и в первом случае, наверняка означает исключение из цеха дисциплинарной философии.

Обвальное разрушение бастионов круговой обороны от мира, почти полная отмена паролей и кодов доступа существенно упростили процедуру самоидентификации субъекта. Быстрорастворимый культурный паек усваивается без всяких усилий, по существу, демонтированы и пограничные барьеры инициаций. Проблема «стать самим собой» из сверхзадачи превращается в простое усвоение рецептуры, поскольку отмечаться на контрольных пунктах больше нет необходимости. Сегодня подтверждать свое «попадание» в гендер, в определенность свободного гражданина или культурного человека, равно как и попадание в признанность или в струю моды, достаточно легко, поскольку

все эти эталоны изъяты из трансцендентного и размещены непосредственно в плоскости континуума. Зачем каждый день идти на бой за что-то неосязаемое, если можно собрать пять наклеек от бульонных кубиков и выиграть поездку на Гавайи, а заодно и приз признанности. Есть, понятное дело, и свои трудности, но это уже не те трудности, что определяли бытие-к-смерти. Они преодолимы, если только отказаться от завышенных притязаний. Тогда можно решить триединую задачу обретения собственной аутентичности: избавиться от шести признаков нездоровых волос, от фаллоκραтических привычек, а главное, от недоверия к первому встречному. В соответствии с упрощенной процедурой сегодня достаточно быть кем-то, хотя бы первым встречным, чтобы получить подтвержденный статус признанности в качестве субъекта.

Снижение требований признанности до минимума приводит к любопытным, но очень характерным последствиям: в принадлежности к континууму не отказывают и существам, не принадлежащим к виду *homo sapiens*, — домашним и диким животным (если они неагрессивны и «свободолюбивы»), динозаврам, персонажам мультиков, инопланетянам, оборотням и вампирам. Чтобы признать сопринадлежность любого существа к новому континууму плоской субъектности, вовсе не требуется съедать с ним пуд соли, ходить в разведку или делиться заветными мыслями; достаточно того, чтобы он (или, скорее, оно) не трогал(о) меня, тем более что эта минимальная лояльность как раз и задает предел вместимости Другого в собственные структуры понимания и сопереживания. Больше инаковости просто не поместится, уровень возможной рецепции иного практически совпадает с уровнем приветливости к первому встречному. Внутри континуума,

сменившего гегелевский *Weltlauf*¹, прослеживается резкое сужение разброса аффектов (анестезия), сокращается глубина погружения в культуру или, если угодно, высота взлета; все это дополняется распрямлением множества тайных пружин, очень может быть, что сегодняшние «черски нравов» показались бы Ларошфуко или Шамфору чересчур пресными.

Англо-саксонская цивилизация (прибегнем к этому условному термину) и в первую очередь Америка как общество самой последовательной демократизации в известном смысле уже обеспечила для рядового гражданина доступность всех измерений духа; именно она в зримой форме демонстрирует и лицевую, и оборотную стороны медали.

Так, нельзя не признать определенных достижений, скорректировавших естественный ход вещей в отдельно взятом анклаве социальности. В этом анклаве постиндустриального общества едва ли не впервые в истории цивилизации удалось несколько потеснить коррупцию и семейственность, удалось поставить под сомнение априорную привилегированность *родича*. Но похоже, что урон, который при этом претерпели узы родства, существенно превышает прибыль, полученную от «оздоровления социального климата». Родственные связи стали значительно меньше влиять на деятельность в сфере публичного, зато сама публичность с ее абстрактными, наигранными эмоциями вторглась на территорию частного, вмешавшись в отношения с теми, кто никогда не рассматривался как

¹ «Естественный ход вещей», его анализу посвящена пятая глава «Феноменологии духа», где Гегель демонстрирует, как вся совокупность превратностей работает в конечном счете на поддержание неизблемости естественного хода вещей (Гегель. Феноменология духа. СПб., 1992. С. 152–208).

первый встречный. Конвенциональность социальных ролей продолжает свое наступление на безусловность родственных уз.

Любопытным в этом отношении документом являются брачные контракты, число страниц в которых измеряется уже десятками. В них оговаривается все, включая запрет или «нормирование» использования крепких выражений¹. Такие же формальные моменты (вообще свойственные англо-саксонской цивилизации) получают свое преобладание и в сфере воспитания детей. По отношению к ним исполняются формальные обязательства, причем исполняются неукоснительно, в противном случае любой посторонний может указать полиции на ненадлежащее исполнение родительского долга — как если бы речь шла о невозврате задолженности по кредитам. О таком формальном понимании долга Канту приходилось только мечтать. Но и дети платят родителям той же монетой, в результате *отчий дом* в современной Америке — это дом престарелых — разумеется, вполне комфортный дом, где удовлетворяются все разумные, точнее говоря, рациональные потребности. Дети регулярно, по графику, навещают своих престарелых родичей, уделяя им столько же внимания и доброжелательности, как и *клиентам*.

Согласно социологическим опросам Public Welfare Foundation, более четверти американцев не знают имени своего деда². Что бы ни значил этот факт с точки зрения морали, он имеет вполне определенный смысл с позиций структурной антропологии. Существует любопытный критерий зрелости цивилизации, предложенный Грегори

¹ Marriage Activity in Modern America. Ed. by J. C. Peannet. N. Y., 2001. P. 84.

² Ibid. P. 104.

Бейтсоном: чем архаичнее общество, тем больше глубина родовой памяти. В наиболее продвинутом по этому критерию американском обществе каждый третий не помнит имени своего деда, а во всемирно известном благодаря Леви-Строссу племени бороро любой пятилетний мальчик знает имя своего прапрадеда в седьмом колене, не всегда умея при этом считать до семи. И различие между Россией и Америкой состоит прежде всего в том, что в Америке уже наступила анестезия, и граница между «родными и близкими», с одной стороны, и «первыми встречными» — с другой едва уловима. Тем самым новая модель сборки человеческого в человеке запущена в серию и успешно (по-своему) действует. В России, при всей социальной катастрофичности повседневного бытия, о какой-либо анестезии говорить не приходится, напротив, общество находится в состоянии воспаленного отцеприимства, о чем, между прочим, и свидетельствует передний край современного кинематографа¹.

Утеря терминов родства идет параллельно с другими сходными процессами. Все в совокупности они реализуют упрощенный процесс сборки субъекта, выработанный философией и социальной практикой Просвещения. Можно лишь сказать, что англо-саксонская цивилизация дальше других продвинулась в этом направлении и обзавелась некоторыми константами необратимости, включая утерю различения между местоимениями «ты» и «вы» на грамматическом уровне.

Перерождение межличностных коммуникаций видно, так сказать, невооруженным глазом. Но, пожалуй, еще более важным моментом является проникновение

¹ См.: Секацкий Александр. Отцеприимство // Сеанс. 2005. №21–22. С. 199–205.

принципа политкорректности в человеческую сенсорику. Уже в «Диалектике Просвещения» Адорно и Хоркхаймер отмечали «стремление к минимизации чувственного присутствия». Следует быть как можно незаметнее, чтобы не бросаться в глаза, чтобы так и оставаться первым встречным пред лицом первого встречного. Не привлекать внимания и не обращать внимания — утопия вежливости, вполне тем не менее реализованная на повседневном уровне. Главное — никакой агрессии, и тут вроде бы нечего возразить, но понятие агрессии сегодня расширилось до невообразимых ранее пределов. Слишком оживленный разговор в публичном месте — агрессия, случайное сокращение дистанции между прохожими — тоже агрессия, о «сексуальных домогательствах» нечего и говорить. Допустим, *близкие* все воспримут как должное — но что может значить мнение близких по сравнению с удобством первого встречного?

Уже лет десять назад в качестве проявления агрессии стало восприниматься использование духов и дезодорантов, сегодня эта тенденция дошла наконец до официальных запретов «применения» духов в офисах и некоторых публичных местах. Остается ждать включения сильнодействующей парфюмерии в разряд химического оружия. Возможно, что следующим шагом станет запрет специй и пряностей на «предприятиях общественного питания», ведь переход к *безвкусной пище* вполне можно расценить как новую победу над агрессией. Пока очевидно лишь одно: попытка построить мир, где «все люди братья», безнадежно провалилась. Похоже, что строительство мира, где все друг другу посторонние, продвигается куда более успешно.

Теперь от системы внешних оценок перейдем к внутреннему отчету — подобные челночные движения нам

придется совершать еще не раз, чтобы добиться объемного изображения. Очень важно проследить «скромное обаяние» ПСК так, как оно видится изнутри, тем самым мы получаем возможность выявить основания и пределы его жизнеспособности. Позитивные оценки своей среды обитания адаптированными к ней субъектами сводятся к двум главным пунктам: к прозрачности и предсказуемости. Эти моменты существенной экономии присутствия противопоставляются любой критике в качестве универсальных компенсирующих факторов. Ну ладно — пусть «потворство низменным вкусам», сглаживание духовного рельефа, анемия гражданского самоопределения, поверхностность, нарастающее забвение культурной традиции, etc., но *зато* — прозрачность основополагающих отношений, отсутствие скрытых угроз, хотя бы в силу разблокирования самого *скрытого* в качестве прибежища традиционного субъекта. Должны же быть какие-то дивиденды, полученные от упразднения сокровенного... Теперь, по крайней мере, все подводные камни и камни преткновения находятся в пределах визуального контроля. «Ближние» с их бесконечными претензиями уравнины в правах с первыми встречными, не говоря уже о «дальних», с которыми непосредственная встреча не грозит. Их проблемы теперь стали прозрачны (в частности, благодаря mass media) и даже получили статус общечеловеческих проблем. Основания для превосходства, определявшегося принадлежностью к определенному уровню иерархии (к благородным, к знающим, к богоизбранным), упразднены уже Просвещением и сопутствующими буржуазными революциями, теперь же наконец упразднены основания и для *чувства превосходства*. Все привилегии стартовых позиций, все «региональности» заменены единой стратегией успеха.

Эта стратегия имеет общий алгоритм, но для большей универсальности она снабжена еще датчиком случайных чисел: этот датчик в последний момент определяет, кому именно высунуться в окна mass media. И этим не исчерпываются преимущества новой имманентной среды обитания субъекта (ПСК).

Существенно еще и то, что индивиды, «собранные» в соответствии с новой моделью сборки субъекта, к такой среде адаптированы; не то чтобы они чувствуют себя здесь совсем как дома, но другого дома у них точно нет. Критика массовой культуры от имени европейской метафизики для них то же самое, что проповедь воздушной стихии для рыб: рыбы могут признать преимущества воздушной среды в соответствии с аргументами чистого разума, но не перестанут от этого быть рыбами.

Именно принадлежность к разным экзистенциальным проектам и обуславливает в первую очередь взаимное непонимание классических субъектов и их наследников. Достоверность бытия в пространстве публичного, достоверность дистанций высокой культуры, экзистенциальный пафос истины — все повисает в воздухе. Дело в том, что теперь эти требования чужеродны и попросту нераспознаваемы, им не соответствует никакая внутренняя достоверность присутствия. Тенденция к аутизму, ставшая простой наличной данностью (подобно уклонению к неврозу, присущему субъекту во времена Фрейда), требует для себя приемлемого устройства социума, и это требование принято к исполнению. Существующие тенденции тем самым вполне могут рассматриваться как движение в сторону обретения «оптима условий существования» (Ницше). Для уходящего с исторической арены классического субъекта они суть потери духа, для нового индивида, адапти-

рованного к ПСК, наоборот, достижения или завоевания. В таком двойственном свете предстает девальвация сокровенного (в порыве откровенности субъект всегда провозглашал: «Мне нечего скрывать!» — но только теперь скрывать стало действительно нечего) и все большее сближение субъекта с вещами по своему *внутреннему устройству*. Несовместимость двух моделей сборки уже начинает проявляться на уровне реакции избегания: *правильные индивиды* должны держаться подальше от «подозрительных субъектов» и наоборот; сохраняющие верность традициям должны противопоставлять себя обитателям ПСК. Так философия, поскольку она монополизирована классическим субъектом, демонстрирует реакцию теоретического избегания. Но, как уже отмечалось, демонстрирует очень непоследовательно, пытаясь развести в разные стороны единые по своей сути процессы, например демократизацию истины и инфляцию гражданской правомочности. С таким же успехом можно было бы пытаться разделить две составляющие дождя: то, что он освежающий и *живительный* (достижение, которое следует всячески приветствовать), и то, что он *мокрый* (наверное, потому, что это еще не совсем правильный дождь).

ИСПЫТАНИЯ ЧИСТОГО РАЗУМА

Разум привык справляться с традиционными вызовами — с проблемой познаваемости мира, с неподтвержденностью своей причастности к высшим смыслам бытия... Вообще разуму по силам любой противник, которому можно придать умопостигаемую форму. Другое дело обстоятельство неразумной действительности: по отношению к ним возможности разума ограничены. Наиболее продуманный ход состоит в том, чтобы объявить их недействительными: так поступали Кант, Гегель и многие другие представители метафизики. На какое-то время их можно вынести за скобки, ограничившись их облегченной умопостигаемой формой, которая в этом случае обретает роль ярко очерченной мишени для критики.

В отношении нового континуума, преобразовавшего *естественный ход вещей* (Weltlauf), такими факторами явились деньги и газеты — вещи, казалось бы, совершенно второстепенные для трансцендентального субъекта. Их воздействие (в том числе на трансцендентальные принципы устройства разума и самой субъектности) было преодолимым, пока они действовали относительно независимо друг от друга, но ситуация изменилась, когда все факторы сошлись вместе и, так сказать, сработали в унисон. Пока мы в предварительном порядке рассмотрим участие этих факторов в преобразовании модели сборки субъекта.

Роль денег в качестве фактора, сравнивающего все неравенства (все прочие неравенства), можно считать общеизвестной¹. По своему разрушительному воздействию на

¹ Уже Георг Зиммель рассматривает это обстоятельство как очевидное и не требующее дополнительных обоснований. См.: Зиммель Г. *Философия денег*. М., 2001.

любую социальную иерархию денежное обращение превосходит все прочие факторы, включая и социальные революции (последние зачастую являются санкцией уже произведенных деньгами разрушений). Новый порядок обменов, утверждаемый и утвержденный деньгами, резко ускоряет циркуляцию вещей, сводя даже самые разнородные из них, благодаря товарной форме, в единый континуум. В конце концов конвертируемыми оказываются и такие замкнутые вещественные регионы, как реликвия и милостыня.

Таким образом, деньги утверждают себя как простой и универсальный повод для общения, отменяя заодно множество сложных, «иерархических» поводов. Мир, омываемый денежными потоками, прост и в меру мистичен; можно даже сказать, что мистический неопримитивизм денег аннулирует все прочие мистические составляющие общения и бытия в мире.

Параллельно с усреднением поводов для общения схожие события происходят и в иерархии знаний. Традиционная иерархия знающих и приобщенных (неплохо соединявшаяся, в частности, с дисциплинарной наукой) постепенно уступает место континууму информированных: роль газет в этом процессе трудно переоценить. Достаточно полная структурная аналогия денег и новостей способствует резонансному воздействию этих факторов.

Журналистика возникает как санкционированная руморология; начало процесса можно рассматривать как получение импульса ускорения, в результате чего «облегченные», не связанные достоверностью фрагменты знания поступают в круг обменов. Уже преддверие «фельетонной эпохи» (прекрасный термин Германа Гессе) удостоилось не меньшей критики, чем массовая культура в целом. С позиций дорогостоящего сакрального знания выделе-

ние чистого листа бумаги для записи непроверенных слухов указывает на некоторое помутнение коллективного разума; если же речь идет о печатной странице, да еще и периодически возобновляемой, перед нами уже очевидный симптом, оценка которого зависит от точки зрения. Симптом может сигнализировать о наступлении новой реальности или о всеобщем помешательстве. Во всяком случае, слово «газета» в переводе с итальянского означает самую мелкую монетку. «Gazetta» — исторический синоним таких русских понятий, как «дешевка» или «ломаный грош»; тем самым определяется одновременно и экономический, и интеллектуальный номинал явления.

Традиционные формы духовных посланий, такие как манускрипты и книги, вынуждены были потесниться и уступить свое место медиаторам, подлежащим свободной массовой рассылке, в идеале — с доставкой на дом. Событие это оказалось революционным во многих отношениях, ведь «сумма руморологии», сначала просто удостоившись фиксации, обрела постепенно статус общественного мнения, которое, в свою очередь, проделало путь от «мало ли что болтают» к *vox populi*. Соответственно, плоскость газетного листа стала прообразом культурной плоскости еще до формирования среды *mass media*, окончательно определившей раскадровку мира. Культуриндустрия перестроила определение единичного события и утвердила новое понимание событийности вообще. Сегодня конституирующим признаком события является его *медиапригодность*¹. «Срезание» труднодостижимых культурных вершин и «засыпка» эзотерических глубин — таким предстает процесс дальнейшего «расколдовывания» мира, если

¹ Секацкий А. К. Труд художника: вид сверху // Ракурс. 2001. №1. СПб. С. 26–29.

воспользоваться термином Макса Вебера. Выравнивание рельефа шло по крайней мере в течение трех столетий, реализуя волю и идеологию Просвещения, но до сих пор лишь в сфере политики принцип равенства получил эксплицитное выражение и был включен в список гуманистических ценностей. Ускорение актов обмена адекватно воплощается и в движении денег, и в бегущей строке новостей. При этом не следует забывать, что разогнать до такой скорости можно лишь то, что предварительно освобождено от своей содержательной нагрузки и отделено от моментов высшей интенсивности присутствия.

Так, вещи, движимые деньгами (товары), уже лишены всех своих биографических составляющих, избавлены от весомой печати мастера и поэтому сдвинуты со своих мест. Это принципиально поверхностные вещи — ровно в том же смысле, в каком мы, например, говорим о «поверхностных взглядах». Вся их полезность или значимость сосредоточена на поверхности, вынесена на пульт, повернута лицом к пользователю — и все они тяготеют к разовому потреблению как к своему идеалу¹. Следует отметить, что поверхностные вещи вписаны в мир, где уже существует легкое чтение, легкая музыка, «быстрая еда» (fast food), адаптированная истина и облегченная до полной невесомости правомочность гражданина. Лишь в единстве и в содружестве все эти феномены обретают укорененность друг в друге — то, что Делез и Гваттари называли «ризоматической дистрибуцией»².

¹ Такова любимая тема метафизических вариаций позднего Хайдеггера. См., напр.: Хайдеггер М. Вещь и творение // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993.

² Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 2007.

Взгляд на те же самые явления с другой стороны границы, фиксируя их соприродность друг другу и единому целому, позволяет констатировать факт обретения единства человечества в том смысле, что «человечество» перестает быть теоретическим концептом, а становится простой повседневной данностью. Нельзя не признать, что в отличие от всех грандиозных утопий прошлого проект глобализма опирается на социальные и социально-психологические реалии. Главная проблема, как всегда, состоит в «узнавании» замысла сквозь все превратности самовоплощения. Да, «всемирность» массовой культуры карикатурна не только если сравнивать ее с «духовными медитациями» Николая Рериха и Альберта Швейцера, но и с точки зрения вполне рациональных проектов Просвещения (например, американской конституции). Тем не менее для каждого пункта «всемирной отзывчивости» или «действительности разумного» найдется свой коррелят в ПСК.

Так, индивиды, в той мере, в какой они действительно включены в континуум, не чувствуют этнической чужеродности включенных в этот же континуум первых встречных. Пометка инаковости снимается при погружении в поток массовой культуры: эзотерическое становится экзотическим (К. С. Пигров), а качественная иерархическая неопределенность растворяется в количественной шкале, имеющей ряд конвертируемых измерений (деньги, новости, рейтинги, мораль в ее «диснеевском» понимании).

Ясно, например, что размывание иерархий и исчезновение полярностей приводят к оскудению духовных источников в прежнем понимании этого слова. Упадок движущих сил действительно обнаруживается «в окрестностях» тех импульсов деятельности, которые одухотворяли европейское человечество на протяжении нескольких последних

столетий. Например, явно иссякла мотивация, названная Максом Вебером протестантской этикой. Но зато генераторы активизма нового типа работают на полную мощность. Деньги создают устойчивое неравновесие¹ между воображаемым и реальным, и этот перепад потенциалов обеспечивает не только разовые «спайковые» разряды алчности, относящиеся к древнейшему типу, но и регулярный ток высокого напряжения — полезную работу в любой точке приложения генератора.

В унисон наиболее универсальной денежной мотивации действует и другой фактор — императив *свежих новостей*. Необходимость ежедневного заполнения пустующих ячеек новостей активизирует инфраструктуру mass media, ориентированную на ежедневную выпечку информационного «хлеба насущного». Представить себе день, в который не случилось бы ничего или хотя бы «ничего достойного публикации», невозможно. Если бы даже человечество проспало сутки подряд (за исключением находящихся под напряжением структур mass media), недремлющие СМИ все равно выдали бы продукцию на уровне среднесуточной медиаемкости. Мир обречен непрерывно передавать репортаж о себе — и эта принудительность сильнее даже коллективной воли трех остальных ветвей власти. Ячейки континуума не могут оставаться пустыми: принудительный вброс ежедневной порции новостей все равно будет осуществляться под воздействием вакуумного насоса воспроизводимых ожиданий — подобно тому, как вброс вещей-товаров вызван циркуляцией коллективного воображения, грезящего на языке денег. «Творческий дефицит» как

¹ Этот термин, введенный Эрвином Бауэром для описания исходных принципов живого, прекрасно работает и на уровне социальной физики. См.: Бауэр Э. Теоретическая биология. М. — Л., 1935.

импульс деятельности в обоих случаях проявляется схожим образом. Воронка, создаваемая разгоряченным воображением, активирует и непрерывно подпитывает волю к безоглядному потреблению. В результате безостановочно крутятся колеса и мигают лампочки иллюзиона современной экономики.

Тем самым система денежно-информационных обменов воспроизводится как универсальный метаболизм социального организма — круговорота, который после долгой насильственной ассимиляции вобрал в себя остатки прежних автономных метаболизмов: сакрального знания, потлача, мироустроительного жертвоприношения. Ассимиляция, соответственно, сопровождалась подчинением прежних территорий — юрисдикция новостей и денег как раз и обеспечивает желаемую прозрачность, разрушая архаические барьеры прежних суверенитетов и обесмысливая ценности, которые не могут передаваться путем облегченных универсальных обменов («не помещаются» в канал передачи).

ОТ ИММАНЕНТНОСТИ ДУХА К СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ПЛОСКОСТИ

Уместно взглянуть на проблему с позиций традиционной метафизической проблематики, привлекая к рассмотрению прежде инородные для нее «данные». Дело в том, что *современность*, взятая в масштабе ее существенности, способна служить аргументом, и притом аргументом решающим, даже для самой имманентной философии. Речь идет не о точке внеположности, позволяющей рассматривать духовное производство как идеологию, а скорее о тезисе Декарта: «Эмпирическое для Бога есть метафизическое для человека».

Решающий аргумент вполне может находиться не в экзистенциальной, а в социальной плоскости; им, как в нашем случае, может быть и сама социальная плоскость, возникшая на месте прежнего высокогорья. Если взять известный тезис Гегеля о разумности действительного, то его судьба служит хорошей иллюстрацией использования такого аргумента, как «современность», которая ведь не сводится к наличному бытию и внешней поступи духа. Является ли природа инобытием идеи, а история — действительностью духа, как полагал Гегель, или же осмысление (приведение к форме умопостигаемости) представляет собой внешнюю, порой насильственную процедуру, перпендикулярную по отношению к действительности? Теоретического разрешения спор не имеет, в том смысле, что обе «процедуры» могут оказаться неразличимыми в

окончательном результате¹, поэтому решающее значение принадлежит самой процессуальности, в ходе которой выявляется внутренняя согласованность самости и субстанции или, наоборот, рассогласованность, требующая неустанной «работы негативности».

Любая имманентная философия явно или неявно утверждает принцип умопостигаемости мира. Это может быть «порядок явлений» по Канту или соприродность разума и законов природы по Гегелю. Но «обратная сторона Луны» есть не только у Луны, с точки зрения *подозрительного субъекта*, подобная обратная сторона есть у всех вещей вообще. Сомнения Декарта — это лишь концентрированное выражение неустрашимых подозрений субъекта о возможности «манипуляций» на невидимой стороне вещей. Кант принципиально отказывается обсуждать эти возможные манипуляции, Маркс и Фрейд, каждый по-своему, «разоблачают» их сущность. В конце концов, образ калейдоскопа остается вечным примером изнанки имманентного: геометрически правильные узоры, чудесным образом чередующиеся в поле видимости, представляют собой результат встряхивания битых стеклышек там, на невидимой стороне.

Вот и обвинения в адрес Гегеля сводятся к «слишком поспешной имманентности» в описании хода вещей (Weltlauf). Критике подвергается прежде всего процедура «снятия» (Aufheben): от Маркса и Кьеркегора до Теодора Адорно мы обнаруживаем целую палитру упреков и разочарований по этому поводу. Если суммировать основные пункты обвинений, получится примерно следующее.

¹ И сам Гегель колеблется в этом отношении, его позиции в «Феноменологии духа» и в «Лекциях по философии истории» заметно отличаются друг от друга. Александр Кожев считал, что духу гегелевской философии скорее соответствует не тезис «всё развивается», а тезис «всё развиваемо» (А. Кожев. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2004).

В операции *Aufheben* разумное настолько нетерпеливо по отношению к действительному, что само действительное мало чем отличается от воображаемого. «Снятие», выполняя роль универсальной отмычки, не дает даже продемонстрировать изошренность разума, чем заведомо занижает планку возможностей демонстративной метафизики. И наоборот, именно в изображении превратностей постклассический разум предстает во всем своем блеске — идет ли речь о превратностях истории, о судьбах влечений или о приключениях благих намерений. Негативная диалектика Адорно стремится вобрать в себя спекулятивную диалектику Гегеля как частный случай, относящийся к уже обработанной духом действительности (например, к образованию), подобно тому, как теория относительности включает в себя частный случай классической механики¹.

Самая яркая аргументация связана с высадкой на обратной стороне Луны. Пролитая кровь как цемент всякого надежного социально-исторического строительства. Смертность смертных как эликсир интенсификации жизни. Основные инфраструктуры, возникающие не в ходе «поступательного развития знания», а как следствие опробованных в теологии практик цитирования и запрета на повторплагиат². Наконец, само линейное дисциплинарное время, вмещающее в себя и экономику со всеми ее стратегиями, как эпифеномен объявленного и отложенного в своем исполнении пророчества³. Всякий раз площадка имманентного рискует быть перевернутой налетевшим боковым ветром,

¹ Адорно Теодор. Негативная диалектика. М., 2002.

² Петров М. К. Язык и категориальные структуры // Наукосведение в истории культуры. Ростов-на-Дону, 1973.

³ Гигерич Вольфганг. Производство времени // Митин журнал. 1992, № 47–48.; Секацкий А. К. Ловушки времени. Там же.

но все же удерживается в устойчивом положении благодаря «принципу Гёте» (силы, стремящиеся делать зло, в преломлении своей превратности утверждают и укрепляют добро).

Впрочем, превосходные произведения, созданные работой негативности, равно как и чудесные сцепления превратностей, отслежены (чаще всего впервые) зорким оком самого Гегеля. Именно это больше всего в нем и ценила последующая аутентичная философия, отвергая «рояль в кустах», мостик, слишком поспешно возводящий к конкретности понятия. Одним из самых непримиримых противников примирения в лоне понятия был как раз Адорно. Разоблачая иллюзии Просвещения, подчеркивая одиночество и разобщенность духа в самых существенных его проявлениях, Адорно обрисовал круг имманентности как самую навязчивую иллюзию разума — разумеется, апеллируя при этом к «действительности». И ошибся. Действительность, понимаемая в масштабе современности, продемонстрировала такую степень проницаемости для Единого, какую не решался «усмотреть» даже Гегель.

Вопрос, однако, в том, что же представляет собой *новое Единое*, насколько оно прозрачно в своих особенных проявлениях, какова, наконец, степень его родства с чистым разумом и самодвижущимся понятием? Перед нами проблема узнавания пророчества в его исполненности, вещь не менее загадочная и чудесная, чем «принцип Гёте». Черты общности схватываются с некоторым трудом — например, спекулятивный характер ассимиляций, обеспечивающих единство происходящего. Принцип спекулятивности (за который Гегеля много критиковали) здесь чрезвычайно важен. Спекуляция (*speculatio*) есть, во-первых, *быстрое усмотрение*, если угодно, «верхоглядство», а во-вторых, перепродажа без потребления, говоря словами Гегеля, не-

различенность момента соотношения с самим собой. Даже в качестве диалектической процедуры спекуляция всегда преодолевает подозрительность (проверку устраивает *подозрительный субъект*, являющийся со времен Декарта полномочным представителем бытия и субъектом самой философии), однако в имманентной плоскости «нового Единого» (или «отсутствующего присутствия») спекуляции характеризуются удивительной безнаказанностью.

Мы имеем дело с неким слепым или, лучше сказать, близоруким, расширением соизмеримости сущего. Это, например, спекулятивное расширение гражданских прав вплоть до упразднения самостоятельности и реальности гражданского общества. Это приведение к общему знаменателю (к знаменателю медиапригодности, формы «новостей») разнородных интеллектуальных дискурсов. Сюда же относится перевод всех «региональных желаний» на господствующий язык воображения, на язык денежных грез и фантазмов. Наконец, это и собственно финансовые спекуляции, не утруждающие себя даже экспликацией повода.

Чем дальше продолжается игра узнаваний и неузнаваний, тем более удивительным оказывается сопоставление гегелевской сквозной разумности действительного и всеобщей конвертируемости сущего, которая становится самой эмпирикой современности. Попробуем проделать эту работу сопоставления, хотя она и не столь азартна, как работа негативности, да и вознаграждения за нее нет никакого, одно разочарование.

Итак, вернемся теперь к основополагающему тезису Гегеля: если наличное бытие, например мир вещей, есть *иное* для разума, то принципы (законы) этого иного отнюдь не являются для разума чужеродными. Теперь мы можем сказать так: если сами вещи, а также явления природы не-

посредственно не разумны, то уж их «принципы» («know how»), и тем более порядок их обменов и соизмеримости, безусловно имманентны обретенному порядку нашего присутствия. Вот только назвать эту имманентную сопричастность «разумом» или «понятием» — значит посмеяться над всей европейской метафизикой. Ибо процедура конвертации-ассимиляции, подменившая восхождение от абстрактного к конкретному, не преобразует никакого внутреннего, а довольствуется считыванием нанесенных на поверхность «штрих-кодов» (новостей, цен, знаков политкорректности). Это считывание, дополненное легкостью последующего опредмечивания (сбросом в овеществление), дает на выходе вещи и услуги в неотслаивающейся товарной упаковке и «явления природы» в их экологическом измерении. Образующийся континуум сквозной проницаемости, скажем так, *внезаумен*, но никакому разуму подобная степень «взаимопроницаемости всего» даже и не снилась.

Каждая эпоха пытается по-своему ответить на вопрос, который в формулировке Константина Крикунова звучит так: «Хватит ли Бога, чтобы обойтись без красной строки?»¹ Философские споры на тему «Имманентен Бог миру или трансцендентен?» по-прежнему далеки от разрешения. Обошлось ли творение без отступлений, абзацев и красных строк, произошло ли оно *на одном дыхании*, так сказать, «на выдохе» или потребовало многоступенчатого возобновления усилий? Мы можем лишь отметить, что мир, удерживаемый в одной плоскости, преобразован в файл, в котором нет ни отступлений, ни красных строк, ни тем более разрывов текста...

Признавая в основном этот факт, современная философия сосредоточивается больше на вопросе «Какой ценой?».

¹ Крикунов К. Ты. СПб., 2004. С. 36.

А поскольку такой поворот вопроса неизбежно ценностно окрашен, в результате обычно получаютс я обличения-разоблачения или, как у Бодрийара, страшилки. Диагностирующее описание извне дает более или менее полную клиническую картину — картину падения, забвения, утраты, амнезии, анестезии и прочих проявлений лишенности. Для философа, поскольку он является философствующим субъектом, это своего рода естественная установка, ведь сама реальность субъекта как раз и оказывается избыточной в синтезированной новой имманентности трех демократизаций — в гиперреальности ПСК.

Высокомерный взгляд сверху на открывающуюся равнину наполняет поэта скорбью об утраченном. Из переходов, традиционно описывавшихся как становления, исчезает категория «свое иное», в связи с чем игра узнаваний и неузнаваний перестает быть азартной игрой. Паузы, затруднения в идентификации с соответствующими преобразованиями внутреннего из формы «в себе» в форму «для себя» — вся эта филигранная техника больше не применяется для поддержания имманентности ПСК. Плохо работает такая категория, как инобытие, промахивается «отчуждение», что и понятно, поскольку речь больше не идет о мире сопротивляющегося, подозрительного субъекта, шпиона, всегда заброшенного «не из мира сего». Агенты ПСК просты, как атомарные высказывания Витгенштейна, их зрение не опирается на подозрение — но именно поэтому для аппарата европейской метафизики (философии субъекта) они так трудноуловимы.

Важнейшее диалектическое понятие *свое иное*, опирающееся на выстраданность идентификаций, узнаваний, отождествлений и растождествлений, утрачивает внутреннюю достоверность. На смену приходит категория

«соседнего», образом которой как раз и является *первый встречный*. Соседнее предстает как неопознанное иное и одновременно как неподтвержденное свое. Это, например, культовые предметы бороро в музейной витрине. Это проблемы, которые не более чем «проблемы», решаемые с помощью психоаналитика. А также звероящеры в качестве мультяшных динозавриков. Или несущие благую весть апостолы Христовы в качестве «сотрудников Иисуса, передающих директивную информацию». Это *зрение без подозрения*, не пытающееся подтвердить признанность своего, разоблачить замаскированного чужого, усмотреть обрыв последовательности и начало красной строки. Оно довольствуется тем, что регистрирует неопознанное иное как очередной элемент имманентного ряда, как соседнее и следующее, — после чего вся процедура распознавания считается выполненной. Каждый новый элемент радует, привлекает внимание на очень короткое время, вплоть до появления следующего. Соседнее — это бегущая строка новостей, которая никогда не остановит свой бег. Соседнее двусмысленно, хотя его моменты и не различены как противоположные. То, что не опознано как иное, тем самым автоматически принято за свое, в то же время это принятие отнюдь не влечет за собой ответной признанности или тем более признательности. Для субъекта лучше быть отвергнутым из-за радикальной инаковости, чем быть принятым за кого-то другого¹. Но для «аборигена», обитателя ПСК, второе, разумеется, предпочтительнее.

¹ Если, конечно, цель «внедрения» не преследуется субъектом специально. Но экзистенциальная шпионология утрачивает в ПСК большую часть своей достоверности. Бытие по принципу «скрывать и выслеживать» лишается в новом континууме своих глубинных резонансов.

Признанность, диалектике которой Гегель посвятил столько прекрасных страниц, уступает место *регистрации*, и последствия этой уступки проявились еще далеко не в полной мере. Сегодня, на промежуточной стадии глобализации, субъекты еще решительно преобладают над индивидами, изначально адаптированными к ПСК. Однако соотношение постепенно меняется, и «люди Матрицы», которых Джейк Хорсли очень удачно назвал *хуматонами*¹, все чаще встречаются в рядах субъектов, и притом компактными группами. Для их выявления может быть предложен простейший тест — например, следующий анекдот.

Джон, проходя вдоль берега, замечает в воде тонущего человека. Не раздумывая, Джон бросается в море и с риском для жизни спасает бедолагу, вытаскивает его на берег, делает искусственное дыхание и откачивает. Когда спасенный приходит в себя, он узнает имя спасителя и обращается к нему со словами глубокой благодарности:

— Послушай, Джон. Я парикмахер. Ты имей это в виду. И знай, когда тебе будет совсем плохо, когда ты потеряешь дом, работу, здоровье, когда от тебя уйдет жена и весь мир отвернется от тебя, — приходи ко мне, я подстригу тебя бесплатно.

В отличие от субъекта хуматон не найдет в этой истории ничего смешного. Пожалуй, единственный вопрос, который, с его точки зрения, окажется достойным уточнения, это вопрос, был ли Джон профессиональным спасателем и находился ли при исполнении обязанностей. Если окажется, что нет, — вопрос исчерпан. Но если вдруг выяснится, что именно так оно и было, хуматон, скорее всего, сочтет реакцию спасенного неадекватной. «Приходи ко

¹ Хорсли Джейк. Воин Матрицы. СПб., 2004.

мне, я подстригу тебя со скидкой, — вот что нужно было сказать в этом случае», — подумает хуматон. И его братья по разуму с ним согласятся.

Тест как раз и демонстрирует пропасть между двумя экзистенциальными проектами, способами задания человеческого в человеке. Ирония (или возмущение), продуцируемые в подобных случаях в *устаревшем проекте*, для новых распечаток недостоверны. Хуматоны довольны друг другом, двусмысленность существует лишь для внешнего наблюдателя, но не для них самих. Понятно, что хуматон всего лишь идеальный тип и в этом качестве представляет собой аналитический инструмент. Но его вполне реальные сегодняшние предтечи в некоторых ключевых ситуациях демонстрируют тот же выбор и тот же тип поведения. Брачный контракт, насчитывающий более сотни пунктов, уже потенциально содержит в себе и уточняющий вопрос спасенного утопленника.

Рассматривая изменения в модели сборки субъекта, можно говорить о запредельном расширении описанной Лаканом зоны *mesconnaissance*¹. У Лакана это «слепое пятно», обеспечивающее момент иновидимости, анизотропность среды, в которой осуществляется взаимная признанность. В приводимом Лаканом примере мать заявляет врачу, что «в смысле сексуального развития» у ее двухлетнего мальчика нет никаких отклонений. При этом ребенок тут же, на виду у всех *играет гениталиями*. Мать этого «просто не видит», а все остальные *как бы не видят* — делают вид. Эти «незамечаемые» провалы *mesconnaissance* суть зоны, где зрение либо дополняется, либо подменяется

¹ Лакан Ж. Четыре фундаментальные концепции в психоанализе. М., 1999. См. также: Батлер Джудит. Психика власти. Харьков — СПб., 2002

подозрением, и наличие участков такой принципиальной иновидимости всегда характеризует среду, в которой формируется классический субъект. Но уже тренажеры политкорректности расширяют «слепое пятно» до площади почти всего зрительного поля, так что не совсем понятно, что именно теперь является пятном (вкраплением). В конце концов непрерывное оттеснение подозрений отменяет и саму анизотропность, и тогда мы становимся свидетелями уже другой модели сборки. «Продукт» этой альтернативной сборки может быть назван субъектом лишь в самом широком смысле слова; из-за рассогласования почти всех важнейших экзистенциальных и психологических параметров сборки-настройки такой «продукт», безусловно, достоин отдельного имени. Его мы и будем называть хуматоном.

Альтернативная аналитика присутствия уже не позволяет рассматривать политическое измерение как горизонт онтического, как мелкую рябь поверхностных корректировок тех экзистенциалов, которые существенны для Dasein. Поскольку в Плоско-Субъектном Континууме вообще «всё поверхность», поверхностное приобретает совершенно иной смысл. Так, уже отмечалось, что исчезновение «своего иного» ставит под вопрос и «свое собственное». Свое считывается с ленты новостей или с ленты доступной массовой культуры без реального освоения. Выбор в переключении каналов или посещении того или иного сайта, конечно, есть, но он не выходит из плоскости конвертируемых обменов, не распространяется на посещение консерватории, монастырской библиотеки или театра военных действий. *Свое несобственное* — так будет точнее называть духовные принадлежности хуматонов — легко отчуждаемо в денежной форме, где решающую роль имеет

количественная определенность суммы. Слипание качественной разнородности придает дискретным денежным суммам характер обособленных ценностей, и раньше всего этот процесс становится заметным в искусстве, поскольку искусство всегда пребывает в экзистенциальном авангарде. По этому поводу Борис Гройс проницательно замечает:

«Именно здесь вступает в игру универсальное измерение денег — утопическая религиозная сторона нашего чувства денег... Цифра, обозначающая сумму, которую зритель “готов был бы заплатить за это произведение”, есть выражение внутреннего, чисто субъективного эстетического ощущения, являющегося одновременно внутренним, субъективным ощущением денег. Искусство с уникальной радикальностью манифестирует субъективное, психологическое измерение денег, внутреннюю загадочную связь между цифрой и чувством, которая часто ускользает из виду в “объективно” функционирующей экономике и на которую в повседневности указывают лишь в непрямой форме, прибегая к таким нежным выражениям, как “мой дорогой” или “мое сокровище”. При этом следовало бы тотчас спросить: дорогой — но насколько дорогой? Или: сокровище — но какой ценности? В сфере так называемых межчеловеческих отношений этот вопрос о точной цифре, имплицитруемой нежными чувствами, как правило, подавляется и остается невысказанным. Иначе обстоит дело в искусстве. В сущности, мы можем даже не знать, что данное произведение искусства стоит 2000 долларов. Но мы это чувствуем»¹.

Чувства, складывающиеся из кирпичиков денежных сумм, отличаются друг от друга посредством указанного номинала. При этом номинал служит не менее надежным

¹ Гройс Б. Язык денег // Художественный журнал. 2005. № 47. С. 14.

различителем, чем границы традиционных аффектов: содержание адреналина в крови и количество нулей справа от значимой цифры в качестве внутренних сенсорных эталонов по меньшей мере не уступают друг другу. Соответственно, если различия между близкими и первыми встречными, иерархические по своей сути, утрачивают достоверность, то количественные градации внутри континуума (стричь со скидкой или бесплатно) приобретают, напротив, значение дискретного экзистенциального выбора. Фразы типа «Я перед тобой в неоплатном долгу» в плоскости ПСК становятся просто *невежливыми*, подобно тому как макрофизические измерения непригодны для параметров микромира. Французская пословица «Точность — вежливость королей» сегодня может быть интерпретирована как точность выплаты любого неоплатного долга, включая своевременное начисление процентов.

Таким образом, исследования инфраструктуры субъекта от Гегеля до Лакана и Джудит Батлер приобретают археологический оттенок. Теперь одновременно приходится вести параллельные изыскания по поводу альтернативной модели сборки человеческого в человеке. Альтернативный проект «хуматон» самой реальностью уже поставлен на повестку дня, и его составляющие конструкции лишены неконтролируемых зон, скорее они представляют собой «пазл», доступный для сборки благодаря новой, облегченной инженерии человеческих душ.

Инфраструктура субъекта (классического, *подозрительного субъекта*) существенно отличается от этой бижутерии. Вернемся к сопоставлению с гегелевским дискурсом.

Мы видим, что *Aufheben* в обретаемой плоскости торжествует с легкостью, на которую не рассчитывал и сам

автор «Феноменологии духа». При этом подвергается редукции и само «снятие», понимаемое как момент сохранения в превентивных и настигающих утратах. Пульс негативности не преодолевается в прежнем смысле этого слова, поскольку он вообще не прослушивается. Продолжающееся сосуществование различных типов «субъекции»¹ делает сопоставление особенно наглядным. Диалектическое сохранение-снятие больше всего напоминает обезвреживание мины без ее подрыва (но с риском такого подрыва). Взрывное устройство с диалектической пульсацией можно аккуратно извлечь из детонатора или подорвать на месте — в этом случае речь идет о становлении через негацию. Так, воля господина принимается рабом как собственная воля, но при этом обязательно происходит потрясение основ бытия: «Если оно (сознание. — А. С.) испытало не абсолютный страх, а только некоторый испуг, то негативная сущность осталась для него чем-то внешним, его субстанция не прониклась ею насквозь»². Стать для себя бесконечным источником смысла или распознать (распробовать) чужой смысл как свой собственный — все это суть взрывоопасные революционные преобразования, когда самость растет, усиливается или гибнет благодаря одним и тем же неизменным силам противодействия.

¹ Так Джудит Батлер именует процедуру обретения достоинства субъекта, возводя ее к английскому «subjection» — «подчинение», в т. ч. и на грамматическом уровне. Используя эту грамматическую метафору, можно сказать, что сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, которыми власть соблазняет бытие к форме субъектности, уступают место «простоподчиненным» и столь же просто сочиненным неприхотливым предложениям. Откликающиеся на них и именуются хуматонами.

² Гегель. Феноменология духа. СПб, 1992. С. 106.

И Маркс, критикуя Гегеля за принимаемую на веру имманентность мира и сознания, фактически подтверждает его правоту в смысле решающей роли негативности: производственные отношения заминированы и взрывоопасны в каждом своем акте. Дialeктическая теория должна ставить флажки; диалектическая практика определит, произвести ли разминирование, обойти ли предупреждающий флажок (отложить решение) или взорвать на месте.

Процедура снятия в ПСК, кумулятивно расширяющая имманентность, уже не напоминает снятие мин. Тут больше подходит другая метафора — снятие как фотоснимок. Всегда можно сделать *снимок*, который сохранит и одновременно обезопасит встречное иное. В снятом виде (например, с помощью телекамер) противостоящее негативное не проникает внутрь: врач, рассматривающий флюорограмму, не подвержен риску заражения. Таким образом, преемником снятия как важнейшей «субъектообразующей» процедуры становится *транспарация*. Транспарация — это сквозное просвечивание, когда иное и негативное остаются лишь в виде темных пятен, — но и их, в свою очередь, можно просветить (транспарировать) или удалить. *Transparance* (прозрачность) оказывается точным термином еще и в том смысле, что является следствием и продолжением *просвещения*. Эпоха Просвещения успешно завершена, мир вступил в эпоху Транспарации.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АПОЛОГИЯ

Как уже отмечалось, после периода непродолжительного энтузиазма философские установки Просвещения были подвергнуты безжалостной критике, достигшей своего пика в XX веке. Можно сказать, что усилиями лучших умов «иллюзии» Просвещения были развеяны (это не значит, что их удалось понять в моменте их собственной исторической правоты). Тезисы просветителей оказались весьма уязвимы — но такова была оборотная сторона наличия ясной программы. Ни один из критиков не смог предложить не только альтернативной программы, но даже и сколько-нибудь отчетливого проекта развития без «трех демократизаций». Еще хуже, впрочем, дело обстоит с отстаиванием идеалов просветительской миссии: этим делом занимаются едва ли не исключительно практические политики, действуя в теоретическом вакууме, где последними теоретиками являются Джеймс Стюарт Милль с Огюстом Контом или в лучшем случае Бертран Рассел. Обладатели метафизических претензий оказываются не в силах переступить границу пошлости — этот барьер выглядит непреодолимым даже для самой радикальной философии (то ли дело трансгрессия Батая или жертвоприношение Жирара).

Проблема состоит еще и в том, что цели Просвещения в принципе достигнуты (как всегда, незаметно) и больше нет необходимости провозглашать их в качестве целей. А инаугурация повседневности всегда вызывала аллергию у подозрительного субъекта, и уж тем более у философа. Вспомним компендиум Вольтера, Руссо, Монтескью и Кондорсе: смягчение нравов, обуздание агрессивности,

искоренение предрассудков, преобразование непокорного, жестокого и жестокого естества, предсказуемость, прозрачность и позитивность социального устройства... Что ж, все это в наличии, стоит лишь применить усилие опознавания (далеко не пустяковое, впрочем, усилие). Конечно, в каком-то смысле реализация просветительской программы напоминает анекдот об исполнении желаний золотой рыбкой: пожелаешь никогда не состариться — и умрешь молодым. Опять же чудовищные эксцессы от иприта до Аушвица и ГУЛАГа. Но эксцессы с полным на то основанием можно рассматривать как отклонения от просветительского проекта (во всяком случае, Адорно и Хоркхаймеру не удалось доказать обратного), а расстилающийся горизонт ПСК предстает тем не менее как земля обетованная для вольтеровского Кандида. Попробуем предоставить слово господину Транспаро Аутисто, автору фундаментальной «Критики подозрительного субъекта».

«Вопреки всем скептикам мы можем констатировать: просвещенному человечеству удалось избавиться от множества предрассудков — и это великое достижение, хотя сегодня его принято недооценивать или вовсе не замечать. Никого больше не смущает цвет кожи, во всяком случае, никто не решается заявить об этом публично. Подобная “нерешительность” есть безусловное достижение, сколько бы нас ни обвиняли в замалчивании. Мало ли к чему может придраться сознание извращенного индивидуума в поисках интеллектуальных приключений? Скука, возникающая при повторении известной истины, сама по себе эту истину отнюдь не дискредитирует, а требование элементарной благодарности состоит в том, чтобы не забывать, какой дорогой ценой достались уют и комфорт. Может быть, не так уж и плохо было бы распространить

простое правило вежливости и на философский дискурс: кое о чем умалчивать, а кое-чего и не замечать... Вместо этого рыцари метафизики, напротив, заикнулись на проблемах тактичности, не уставая демонстрировать свою орлиную зоркость и столь же чуткий слух по отношению к скрипу своей колыбели.

Открытость и приветливость облегчают жизнь общества и каждого индивида, если же кому-то покажется, что все это *слишком просто*, пусть примет во внимание тысячелетний труд истории, понадобившийся для упрощения. Соблюдая естественные нормы приличия, совсем не трудно разоблачить их искусственность, гораздо труднее (но и интереснее) проследить и объяснить траекторию их внедрения до уровня естественности. Но опять же субъекту привычного изоощренного дискурса кажется, что было бы слишком много чести тратить свои теоретические усилия на легитимацию *естественных норм*.

Как бы там ни было, успехи Просвещения в деле искоренения предрассудков не вызывают сомнений — в отношении *подозрений* дела идут не столь успешно. Прозрачность новой социальной среды, ПСК, замутняется именно подозрениями, для решения возникающих проблем приходится применять всю изоощренность разума, но это все та же изоощренность, к которой прибегали обитатели платоновской пещеры. Настало время выявить и классифицировать “основные подозрения”, подобно тому как Фрэнсис Бэкон классифицировал когда-то основные предрассудки. Задача избавления от этих “идолов” плавно перешла в проект Просвещения. Априорные механизмы, предшествующие рассудку, Кант представил в качестве устройства трансцендентального субъекта; не следует забывать, что имелось в виду своеобразное сьем-

ное устройство, используемое трансцендентальным единством апперцепции — “просто” субъектом, сгустившимся из подозрений подобно облаку на ясном небе.

Вот и рационализм Декарта начинается с исходного подозрения: не обманывает ли меня сам Господь Бог, раз уж все окружающие, мои собственные чувства и память то и дело обманывают меня? При тщательном рассмотрении подозрение снимается: Бог не обманывает, но лишь потому, что обман — это нечто невещественное и как таковое недоступное Богу, для которого все помысленное есть одновременно и нечто сущее. Подозрение снимается, однако остается осадок — он-то и именуется субъектом. Как только ни защищали подлинность этого осадка, его способность противостоять сильнодействующим растворителям, но разделить *несмываемое* и *наносное* теория так и не смогла; подобная возможность обнаружилась лишь в ходе реализации проекта Просвещения.

Всмотримся в замкнутый круг подозрений, не слишком изменившийся со времен Декарта: многие из них сбываются, но и несбывшиеся подозрения с тем же успехом формируют среду субъекта. Более того: даже если все возникающие подозрения оказываются безосновательными, последствия их возникновения все равно приводят к “нужному” результату. Стало быть, подобно Просвещению, поставившему задачу высветить все предрассудки, затмевающие *lumen naturalis*, наступающей эпохе Транспарации предстоит прояснить (приостановить) укоренившуюся манию подозрительности. Следует подвергнуть транспарации самую закрытую для имманентной рефлексии границу — кромку внутреннего мира.

Как раз по этому поводу транспарацию и обвиняют во всех смертных грехах, не замечая взаимной противоречи-

вости обвинений. С одной стороны, говорят о тоталитаризме, о совершенствовании техники манипулирования индивидом (забывая, что субъект манипуляций точно так же сгущается из подозрительности). С другой стороны, слышны упреки в наивности, в упрощенчестве, в измене идеалам теоретического разума. Тем не менее транспарация приступает к своей задаче, и уже имеется кое-какой опыт позитивного внесубъектного бытия индивидов. Этот воистину просвещенный (“просвеченный насквозь”, как мог бы язвительно заметить критический философ) индивид не искушен в игре рефлексии, мастерство которой как раз и вырабатывается в школе подозрительности. Однако он мог бы обратиться к искушенным с приветливой речью и выразить дискурсивно то, что говорит своими поступками: попробуйте приостановить манию преследования, сделав над собой небольшое усилие, трудность которого заключается в том, что оно осуществляется в непривычном направлении. Ведь отказавшись от подозрений, мы не только сэкономим время на проверку напрасных подозрений, но — и это самое главное — понизим уровень сбываемости подозрений. Для такого шага давно уже существует название — *кредит доверия*, вот только экзистенциальные кредитные учреждения Weltlauf работают из рук вон плохо.

Транспарация как раз и предлагает проявить решимость с элементами риска, причем риска вполне оправданного. Широкое распространение кредита, превращение его в норму хозяйственной жизни, породило когда-то современную экономику. Чрезмерная кредитная осторожность представляется теперь глубокой архаикой. Тем более важно сделать следующий шаг: научиться не только обмениваться товарами, но и жить в кредит доверия — для начала

хотя бы попробовать. Смею уверить: решившегося ждет приятный сюрприз. Рискнувший убедится, что существовать, предоставив кредит доверия первым встречным, очень даже можно; более того, жизнь становится понятнее и выносимее.

Конечно, всегда найдется тот, кто даже и не подумает возвращать (оправдывать) кредит, не говоря уже о множестве упрекающих в легкомыслии и беспечности. Все это не вызывает сомнений. Но вот что вызывает сомнения, так это предположение, будто чрезмерно осторожный субъект, автоматически подозревающий все, что попадает в поле зрения, окажется в выигрыше. Не следует забывать, что своей заявляемой и подразумеваемой позицией он одновременно совершает и выбор мира, в котором живет: тут кантовский принцип *als ob* проявляет свою максимальную действенность. Утвердившемуся в подозрении всякий раз приходится возвращаться к декартовским сомнениям, чтобы удостовериться в необманности своего существования. Приходится мучительно обдумывать свои отношения с другим, перенося на него свои намерения и тем самым утверждаясь в них.

Осадок подозрительности остается после каждого значимого жеста, разрушая спонтанность и вводя гетерономию. “Книжка читалась легко, на одном дыхании, и это сразу показалось мне подозрительным” — так рассуждает типичный субъект, имеющий отношение к авторствованию и вообще к теоретическому дискурсу. Благодаря бдительности удастся выбраться из многих ловушек *Lebenswelt*, а некоторые удастся искусно обойти. Вот только субъекту не приходит в голову, что преодолеваемые ловушки он сам же себе и создал, а все триумфы предусмотрительности, на которые потрачено столько времени (порой целая жизнь),

можно было бы отпраздновать и по другому поводу. От имени Просвещения, передающего вахту следующему проекту, хочется заявить: *люди, не будьте так бдительны. Будьте доверчивее, и у вас появится больше шансов прожить жизнь, достойную человека*».

Прервем пока аргументацию Транспаро Аутисто для небольшого комментария. У автора «Критики подозрительного субъекта» задача явно не из легких: ему приходится представлять, причем на языке сложившейся философии, возможное «светлое» самосознание эпохи Транспарации. Это, конечно, нечаянная радость для мастеров традиционной метафизики: наконец-то нашелся хоть один защитник сырых и убогих в теоретическом отношении обитателей ПСК. Мысли, высказанные им в форме тезисов, пригодны для полемики, но эта пригодность далась дорогой ценой. Адаптированность к дискурсу субъекта вызывает периодическую утерю контакта с аборигенами ПСК. Адвокат и его подзащитный то и дело теряют друг друга, поскольку позиционные смещения, ухищрения, фигуры иронии и дистанцирования не конвертируются во внутреннюю валюту мышления в ПСК, номинал которой располагается в пространстве, задаваемом параметрами деньги — новости — приветы. Индивидам, лишенным подозрительности и вследствие этого лишенным также изошренности, в какой-то момент становятся равно непонятны как их непримиримые критики вроде Хайдеггера или Юлиуса Эвола, так и их снисходительные адвокаты (Бодрийар, Вирильо), чьи мотивы прослеживаются в апологии Транспаро Аутисто. Дело в том, что философский дискурс в его нынешнем виде насквозь инфицирован позицией субъекта — даже если это дискурс самокритики или покаяния. Хуматон может быть благодарен добросовестному адвокату, но суть аргументов и «за», и «против» остается для него непостижимой.

Тем не менее господин Аутисто совершенно прав в обозначении водораздела между двумя эпохами, между *рацио* и *транспарацио*. Их отличает друг от друга не смена мифологий и идеологий (это уже следствие) и даже не победа скорости над содержанием (это общий вектор, уходящий и уводящий за пределы ПСК), а изменения в конфигурации субъекта, точнее говоря, индивида-деятеля. Классический субъект (подозрительный по определению), некогда победивший и теперь, до сего дня, господствующий проект производства человеческого в человеке, обнаруживает все больше несоответствий наличному раскладу скоростей и ускорению/упрощению обменов. Субъект тормозит поэзис, пытается удержать его в рамках *ratio*, замедляет метаболизм интенсивно «работающего» социального тела, пытается охладить разгоряченное воображение. Налицо ситуация несоответствия — почти по Марксу, только вместо производственных отношений, «тормозящих» развитие производительных сил, развитие цивилизации упирается в конфигурацию «субъект», слишком тяжеловесную и перегруженную для того, чтобы быть подхваченной ветром сверхбыстрых обменов. Для этих обменов, в том числе для летучих идентификаций, требуется более легкая транспортная капсула, обретаемая без многоступенчатой сборки.

Новый проект индивидуальности мы назвали, как уже было сказано, хуматоном. Он отличается от классического субъекта не только изнутри — не только редуцированной психологией и упрощенной процедурой становления. Не менее важны и внешние отличия, учитывая, что упрощенная модель сборки не имеет непреодолимых границ между внешним и внутренним. В новой модели торжествует иной принцип распределения социокода, в соответствии с ко-

торым дистрибуция знания, аффектов и бытия в признанности уже не ориентируется на предельную вместимость ячейки индивида¹, а осуществляется порционно. Каждая порция характеризуется «быстрорастворимостью», усваивается без особых усилий, в связи с чем необходимость в затратном механизме инициации практически отпадает. «Кровавая мнемотехника», которую Ницше считал начальной школой очеловечивания², заменена легкой игровой дидактикой: проглотив порцию, в принципе достаточную для получения статуса агента-деятеля в ПСК, индивид может обратиться за «добавкой» — усвоение добавки точно так же не потребует того, что всегда было принято именовать «работой мысли». Иными словами, ПСК состоит из хуматонов не в том смысле, в каком человечество или компактная человеческая общность состоит из атомарных субъектов. Скорее «минимальные индивиды», хуматоны, представляют собой актуализованные состояния в заданном пространстве, в самом континууме. Поскольку эти единицы досубъектного человеческого присутствия избавлены от избыточной, отягощающей нагрузки и в принципе взаимозаменяемы (что для субъектов всегда являлось проблемой), их быстроедействие резко возрастает. Еще быстрее возрастает их способность образовывать лабильные констелляции — *поля новаций*.

Заметим еще раз, что речь пока идет об идеальном образовании, «в наличии» имеются только варианты разной степени промежуточности. Но эмансипация вещей от биографических составляющих, от роли конденсаторов и проводников человеческого времени, эмансипация трансляции

¹ Петров М. К. Язык, знак, культура. М., 1991.

² Ницше Ф. Сочинения. Т. 2. М., 1990. С. 349.

знаний от приемов сакрализации (от мудрости), наконец, освобождение бытия-в-признанности от подозрительности должны увенчаться и реформированием атома индивидуальности, переходом к новой синтетической элементарной частице — к хуматону. Этот переход, который мы будем считать теоретически состоявшимся, и обеспечивается процедурой транспарации, наступающей после надлежащего разгона (ускорения) всех вещественных потоков, а также инструкций-сообщений в соответствии с их медиапригодностью и водоворотов воображения, переведенного на новое топливо грез — на язык денег. Попробуем теперь предоставить слово уже не адвокату, а самому носителю незамутненного счастливого сознания — хуматону.

...Они не любят нашу Мышь, смеются над Микки-Маусом. Мышь, видите ли, примитивна, не задумывается впустую, быть ей или не быть. Но я скажу, почему им в действительности не нравится Микки-Маус. Потому что Микки не тормозит: он сразу приходит на помощь, улыбается другу, проказничает, если ему хочется проказничать, и у него нет задних мыслей — то есть коварства и трусливого лицемерия, которое они называют «глубиной».

«Они» — это субики: нервные, претенциозные, впадающие в отчаяние по пустякам и совершенно не умеющие оттягиваться, получать удовольствие. Субики считают себя умными, потому что они много думают. И еще потому, что иногда читают скучные книжки, смотрят отстойное кино и презируют простые и понятные вещи. То есть они, конечно, пользуются всем тем, что просто, понятно и удобно, но все-таки презируют эти повседневные удобства, а заодно и себя презируют за получаемое запрещенное удо-

вольствие. Вот что они называют «быть умным». Мы, с точки зрения субиков, — глупые, недалекие, но нам хорошо друг с другом, им же с нами плохо, а друг с другом еще хуже. Они сами не знают, чего хотят, недоверчивые и неблагодарные, они все время портят настроение окружающим. Кажется, это называется у субиков «не останавливаться на достигнутом», вот они и не останавливаются, пророчествуют и торопят завтрашнее счастье. Но любому хуматону понятно, что если уж субики не умеют пользоваться тем хорошим, что у них под рукой, то и то хорошее, к чему они призывают, точно так же не пойдет им впрок: что-нибудь непременно окажется не так. Словом, немногое извлекают они из своего ума — по всему видно, что ум хорошо у них работает на холостом ходу (это называется «порассуждать», «предаться размышлениям»), но когда доходит до дела, их ум тормозит и стопорит.

Оказаться в одной компании с субиками, хотя бы даже с одним из них, — сплошное кайфоломство. Посмотреть какое-нибудь кино, музыку послушать — тут они привередливы выше крыши. А при этом хлебом не корми, дай только другим удовольствие испортить... Чтобы просто с бутылочкой пива посидеть и о чем-нибудь поговорить, кроме себя, — это тоже субику недоступно, он лишь ждет своей очереди высказаться (а чаще встревает, не дожидаясь) и торопит счастье, как всегда — вплоть до полной отключки. Это, кстати, называется «роскошью человеческого общения».

Бесчувственные они все. Упиваются своей сложностью (и ею же мучаются), а сами элементарно в такт не попадают. Где нужно от души посмеяться — криво улыбаются, вместо того, чтобы спокойно изложить

проблему, — впадают в панику. Сами себе враги, одним словом. Как подумаешь иногда, что раньше человечество сплошь из субиков состояло... Но скорее всего, написанная ими история поддельна — эти сложные, противоречивые души всюду искали и запоминали только подобных себе, прямых и бесхитростных людей они ведь и до сих пор не замечают, считают их как бы не совсем людьми.

В любое занятие субик вносит помехи, хотя бы для того, чтобы было что преодолевать. Чат по Интернету — повод для вечных насмешек: дескать, эрзац, — подавай ему живого человека. Понятно для чего — живого человека можно помучить. Неважно получается у этих мыслителей с живыми людьми, им как раз проще с мертвыми, с теми, кто написал книжки. И вообще, то, что нормальные люди делают с чистым удовольствием, делают и субики — только с нечистым чувством. Хуже всего то, что от них всегда приходится ждать подвоха: каждая «творческая личность» готова тебя унижить, использовать или подставить — и даже не потому, что ей от этого хорошо (хотя без этого уж точно плохо), а просто потому, что они, несчастные, так устроены. Некоторые мои приятели хотят, чтобы эти зловердные субики поскорее вымерли, но мне все-таки их жаль. Я же вижу, как отравляет им жизнь тяжелая, разъедающая подозрительность, вижу, как далеко, увы, распространились ее метастазы. Вот иногда врачи говорят: у пациента наступило осложнение заболевания. А у субиков само их хроническое заболевание так и называется: осложнение. Они, бедолаги, все до единого страдают осложнением. От этого и сами мучаются, и других мучают. Будь моя воля, я бы

им всем назначил радикальное лечение: хирургическую транспарацию — удаление или, если хотите, промывание воспаленной подозрительности.

А вообще, надо сказать, мир все еще больше приспособлен для них, чем для нас. Вот знание они контролируют — и в этом деле являются полными монополистами. Правда, хранят они подконтрольное им знание в очень неудобном виде, вперемешку со всяким хламом. Не решаются выбросить даже самое ветхое старье и располагают свои ресурсы шиворот-навыворот: свежие поступления в самом конце, а вначале всякий отстой — его субики называют «образованностью», а то и «мудростью». Для нас, правда, они разработали более удобный способ хранения — поисковые системы в Интернете, и хотя сами вовсю ими пользуются, но за образованность такое знание не считают. Тексты и зрелища тоже производят почти исключительно субики, часть из них исключительно для себя (этой продукцией они гордятся, за нее награждают друг друга и обычно с придыханием копируют, не открывая), а часть для нас — то есть для всех. Тут они в общем-то справляются, хотя и получается слишком много отходов. Забавно также, что произведения для открытой культуры (она у них называется массовой) оплачиваются деньгами, а тексты, отправляемые в отстой, — посмертной славой. Ее они ценят очень высоко, хотя и не могут толком объяснить почему. Но тут мы их разочаруем. Если планета достанется все-таки нам, «посмертную славу» мы упраздним вместе с прочими осложнениями.

С деньгами, кстати, тоже все обстоит не очень понятно. Не так, как в компьютерных играх, где доступ

к основному ресурсу и способы его расходования вполне прозрачны. В жизни основной ресурс требует периодического возобновления, и, хочешь не хочешь, приходится вставлять на подзарядку. К сожалению, на это время большинство других опций блокируется. Здесь, пожалуй, и скрывается главное несовершенство мира, и состоит оно в том, что загрузка основным ресурсом происходит слишком медленно и неоправданно часто. В играх такая ситуация называется зависанием, и следует признать, что субики приспособлены к ней гораздо лучше, чем нормальные люди. Не умеющие целесообразно расходовать основной ресурс обладают тем не менее огромным преимуществом при подзарядке. Для субиков этот режим (начисление денег на счет) часто даже не выделен в особые рамки и, как правило, совместим с другими занятиями. Совмещение, конечно, наносит ущерб нормальным человеческим занятиям — так ведь у субиков все равно все нормальные человеческие занятия ущербны, и даже безлимитный ресурс не может помочь им в этом отношении.

Нет, не хотел бы я быть субиком — как представишь себе жизнь, где все не впрок, где не можешь найти себе друзей и создаешь врагов на ровном месте, сразуобразишь, что их хитромудрых преимуществ и даром не надо. Лучше мы будем как Мышь, ведь преимущества Микки-Мауса настоящие, а не поддельные.

Примерно так могла бы выглядеть предельная для хуматона глубина самоотчета. Понятно, что настоящий, глубокий самоотчет есть привилегия несчастного сознания, однако и наивность, если она совершенно бесстрашна, может быть в высшей степени поучительной. При всей философской уязвимости рефлексии «счастливого созна-

ния» (субики, конечно, могут рассматривать подобное словосочетание только в кавычках), по крайней мере две высказанные здесь мысли достойны внимания. Это мысль о «хирургической транспарации» с целью устранения осложнений и соображение относительно неспособности субъекта к самозабвенным аффектам, полное неумение вести себя навстречу сбывающимся мечтам и исполняющимся желаниям.

Первый тезис может показаться кощунственным или провокационным, интерпретировать его каким-либо другим образом субъекту просто не по силам. Между тем мы имеем дело с воспроизводством на новом витке хорошо знакомой установки Просвещения. Если «ученье свет, а неученье тьма», то сопротивление «тьмы» в расчет не принимается; считается непреложной истиной, что преодолевать подобное сопротивление необходимо во благо самого же сопротивляющегося. Более того, попытка сопротивления в данном случае трактуется как признак неразумия, неполной принадлежности к рангу полноценных человеческих существ¹. Медикализация безумия, проанализированная Фуко, дополняется и жесткой педагогической установкой, при которой за объектом педагогического воздействия не признается ни права возражения, ни права уклонения. Скажем, кому придет в голову обращать внимание на неразумное дитя, которое заявляет, что оно не хочет учиться: ведь суверенность желания присуща лишь просвещенному субъекту. Это уже на подходе к ПСК доза логотинъекции была снижена за счет цепочки «демократизаций», за счет перехода к более «экономной» конфигурации индивида,

¹ Некоторые аспекты этой проблемы подробно осветил Мишель Фуко. См. напр.: Фуко М. Критика и клиника. М., 2002. См. также: *Opians N. Enlightenment and it's Enimies. L., 1982.*

для которой приведение в состояние просвещенности уже не требует таких колоссальных педагогических вложений. Но прежде чем это случилось, Просвещению пришлось «воспитывать» своих неразумных подопечных с не меньшим рвением, чем Петру I свой жестоковыйный народ¹.

Разве не те же самые резоны лежат в основе тезиса о дальнейшем просвещении, т. е. о принудительной транспарации по отношению к тем, кто хоть и расстался с предрассудками, но сохранил подозрения, тип апперцепции, конституирующий саму субъектность субъекта? Хуматонам, конечно, не так-то просто ответить, чем же плохи уклоняющиеся от транспарации, но ведь от идеологов Просвещения мы и вовсе не дождались ответа, «чем плохи непросвещенные». По мнению Кондорсе и Мабли, их просто «жалко» — следовательно, именно человеколюбие не позволяет оставлять их в варварском непросвещенном состоянии. Вот и хуматонам из ПСК тоже жалко субиков.

Что же касается второго пункта самоотчета, где субики определяются как неспособные к чистым аффектам, то тут налицо довольно неожиданное совпадение с Ницше, подтверждающее рессентимент с противоположного полюса. Попробуем вновь предоставить слово Т. Аутисто.

«Ницше отследил момент зарождения субъекта, говоря его словами, “интересного домашнего животного”. Этот человеческий типаж пришел на смену людям прямой чувственности, беззаветным в своей отваге и бесхитростности, великодушным, способным с открытым сердцем говорить миру “да” и “нет”. Увы, вымершую благородную породу сменили люди рессентимента — их исчерпывающую харак-

¹ Когда Адольф Гитлер заявлял, что «для любого народа гораздо большее счастье быть истребленным, чем жить, не приобщившись к новому порядку», он тоже по-своему выражал установку Просвещения.

теристику Ницше дал в своей работе “К генеалогии морали”. Там же философ высказал убеждение, что речь идет все-таки о промежуточном варианте, о некоем результате массовой порчи, онтологической коррупции человеческого в человеке. На фоне фальсифицированного статуса присутствия с абсолютным преобладанием “изморалившихся субъектов”, носителей ressentimentа, попадались все же *свободные умы*, “удавшиеся” экземпляры, — у Ницше по именам названы Стендаль, Гете и Хафиз. По отношению к ним всех прочих философ готов был рассматривать как черновой набросок.

И вот мы видим, что “промежуточные” исчерпали свое. Новые люди, “неосапиенсы”, стремительно заселяют среду присутствия, мутный поток *Weltlauf*, внося в него долгожданную прозрачность и завершенность, недостижимую для черновиков и набросков. *Neosapiens* (или, если угодно, “хуматон”, раз уж так сподобились назвать его критики) преодолевает *ressentiment*, вновь восходя к прямой чувственности. Он освобождается от парализующей примеси противочувствия, от пресловутой амбивалентности чувств, на которой базировался как психоанализ, так и ressentiment в целом. Искажения при передаче и приеме аффектов, рассматривавшиеся как неизбежность, как условие *sine qua non*, вроде земного тяготения, в значительной мере преодолены; изощренный психологизм ressentimentа исследователи ближайшего будущего спокойно смогут списать на “помехи в эфире”. Разумеется, вновь обретенные модусы чувственности значительно уступают по своей амплитуде аффектам героев Эсхила, Шекспира да и самого Ницше. Что ж, таков результат обуздания неукротимой стихии, несомненная заслуга Просвещения, бросившего вызов как неистовству Ренессанса, так и ам-

бивалентности души, которая, согласно Тертуллиану и Августину, “по природе своей христианка”. Аффекты *peosariens* очищены от паразитарных примесей и, если можно так выразиться, *вторично элементарны*.

Вслед за транспарацией сферы желаний и воли хумантон обрел и другие атрибуты описанного в текстах Ницше господина, в частности верность данному слову. Эта верность принципиально важна для безмятежного духом индивида, ведь он не играет в шпионологические игры, позволяющие сохранять самотождественность вопреки всему. Диалектический иллюзион самооправдания не работает без помех в эфире, чистота приема не оставляет зацепок для действия по принципу “ложью ложь поправ”. Напротив, для субъекта простая верность данному слову практически недостижима, хотя бы потому, что субъект подозрителен и не привык “верить на слово”. Таким образом, рессентимент преодолен по крайней мере передовым отрядом, авангардом современного глобализованного общества. Оглядываясь назад с завоеванных рубежей, авангард может подтвердить правоту Ницше, — другое дело, что автор “Заратустры” вряд ли обрадовался бы столь неожиданному союзнику, разве что из злорадства. Ведь и Гегель, и Ницше, и Бенъямин всецело принадлежат к формации субъекта, эта родовая предопределенность называется в самых смелых теоретических выводах и даже в пророчествах, достаточно обратить внимание на *мстительный тон* наиболее впечатляющих антиутопий.

В значительной мере суть проблемы сводится к тому, что философия принадлежит субъекту — принадлежит во всех смыслах, в частности, является органичной формой его презентации в сфере символического. Наряду с трансцендентальным субъектом Канта, опирающимся на ис-

ходное подозрение относительно коварной сокрытости вещей в себе, субъект философской рефлексии представляет собой неразстворимый остаток совокупных дискурсов европейской метафизики. Соответственно, способы и языки философствования, равно как и критерии убедительности, «подстроены» под субъекта, поскольку построены им.

Субъект, например, должен убедиться в обоснованности или необоснованности своих подозрений — таков, в сущности, сюжет любого законченного философского произведения. Суть дела радикально меняется, если подозрение недостоверно в качестве экзистенциального жанра, способа бытия в мире. Коль скоро даже сбывающиеся подозрения не слишком волнуют, большая часть изощренности, требуемой для производства философских текстов, теряет смысл. Философ Ален Бадью в свое время заметил: «Знание имитируется здесь в производственных целях. Вот почему мы будем называть эту процедуру, каковая принадлежит к строю рассуждений у Декарта, *измышлением знания*. Истина есть не-знаемое этого измышления»¹.

Насчет «измышления», лежащего в основе всей традиции рационализма, Бадью совершенно прав. Ведь все ясное и отчетливое у Декарта обретает свой статус только после предельного сомнения: достоверность возможна лишь как награда за полноту отчаяния. Избавление от подозрений становится философским аналогом спасения души, пока наконец Вольтер не объединяет эти параллельные и равновеликие задачи в блистательном афоризме, которой достоин того, чтобы быть написанным на знамени Субъекта: «О, Господи, если Ты есть, спаси мою душу, если она есть».

¹ Бадью А. Манифест философии. СПб., 2003. С. 154.

Любая достоверность может и должна быть подвергнута *измышлению* для того, чтобы обрести достоинство истины — истины субъекта. Что, например, может быть более ясным и отчетливым, чем бегущая строка новостей, но для философии она интересна ровно настолько, насколько она подозрительна. Понятно, что транспарация, призванная устранить дежурную “заднюю мысль” по всякому поводу, чужда всем философским лагерям. “Это потому, — мог бы сказать наблюдательный хуматон, — что у субиков все мысли задние — других просто нет”.

Отсюда следует, что философская критика массовой культуры при всей ее изощренности (наверняка еще не окончательной) принципиально ущербна без самокритики критикующего, которому следовало бы по крайней мере признать, что философствовать о культуре и критиковать массовую культуру есть практически одно и то же. Другое дело — принять или хотя бы понять транспарацию в единстве ее простых неизмышляемых истин. Такая чужеродная для философии задача под силу лишь революционерам духа, способным, подобно Марксу, избрать себе точку идентификации на противоположном от “собственного полушария” полюсе. Надо покинуть ближайшую референтную группу и найти себе свой пролетариат.

Замещение вакансии выразителя сознания *neosapiens* относится к тому же разряду задач, разве что отличается еще большей сложностью. Все-таки пролетариат можно было поднять до уровня мыслящего субъекта, благо что подозрительность у него имелась в избытке (да и сам метод Маркса в некотором отношении можно определить как *гиперподозрительность*). Что же касается новой социальной силы, умеющей обходиться без задних мыслей и в принципе не слишком интересующейся феноменом

подозрения, то ее теоретическая репрезентация на философском уровне вообще проблематична. Ибо философ способен быть защитником угнетенных — например, угнетенных буржуазией, но способен ли он стать защитником угнетенных философами?

Итак, что же такое присутствие человеческого в человеке, альтернативное конфигурации субъекта? Философская публицистика интерпретирует отношения индивидов, органично вписанных в континуум современности, как “механические” и “бездушные”. Утверждается, что эталонным адресатом таких отношений является “посторонний” или “первый встречный”, и вслед за этой констатацией неизбежно идет ценностное суждение — например, об оскудении экзистенции, упадке интенсивности присутствия — или очередная вариация в духе Хайдеггера о “забвении бытия”. Ценностные суждения, как известно, всецело зависят от системы отсчета. Ведь тот же “эталон приветливости” можно истолковать и в положительном ключе — как эффективный способ избавления от взвинченности, экзальтированности и зацикленности. Или возьмем, к примеру, простодушие хуматона. Этот преодолевший промежуточность индивид действительно простодушен (и прямодушен) в отношении к другому, даже если противостоящий ему другой — классический субъект (т. е. явно “подозрительный тип”). Критикуемая *бездушность* на поверку может казаться куда более щадящей и комфортной, чем альтернативная *душевность*, которой субики так успешно терзают друг друга.

Отношение к личности как к вещи — вот уж воистину удачная страшилка, вызывающая у субиков ужас на протяжении двух столетий. Хуматон понимает толк в вещах и агрегатах, умеет с ними надлежащим образом обращаться.

И если сказать, что к встречному другому хуматон относится как к особому рода вещи, это будет всего лишь означать, что он *хорошо* относится к человеку. Это значит, что он не будет “стучать по крышке”, а попытается разобраться в вынесенной клавиатуре. Если же допустимые операции с клавиатурой упорно не соответствуют “картинке”, возможно, что агрегат просто вышел из строя. Тогда следует обратиться к специалисту — к психоаналитику или в учреждение, где устройство могут перезагрузить. Психоаналитики, кстати говоря, медленно, но верно эволюционируют в сторону наладчиков и настройщиков “зависших” устройств. Они вполне адекватно воспринимают социальный заказ (чем обеспечивают и собственное будущее): выявлять и отключать контуры, реагирующие на помехи, на смутные позывные иного бытия, вносящие невразумительность в прием сигналов основного диапазона.

Далее. Если уж проявлять аналитическую строгость в интерпретации выводов самой философии, следует признать, что рыцарем чистого практического разума является как раз хуматон, а вовсе не субъект. Именно хуматон непоколебимо следует категорическому императиву, причем ему дается это легко и естественно. Он никогда не сделает другому (даже первому встречному) того, что счел бы несправедливым или обидным в отношении себя. В силу простодушия транзитивные моральные переносы даются хуматону несравненно легче. И правило *als ob* соблюдается им безукоризненно, наверное так, как это мечталось самому Канту. Жить в избранной для себя вселенной, не обращая внимания на нестыковки с реальностью, на нетвердый, все время меняющийся выбор сторонников замутненного практического разума, жить, как если бы контуры предпочтений были единственной достойной внимания реальностью, — на

это безусловно способен не обремененный тяжелым наследием подозрительности индивид.

Весьма поучительно также сравнение проекта Humaton с хайдеггеровским проектом Dasein. Здесь мы найдем как совпадающие, так и несовпадающие параметры. Зов совести безусловно присутствует и повелевает в новом типе подлинности — при том что прием зова не сопровождается помехами (утрызаниями). Присутствует и забота, в том числе и в форме озабоченности, — правда, она связана преимущественно с режимом подзарядки, с возобновлением *основного ресурса* — денег, новостей и подтверждений-регистраций присутствия (ими, впрочем, обеспечивают первые встречные).

Зато в модернизированном проекте совсем не выражена *заброшенность*. Чужеродность заставаемого мира, всегда встречающая Dasein, в известном смысле представляет собой отклик на априорную подозрительность. Заброшенность есть результат изначального смещения, вызванного подозрением. Для хуматона, напротив, естественная установка состоит в том, чтобы оказаться среди своих: он отнюдь не чувствует себя шпионом в тылу врага и, если говорить о “жанрах”, решительно предпочитает боевик детективу. Не является для него экзистенциалом и бытие-к-смерти. Нормальный инстинкт самосохранения не подвержен этой философской модуляции. Факт неминуемой смертности не погружает хуматона в омут “последних вопросов”, страх смерти присутствует лишь на эмпирическом уровне. Наконец, не выявлена, собственно, сфера Gerede, “болтовни”. По одной простой причине: внутри континуума ей просто нечего противопоставить.

Если уж говорить о Хайдеггере, то в своем описании свершившегося забвения бытия философ уделяет много

внимания технике, подчеркивая ее эпохообразующий характер. Однако преобразование чаши в пластмассовый стаканчик скрывает от него куда более важный факт преобразования манускрипта в газету...»

Но здесь мы, пожалуй, прервем сеньора Аутисто, поскольку его дискурс все более начинает напоминать «Диалектику Просвещения» Адорно и Хоркхаймера. Подзащитный уже явно потерял нить реабилитирующей его речи и переключился на мультики. С его точки зрения, герои мультиков куда как успешнее заполняют вакансию философов от ПСК.

Свод мифов можно рассматривать как духовные подпорки любой устойчивой социальности; при этом способ фиксации мифа, включая выбор носителей, немаловажен. Запечатлен ли миф на скрижалях или глиняных табличках или, может быть, его воспроизведение неразрывно связано с колебаниями струн — все это далеко не посторонние моменты как для содержания священного текста, так и для последствий его «распечатки» в теле социума. Носитель мифа сам по себе должен быть достаточно авторитетным и уж никак не вправе бросить тень на драгоценное содержимое.

Скажем так: если бы благая весть о деяниях Иисуса была обретаема в XVIII веке, она не могла бы быть опубликована в газетах и журналах по причине неизбежной дискредитации ее в этом случае. Но во второй половине XX века предпубликация в прессе уже нисколько не повредила бы авторитету новообретенного Священного Писания. В начале XXI века ни один текст, обойденный вниманием mass media, уже не может претендовать на общезначимость, не то что на сакральность.

Что же касается мифологии или, лучше сказать, опорных мифологем ПСК, то они конденсируются на светящихся экранах. Во-первых, как уже отмечалось, для все еще почтенных философских текстов потесниться ради апологии ПСК было бы равносильно иллокутивному самоубийству — как если бы офицеры Генштаба стали пропагандировать идеи пацифизма. Да и для художественной литературы создание мифологии хуматонов и уж тем более согласие руководствоваться ею было бы похоже на вну-

треннюю диверсию, направленную против *автора* и принципа авторствования. Ведь *автор* — важнейшая на сегодняшний день ипостась субъекта, едва ли не единственная еще не исчерпавшая своей внутренней силы¹. Во-вторых, ПСК изначально ориентирован на зрелище, а не на «читалище». Мониторы — это и есть его скрижали. И художник, занятый созданием фильмов и видеоклипов, не может не учитывать вектор ожиданий аудитории, будь он хоть трижды субиком.

Скрижали появились раньше священных текстов, предназначенных для их заполнения. Но они уже несли в себе предчувствие могущественного бога — и он не замедлил объявиться, сиятельный и ревнивый Йюкста, бог-покровитель рекламы, хранитель Иллюзиона, дух Матрицы². И как бы ни выпендривались художники-субики и субики-режиссеры, как бы ни дорожили они своей фигой в кармане, все же они вынуждены повиноваться указующему персту того, в чьи владения они вышли. Пробная мифология хуматонов как форма неоязычества проясняется по мере торжества транспарации, по мере того, как сам хуматон конденсируется в качестве агента-деятеля ПСК.

Показателен в этом отношении фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп». Несмотря на иронию создателей

¹ См. подробнее: Секацкий А. Диверсионно-подрывная миссия художника // Сила взрывной волны. СПб., 2005. С. 89–117.

² Еще в начале 90-х годов прошлого века группа петербургских художников, занятых компьютерной графикой (Алексей Багапов, Олег Фрязин, Денис Самсоненко и др.), предположили наличие особого «существа», направляющего их усилия и ограничивающего их свободу. Существо явно повелевало устройством виртуальных пространств и получило название «бога Йюксты». Позднее к схожему выводу пришли программисты и разработчики из других стран, но открывшееся Фрязину имя бога сохранилось в «посвященных кругах».

фильма — впрочем, весьма умеренную, — мы отчетливо видим контуры нового «мифа о происхождении»; еще более ярко представлен отредактированный принцип богоугодности. По существу, Форрест Гамп, главный герой, предстает как новоявленный Прометей, дающий людям (то есть американцам) чрезвычайно важные прецеденты и совершенно необходимые для настоящей, подобающей человеку жизни приспособления. Среди них образцы героизма, порядочности, верности данному слову, но также и компактные фрагменты образа жизни вроде бега трусдой. Американский Прометей абсолютно бесхитростен, словно брат-близнец Микки-Мауса, и в этом источник его экзистенциального торжества.

Важно отметить, что бесхитростность и прямотушность работают в двойном ключе — одновременно как несомненный знак богоизбранности и как секрет мирского успеха. Бесхитростность оказывается лучшей стратегией там, где терпит поражение хитрость разума. Форрест гоним злобными и неблагодарными субъектами, но никакие гонения не ожесточают его душу — и всякий раз хитроумно-изоциренным субъектам приходится признавать правоту прямотушного хуматона. Совершенно неслучаен список добродетелей нового пророка: спортивность, необидчивость, воистину эталонное доверие к первым встречным, которое и вправду обезоруживает, наконец, любовь к простым зрелищам и простым занятиям вроде подстригания газона. И полное отсутствие вредных привычек, в том числе и привычки к чтению. Характерна в этом отношении одна из ключевых сцен фильма, когда Forrest Gump junior вручает отцу книжку, которую тот читал еще в детстве. Гамп-младший ее уже перерос, для отца же она остается единственным образцом того, что вообще стоит прочесть.

«Форрест Гамп» — американская утопия, постепенно теряющая свою утопическую составляющую в пользу реальности. Подобно всякому хорошему, т. е. выполняющему свою задачу, мифу, фильм оказывает терапевтическое или, лучше сказать, метафармакологическое воздействие, амортизируя некоторые типичные социальные нестыковки. Скажем, прогрессирующая аутизация общества¹ могла бы представлять собой безболезненное погружение в гомеостаз, но этому препятствует постоянная угроза встречи с другим, который не желает считать себя первым встречным. Этот злокозненный персонаж оборудован принципиально фальсифицированной «выносной клавиатурой» — ясно поэтому, что контакт с ним мучителен для хуматона. И вот тут-то пример Форреста Гампа может сыграть вдохновляющую роль — не только в смысле умения стойко переносить удары судьбы, но и как образец для аранжировки собственного поведения, адресованного во вне. Даже искусственно культивируемая бесхитрость снижает вероятность травматических встреч, одновременно повышая уровень приемлемого аутизма, что как раз и является вектором развития американского общества.

Твердость и, что еще важнее, естественность моральных принципов (в отличие от кантовской стратегии добровольного самопринуждения) в сочетании с нулевой волей к авторствованию и полной интеллектуальной девственностью — таков идеальный аттрактор меняющегося менталитета Америки. Раз уж речь зашла об экранизированной мифологии, то противоположным по отношению к «Форресту Гампу» полюсом может служить фильм Павла Лунгина «Такси-блюз». Главный герой этого фильма

¹ Любопытная сводка материалов на эту тему представлена в книге Understanding other Minds/ Ed. by C. Baron-Cohen, L., 1991.

саксофонист Селиверстов является средоточием родовых черт российской интеллигенции, если угодно, ходячей иллюстрацией ее ментальности. Перед нами — полный моральный монстр, человек с непоправимо искаленной нравственностью. Но зато когда этот музыкант (он мог бы быть художником, поэтом, вообще автором) берет в руки саксофон, он «с Богом разговаривает». В системе ценностей русской интеллигенции (если рассматривать в категории «для себя», а не «для другого») нет ничего важнее признанности в качестве автора. Любая степень морального уродства извинительна, если дано и подтверждено главное — «талант», он же «дар», он же, в сущности, и «смысл жизни».

В той или иной форме мы имеем здесь дело с установкой европейского субъекта вообще. Вовлеченность в соискание признанности не позволяет остановиться на промежуточном этапе, на формуле «быть не хуже других». Погоня за этой планкой и подтвержденный успех такой погони снимают часть напряженности, но никогда не приносят субъекту *счастья*, если нет еще признанности в качестве «разговаривающего с Богом». И именно американская (англо-саксонская) цивилизация дальше всего отстоит от подобной одержимости, при том что дивиргенция ценностей непрерывно нарастает по оси времени. Похоже, что индивиды различных цивилизаций разговаривают с Богом на разных языках и о разных предметах.

Навскидку Форрест Гамп может показаться более привлекательным персонажем, чем саксофонист Селиверстов. Но не следует спешить в оценке, в особенности если речь идет об идеальных типах, аттракторах продолжающегося социогенеза. Достаточно представить мир, в котором Форрест Гамп утрачивает свою эксклюзивность и стано-

вится массовым персонажем, — контуры такого мира уже существуют в виде ПСК. Во «вселенной Селиверстовых», которая основана на системе метафизических координат Декарта, каждый полноценный субъект озабочен двумя вещами: Я-экспансией (стремлением транслировать свое присутствие как основание бытия других субъектов) и сохранением уникальности своей индивидуальной монограммы бытия-в-мире, т. е. пресечением всех встречных экспансий (влияний). Противонаправленность устремлений опосредуется работой негативности, поддерживающей непрерывное внутреннее беспокойство становящегося духа¹. Как бы там ни было, но эпоха рессентимента давно уже выработала приспособительные механизмы для утилизации маниакального авторствования и противодействия его наиболее разрушительным последствиям. Трудно предугадать, что произойдет, когда стационарные условия бытия субъектов изменятся — например, когда «типичный Форрест Гамп» сравняется по численности с «типичным Селиверстовым». Из гегелевской логики вытекает, что остающиеся при этом на плаву носители хитрости разума обретают режим максимального благоприствования, однако даже эмпирические наблюдения над контурами становящегося ПСК вызывают большие сомнения в таком исходе.

Процесс консолидации новой мифологии набирает силу, и в недрах массовой культуры постепенно вызревает благая весть от Йюксты. Пока ее еще трудно отличить от «специального предложения» «Макдоналдса», тем более что подозрения субъектов-производителей и субъектов-потребителей рекламы направлены совсем не в ту сторону.

¹ Гегель. Феноменология духа. СПб., 1992. В особенности раздел «Духовное животное царство и обман или сама суть дела», с. 210—224.

Но, как это часто бывает, даже самые прожженные циники не ведают, что творят.

Рекламная активность уже давно отделилась от товарного производства в классическом смысле этого слова¹. Она еще выполняет посредническую и транспортную функции в деле перемещения товаров, но уже по большей части использует их в качестве прикрытия собственной неуклонно расширяющейся автономии. Какие, вообще говоря, нужны основания, чтобы нечто рекламировать? В таком виде вопрос даже и не ставится в силу очевидности предполагаемого ответа: ну конечно же, нечто рекламируется для того, чтобы это самое нечто или нечто другое сбыть. Гиперподозрительность обладателей Л-сознания² легко успокаивается в данном «естественном» предположении: все дело в том, что мне хотят нечто «втюхать» и поиметь мои денежки. Поскольку гиперподозрительность всегда направлена в одну и ту же привычную для нее сторону, субъекту не приходит в голову заподозрить другую возможность: рекламная гонка устроена не для того, чтобы *сбыть*, а для того, чтобы *быть*. Например, быть в качестве субъекта производства, хотя и эта привязка достаточно условна и весьма напоминает *рационализацию по Фрейду*. В рекламной активности утверждает свою признанность свободный агент регистрируемого бытия, агент, пришедший на смену субъекту-автору и унаследовавший некоторую часть характерной для автора озабоченности. *Главное, не спутайте меня с кем-то другим* — эта четко зафиксированная Фридрихом Ницше заповедь авторов всех времен остается действенной и для паразитарных

¹ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.

² См. подробнее: Секацкий А. К. Онтология лжи. СПб., 2000.

квазисубъектов, ищущих благословение на бытие у бога Йюксты.

Любопытно было бы сопоставить сверхзадачу рекламы с интенциональностью мышления по Гуссерлю. Гуссерль (вслед за Аристотелем) утверждает, что не бывает «просто так мышления» и всякое мышление есть мышление «о чем-то». Предмет мысли может быть сколь угодно ложным и неточным, может быть и совершенно случайным, но вообще без предмета мысль непредставима. На практике «предмет» нередко используется как повод — повод для демонстрации боеготовности мышления, как упражнение для подтверждения признанности. В этом смысле реклама вполне интенциональна, она есть реклама о чем-то и для чего-то, но отсюда отнюдь не вытекает факт ее подчиненности предмету. Вопрос «Во имя чего?» не устраняется с признанием интенциональности.

Вообще говоря, на уровне восприятия рекламная продукция присутствует в фоновом режиме. Тот или иной видеоклип порой обращает на себя внимание, но задержка случается скорее в эстетическом, чем в прагматическом измерении. Возьмем российскую рекламную видеопroduкцию последнего десятилетия. Вот пивовар Иван Таранов — персонаж достаточно обаятельный и запоминающийся. Да и остальные герои этой саги — старик Эйнштейн, помещица Козявкина — выведены очень даже остроумно, что позволяет поставить их в один ряд с героями «Каникул в Простоквашино». Правда, не сразу вспоминается, какое там именно пиво они рекламировали, а если мы даже и вспомним про пиво «Пит», можно все же с полной уверенностью утверждать, что на судьбу продаж этого пива яркий рекламный видеоряд никак не повлиял.

Одной из причин отклонения рекламы от строгой интенциональности является, конечно, позиция субъекта — художника-субика, глубоко презирающего в глубине души и заказчика, и того потребителя, который на полном серьёзе способен среагировать на рекламное предложение. Такое отношение имеет давнюю традицию, распознаваемую через все различия исторических форм.

Если открыть крышку часов, изготовленных в XVII веке мастером из Регенсбурга или Майнца, можно обнаружить, что детали часового механизма, даже самые глубоко спрятанные шестеренки, украшены резьбой и виньетками. Эти изображения кажутся не менее загадочными, чем пещерная живопись, остается предположить, что они адресованы не человеческому глазу, а оку Всевидящего и, стало быть, свидетельствуют о глубине веры не меньше, чем строгое исполнение монастырского устава. Неспешность и тщательность отделки, явная избыточность вложенных усилий, с точки зрения потребителя, позволили Хайдеггеру определить это время как «эпоху мастера» в противоположность современности, ориентированной на идею одноразового пластмассового стаканчика. И в самом деле, «негативное» определение современности в том как будто бы и состоит, что никто уже не заботится об инкрустации невидимого: все усилия направлены исключительно на показное.

Но вот неожиданное свидетельство только что появившейся «компьютерной археологии». Аккуратно разбирая и счищая слой за слоем платы первых РС, «электронные диггеры» обнаружили глубоко скрытые *узоры пайки*, явно не предназначенные для человеческого глаза. Среди них попадаются забавные рожицы, сценки из мультиков и даже объяснения в любви... Очевидно, что мотивация

веселых сборщиков отличалась от мотивации средневековых мастеров, но отличия эти не так уж существенны, как может показаться на первый взгляд. И в том и в другом случае нельзя не почувствовать проявления некой силы, вызывающей уважение и даже восхищение. Смешные рожицы могут показаться простым казусом, но, по сути дела, это росчерк свободы поверх унылой маниакальной целесообразности — и он распознаваем повсюду, где дух торжествует над материей, он, собственно, и является признаком такого торжества. Одновременно речь идет и о памятнике, который сам себе воздвигает классический субъект, — и ясно, что он до последнего будет цепляться за монограмму своего уникального авторствования.

С этой точки зрения Россия, остающаяся главным прибежищем подозрительного субъекта, особенно показательна. Нетрудно представить себе археологов ближайшего будущего, приступающих к расчистке и разборке сегодняшних российских рекламных клипов. Снимая прямолинейный и мгновенно устаревающий собственно рекламный слой, они тоже могут обнаружить кое-что любопытное. Вот уровень операторского мастерства, вот виртуозно исполненный социальный заказ, но под ними припрятан аналог ехидной рожицы: какая-нибудь изощренная фига в кармане. За примерами далеко ходить не надо: все уже забыли, какие там пельмени рекламировал Иван Иванович, но хорошо запомнилось, что «старший брат Иван Ивановича» (который с пейсами) ел неправильные пельмени, а сам Иван Иванович — те, какие нужно...

Сколько еще подобных маленьких шедевров откроют будущие археологи! По совокупности открытий они, быть может, даже зауважают нашу эпоху. Конечно, «Хопёр-инвест» — это, скорее, памятник неприкрытому цинизму,

но уж каждому времени свой памятник. Зато если внимательно присмотреться к домикам, построенным для богатеньких (но слабеньких на голову) заказчиков, нет-нет да и обнаружишь какой-нибудь росчерк свободы, виньетку мастера. Обнаружишь и порадуешься тихой радостью субика: таким и должен быть ответ Художника коллективному жлобству. Мастер из Регенсбурга наверняка понял и одобрил бы «кривые рожицы» своих сегодняшних собратьев. Он правильно рассудил бы, что в конечном счете сие угодно Господу. Однако и Форрест Гамп, и миллионы новых подданных ПСК в лучшем случае просто пожали бы плечами, а скорее всего — и вовсе ничего бы не заметили.

Ибо отклонение «рекламной интенциональности» определяется отнюдь не только фигой в кармане, и даже не столько ею. Содержательные законы этой сферы еще не совсем определились, но с формально-эстетической и чисто формальной стороны мир рекламы предстает как авангард ПСК, как хорошо оборудованный полигон для синтеза новой имманентности. В рекламном дискурсе прекрасно прижились все параметры mass media, включая регулярную поставку новостей.

Новости от «Тиккурилы», скидки весенне-летнего сезона, «теперь два в одном», чехол для кисточки в подарок, сумочка для чехла для кисточки в подарок, пристежка для сумочки для чехла для кисточки в подарок, теперь краска ароматизированная и сохнущая на полторы минуты быстрее — бегущая строка новостей прижилась и здесь, и скорость ее обновления все время растет. Ясно, что мы имеем дело с господствующим типом трансляции знания, и упускать его преимущества было бы неразумно: чем «новости от «Тиккурилы»» хуже новостей от CNN? По боль-

шому счету, корпоративные новости обладают даже рядом преимуществ, ибо, воспроизводя интригу, дрожь подставляющегося телекамерам мира, они, как правило, подаются в последовательности *хорошая и очень хорошая*. Новости тонизируют, побуждают к действию, они могут даже побудить к *покупке* (вдруг, например, окажется невозможным устоять перед сумочкой для чехла для кисточки?). Побуждение к покупке, впрочем, не самая главная цель, важнее быть просто в курсе новостей, новостей от «Тиккурилы».

В своей работе «Символический обмен и смерть» Жан Бодрийяр отмечает прогрессирующее признание вины агентами власти и прочими эксплуататорами по мере того, как действительное положение дел становится «еще хуже» и прежние подозрения оказываются чуть ли не апологией: «Церкви всегда существовали для того, чтобы скрыть смерть Бога, природные заповедники и индейские резервации — для того, чтобы скрыть, что ни животных, ни индейцев больше нет... Всегда будут существовать заводы и фабрики для того, чтобы скрыть, что труд умер, что производство умерло или же что оно теперь повсюду и нигде... Стратегическая функция трудящегося смещается в сторону потребления как обязательной службы обществу»¹. Теперь, когда основные усилия направлены на поддержание иллюзии нужности *твоей работы*, не грех признаться и в эксплуатации труда, тщательно скрываемой ранее. Вывод о том, что «меня эксплуатируют», окажется, пожалуй, более приемлемым, чем страшное подозрение, что я никому и даром не нужен.

Эта тщательно скрываемая коллизия со всей отчетливостью проявляется в сфере рекламы. Потенциальному потребителю чуть ли не открытым текстом дают понять:

¹ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 71–72.

ах, как мы хотим твои денежки! «А вот не дожидесь», — злорадно произносит про себя субъект, ознакомившись с рекламным сообщением. Но рекламодатель не очень-то и переживает, ведь его тайным желанием было стремление зарегистрироваться в качестве существующего, еще раз подтвердить свое присутствие пред лицом бога Йюксты. Контрхитрость рекламодателя направлена исключительно против хитрости разума; хуматону, напротив, такое положение дел кажется весьма здравым, по его мнению, к этому и должно стремиться просвещенное, транспарированное общество. Да, рабочие места создаются для того, чтобы обеспечивать занятость (симулировать нужность), — что ж тут особенного? Почему бы специально не позаботиться о нужности каждого, если эта нужда в другом не дана с самого начала? Ответом на такую заботу должна быть элементарная благодарность (она же новая редакция профпригодности) — трудовая дисциплина, здоровый образ жизни, общительность, открытость, неподдельный интерес к новостям от «Тиккурилы», раз уж ты в «Тиккуриле» работаешь... Генерировать фантастические идеи, подчеркивая свою особость и незаменимость (и уж разумеется, культивируя собственные капризы), — вчерашний день, правильные, нормальные люди в таких извращениях вовсе не нуждаются. А если так же правильно будут устроены и потребители, они не смогут устоять перед новой яркой крышечкой, перед шоколадкой, которая тает во рту, а не в руках, перед краской, которая сохнет на стене, а не на кисточке, — и какие тогда могут быть проблемы со сбытом? Если только и как только стратегия гиперподозрительности утратит свое абсолютно господствующее положение среди совокупных стратегий потребления, перестанет окупаться и изощренность обмана.

Это только кажется, что доверчивость всегда проигрышна, а наивность непоправима, стоит отказавшимся от идеологии двойного дна достичь некой критической массы, доверчивость станет безусловно выгодной, даже если конструкторы симулякров вовсе не имели намерения специально вознаграждать за доверчивость.

Сегодня действуют два противоположно направленных вектора стимуляции человеческой деятельности (в том числе и в сфере экономики). Один из них, культивируемый авангардом всеобщей аферистики, побуждает субъекта все время быть начеку и тем самым приводит к совершенствованию противообманных устройств¹. Здесь мы имеем дело с некой константой Л-сознания, а стало быть, и с важнейшей на протяжении тысячелетий движущей силой прогресса. Инструмент прогресса, если представить его в виде бура, углубляющегося в тайны природы, снабжен алмазным острием фальсификации, при том что и привод подпитывается энергией фальсификации. Авангардисты прогресса — это полномочные представители инстанции подозрения, те, кому удастся перехитрить, обвести вокруг пальца природу (Эдисон, Резерфорд, Оппенгеймер). Компактная группа авангардистов специализируется на таком же проникновении в природу Л-сознания; здесь есть свои гении-авантюристы — Рон Хаббард, преподобный Мун, братья Мавроди... В сущности, человечество должно быть благодарно им по многим причинам. Ведь они, прежде всего, «санитары леса», не дающие социуму погружаться в пучину ленивого разума и алчного, но столь же ленивого воображения. И обманщики природы, и взломщики несчастного, но

¹ Секацкий А. К. Формы лжи в структурах социальности // Очерки социальной философии. СПб., 1998. С. 271—284.

очень подозрительного сознания руководствуются одной и той же установкой, позволяющей и извлекать пользу из электромагнитных колебаний, и получать выгоду от встроенной подозрительности субъекта, готового тем не менее на все, как справедливо заметил Маркс, если речь идет о получении сверхприбыли. Подозрительность сыщика в соединении с жадностью фразера есть идеальная питательная среда для мавроди всех времен. Без систематического тренинга, проводимого этими сверхобманщиками, хитрость разума, говоря словами Гегеля, не могла бы столь эффективно воздействовать «на тупой конец мощи».

Все авангарды высланы в пробное будущее, чтобы подготовить плацдармы для его последующей колонизации. Но в отличие от экзистенциальных и художественных авангардов, спецназ Л-сознания всегда определяет направление последующего главного удара, и для него задержка на отвоеванном плацдарме означает неизбежное уничтожение «основными силами», движущимися в том же направлении. В то же время именно здесь, в водоворотах всеобщей аферистики, традиционный проект субъектности обретает экзистенциальную укорененность: санитары леса не только наказывают за жадность тех, кого Ницше называл «шавками, заслуживающими пинка»¹, но и дают прекрасный урок *естествоиспытателям*, исследователям природы, в особенности человеческой природы.

На этом фоне, в условиях действия константы Л-сознания, вектор, направленный на поощрение всякого шанса, даруемого чистому, незамутненному подозрению

¹ Ницше Ф. К генеалогии морали // Соч. Т. 2. М., 1990. С. 441.

разуму¹, кажется чем-то несущественным и даже безнадежным. Уж сколько раз твердили миру, что дураков надо учить, что доверчивость наказуема... «Полноценного» субъекта вообще вряд ли можно убедить, что доверчивость в форме «для себя» хоть чем-то отличается от глупости (в форме «для другого» она, напротив, предстает хорошо обоснованной стратегией).

Но в действительности не все так безнадежно — деятельность, направленная на разоружение Л-сознания, имеет свои проверенные стратегии, которые иногда ставят в тупик самых продвинутых фальсификаторов. В отношении некоторых ценностей экзистенциального плана это почти очевидно. Человек, лишенный подозрительности, провоцирует встречное доверие, одаривается дружбой и вообще поворачивает к себе мир светлой стороной. Князь Мышкин тут может рассматриваться как предшественник Форреста Гампа, хотя «дефект», допущенный при сборке субъекта, очевиден, что и побудило Достоевского назвать роман «Идиот». ПСК, возникающий на основе общества изобилия, предоставляет своим преданным, адаптированным агентам не только экзистенциальные предпочтения, но и некоторый шанс если и не благополучия, то все же сносного экономического положения.

Представим себе, как *семейство мавроди* разрослось необыкновенно, что неизбежно происходит, когда сфера всеобщей аферистики оказывается предоставленной самой себе. При этом встроенные противообманые устройства, стабильные регуляторы *Weltordnung* демонтируются, освобождая площадку для свободного обмена

¹ «Чистый разум» Канта отнюдь не свободен от подозрений, наоборот, одно из его главных занятий — это проверка алиби эмпирического сознания (рассудка).

обманом¹. Такого рода попустительство есть либеральная санкция рыночной экономики, по существу режим максимального благоприятствования сверхобманщикам, поскольку большая степень свободы для них приводит уже к разрушению социума. Разумеется, каждый из агентов экономической деятельности пытается разыграть, «развести» покупателя по полной программе — наперсточники всегда снимают первые пенки. Однако свобода, предоставленная *предприимчивости* (прекрасный термин, если бы и в логике оппозицию «истина — ложь» заменить на оппозицию «истина — предприимчивость», логика стала бы спекулятивной дисциплиной, обеспечивающей регулярный прирост знания, пусть даже и не высшей пробы), исключает монополию. Тактика снятия пенек разовым усилием оказывается далеко не самой эффективной. Цветные крышечки и этикетки с призами применяют не только производители пепси, и в условиях конкуренции появляется определенный смысл вознаграждать самых доверчивых. Знаменитый всероссийский debil Лёня Голубков с рекламных роликов Мавроди обретает свой шанс, если будет вести себя пред лицом бога Йюксты как Авраам пред лицом Иеговы: вполне возможно, что Йюкста сдержит свое обещание, и размножит голубковых как песок морской, и выведет их в землю обетованную, в ПСК.

Шансы голубковых возрастают, когда установка на запоминаемость брэндов начинает конкурировать с установкой на рост объема продаж. Тогда коллекционеры вкладышей и крышечек оказываются в роли создателей нерукотворного памятника для всех, отождествляющих

¹ Секацкий А. К. Обмен обманом как всеобщий фон коммуникации // Открытое общество и культура. Т. 2. СПб., 1994. С. 109—112.

себя с брэндом. Персонал хозяйственного субъекта не прочь и приплатить преданным регистраторам своего существования (как авторы склонны дарить книжки верным читателям); радиослушатель, оказавшийся в курсе новостей от «Тиккурилы», вправе получить призовое ведерко краски и «наше вам с кисточкой». Тем более что хуматоны воистину благодарны и непривередливы, они довольны и теми приманками, которые разворачивают перед ними в своих корыстных целях подозрительные субъекты. Но что особенно важно, скромная удача верноподданного ПСК, какой-нибудь скейтборд, может значить для его референтной группы больше, чем порция сверхприбыли, полученная Мавроди для его «коллег». Тем самым обнаруживается существенное преимущество хуматонов — легкая конвертируемость материального выигрыша, даже самого незначительного, в непосредственное удовольствие. Радость хуматона неподдельна, ибо, во-первых, санкционирует правильный выбор смысла жизни (в мире субъектов подобная радость всегда смешана с подозрениями и с предчувствиями: скажем, не пора ли приносить искупительную жертву?), а во-вторых, подтверждает собственную удачливость. Надо ли удивляться, что подозрения носителей Л-сознания сгущаются и вопреки всем их жизненным установкам появляется зависть к «лохам», которые, перейдя через мыслимый (или даже немислимый) край наивности, вновь стали непостижимы для подозрительного сознания.

Всмотримся подробнее в эту удивительную картину. Вот субик со своим врожденным негативизмом по отношению к массовой культуре и столь же прочным недоверием к всеобщей аферистике (ее агенты симметричны, транзитивны и изоморфны ему самому и поэтому вызывают

законные опасения) смотрит на героя рекламного ролика, который безмятежно счастлив по совершенно простой и прозрачной причине: он вовремя *сникерснул* и к тому же не дал себе засохнуть... Субик смотрит и думает: «Вот же идиотина... И эти клипмейкеры, неужели они рассчитывают кого-то завлечь, демонстрируя трехкопеечную радость дебила? Сами, видимо, тоже радуются: кинули заказчика, сняли бабки... Что ж, молодцы ребята!» Примерно такая гамма чувств охватывает типичного носителя Л-сознания. Однако через короткое время детина вновь появляется на экране: теперь он собрал нужное количество крышечек и стал обладателем путевки на чемпионат мира по бэбиситтингу. Еще через пару минут он же, только теперь в женском обличье, получил в подарок блестящую застешку к ремешку от компании «Факен Чикен», и радость его (то есть ее) вновь неподдельна! Именно это против воли впечатляет и завораживает: самоотдача юного «хуматона унисекс», который, в отличие от *homo sapiens*, одинаково решителен и безмятежен, идет ли речь о победе в конкурсе SMS, посвященном новым разработкам «Fucken Chicken», о триумфе в вокальных упражнениях «Фабрики звезд» или о новой застешке. Этим он напоминает истинного мастера недеяния: ведь и тот равнодушен к тому, что поставлено на кон — черепица, серебряная застешка или вся Поднебесная¹.

Словом, дебил дебил, но ведь несколько не комплексует. И очень похоже, что ему действительно хорошо. И это при том, что подозрительный субъект не может не видеть, какая простенькая модель предложена для идентификации, с его точки зрения, на такую наживку может

¹ Секацкий А. Чжуан-цзы и даос Емеля // Секацкий А. Прикладная метафизика. СПб., 2005.

клонуть лишь «недосубъект», здесь не требуется даже включения алчности, губящей фраера, алчности, которая так или иначе учитывается в других роликах, лучше адаптированных к устройству Л-сознания.

Да, реальные подростки, адепты скейтинга, боулинга, пирсинга и фаст-факинга и вообще все те, кого можно назвать обобщающим термином «сникерснутые» (все *сникерснутое поколение* в целом), отнюдь не таковы. Они, реальные, агрессивны, нечистоплотны и вообще предельно закомплексованы. Но. Среди них действительно попадают-ся, и чем дальше, тем чаще, узнаваемые по клипам и постерам персонажи на скейтах, которые, и это сразу видно, действительно *любят кататься и ненавидят потеть*, чарующие самодостаточные в проявлениях своего бытия.

Пусть эмпирическое большинство тинейджеров обоего пола «отвратительны», поскольку представляют собой сплошной рессентимент, причем как раз в его наиболее неприглядном, подростковом виде. Следует, однако, признать, что отвратительны они именно нашей отвратительностью, каждый из них со всеми подозрениями и комплексами есть гадкий утенок будущего «субъекта-лебедя», и лишь пройдя эту личиночную стадию, они смогут пополнить наши ряды. Принадлежность к сникерснутому поколению, следовательно, состоит совсем не в этом, не в негативизме, древнем как мир или, точнее говоря, как сам субъект. Решающее отличие и суть дела в том, что они ориентированы не на скорейшие успехи в деле субъектности (как генералы песчаных карьеров, будущие мачо Латинской Америки и замоскворецкая шпана). Эта крутизна теперь всего лишь запасной вариант. Настоящую же модель успеха современных тинейджеров, их *сладчайшее*, воплощают как раз те, словно выпрыгнувшие прямо

из монитора, беспечные наслажденцы. Это перед ними млеют все еще не затвердевшие в своей субъектности, как в окончательном приговоре, подростки, они хотят быть счастливы их счастьем, и именно в этом состоит их сникерснутость. Зачастую лишь ограниченность «основного ресурса» не позволяет сделать решающий шаг навстречу персонажам прекрасных картинок. Идеальная модель автопоэзиса представлена праведниками бога Йюксты, не-обратимо, непоправимо сникерснутым авангардом будущих полноправных обитателей ПСК — хуматонами.

Очевидно, что Россия в этом отношении все еще отстает на целую эпоху, здесь пока по-прежнему самой притягательной имитационной моделью остается братва, те же генералы песчаных карьеров. Но следует заметить, что еще тридцать лет назад ведущие социологи США и Европы полагали, что стадия подросткового негативизма в принципе необратима, ее отсутствие или даже невыраженность ставит под вопрос саму процедуру социализации¹. В традиционных культурах обуздание диких побегов пробного бытия происходило с помощью инициаций; сословные инициации и в дальнейшем оставались важнейшей операцией по преобразованию социального сырья или, лучше сказать, полуфабрикатов-заготовок в полноценных дееспособных индивидов, при том что обратной стороной данного процесса, его неустранимым эпифеноменом, было производство субъекта. Даже когда «школа Господина» закрылась раз и навсегда (стараниями Просвещения), аналоги испытаний-посвящений все равно остались, они просто вышли из-под контроля официальной педагогики. «Недо-

¹ Так полагал, например, Эрик Эриксон: *Эриксон Э. Юность и кризис*. М., 1996. См. также: *Strawch M. States of Adult's Insanity*. N. Y., 1991.

росли» сами потянулись к тем, кто хоть как-то заботился об инициации, — к мачо, к блатным, к лидерам дворовых компаний. Подростки из Ливерпуля, Люберец и Сан-Паулу отличались, разумеется, друг от друга выбором моделей для идентификации, но отличия были и остаются не столь уж принципиальными. Другое дело, скажем, подростки Ирана — поскольку идеалы Просвещения не проникли в исламский мир или, во всяком случае, это проникновение не увенчалось триумфальным успехом, процедура инициации сохранилась в арсенале традиционной культуры.

Просвещение же, искоренив предрассудки, оставило свято место пустым. Предложить действенную альтернативу *rites de passage* удалось только Транспарации: ПСК ввел пропуска нового типа, предполагавшие нечто, невиданное прежде, — социализацию без инициации. Об успехе новой модели говорить еще рано, но появление сникерснутых весьма примечательно. Рай бога Йюксты расположен не так высоко в небе и не так далеко от земли, как рай Иисуса, а для его обретения не требуется аскезы по отношению к земным благам. Но своеобразная праведность, последовательность по отношению к предлагаемым тебе наслаждениям все-таки нужна. В эту праведность и преобразуется подростковая агрессия, в результате чего генералы песчаных карьеров (прежние образцы для подражания) теперь разжалованы в рядовые — куда им до всадников скейтбордов, успевающих сникерснуть в промежутках между головокружительными трюками. Что же касается крутизны, то кто же тут сравнится с Бэтменом и персонажами компьютерных стрелялок?

Еще более радикальной выглядит отмена женских инициаций, с которой и началось движение в сторону unisex. Здесь уместно уже говорить не только о притягательной

модели, но и о реальных шагах, предпринятых феминистическим авангардом. Транспарация *женственности* становится образцом реформы сокровенного: целое измерение субъектности, а именно декольтеологическое измерение¹, словно бы развоплощается, лишается своих тайных практик Сексуальность, всегда бывшая привилегированным полем двойного зрения, тренажером глубинной подозрительности и производного от нее вуайеризма, стремительно теряет свои глубоководные составляющие. На поверхности вещей это выглядит как торжество морали, но возникает законный вопрос: что же мешало этому торжеству все предшествующие тысячелетия? Ведь моральные инстанции, подкрепленные репрессивными мерами добровольной полиции нравственности, неустанно провозглашали принципы женской и девической добродетели в качестве нормы жизни, однако гетерогенный практический разум (Λ-сознание субъекта) прекрасно понимал про себя, что «лучшее украшение девушки — это скромность и прозрачное платье» (Евгений Шварц), — и неукоснительно руководствовался этим принципом в своем эротическом выборе. И если теперь стратегии соблазна одна за другой выбывают из репертуара «межгендерного поведения», как прихотливо выражается Сильвия Грей², если сам способ бытия женщиной утрачивает двойное дно, а вместе с ним и бездонность, то причина тут, конечно, не в победе морального сознания над субъектом, а в подмененности самого субъекта образцовым агентом-деятелем ПСК.

¹ Попытка описать это измерение предпринята в работе: Секацкий А. Постгенитальная сексуальность и европейская цивилизация // Метафизические исследования, вып. 5. СПб., 1998. С. 96–104.

² Grain S. *Applicated Person and The Poverty of The Male*. Boston, 2001.

Идентификация современной женщины, а главное, ее самоидентификация осуществляются путем простого суммирования прежних «обольщающих практик» (разного рода женских *штучек* и хитростей) без воспроизводства двусмысленности, декольтеологической подкладки, без какой-либо попытки «вертеть хвостом», составляющей, по пронизательному наблюдению Пелевина, саму суть гипнотизирующей обольстительности¹. В ассортименте принятого в ПСК поведения есть даже стриптиз, но напрочь лишенный ощущаемой прежде постыдности и «пораженности в правах». Теперь это даже не целесообразность без цели, а ее имитация, изначальный смысл которой скоро утратится, как утратился изначальный смысл рукопожатия. В памяти невольно возникает образ сталинской *физкультурницы*, украшавший в виде статуи все советские парки культуры и отдыха: статуя словно бы ожила, обнаружив при этом свой прямой и негибкий характер². Транспарация пронизывает ровным светом и скромность, и прозрачное платьице, засвечивая контраст, устраняя игру светотени и разность потенциалов, создающую эротический заряд. Скажем, когда госсекретарь США Кондолиза Райс крутит педали велотренажера в подходящем для такого случая одеянии и при этом дает интервью о политике США на Балканах, принцип Шварца не срывает, поскольку происходящее воспринимается как нормативное шоу. Ведь и стриптизерша могла бы рассказывать о борьбе за права женщин, стоя у своего рабочего шеста и время от времени поднимая ногу — по законам ПСК это никак не повлияло бы на содержательность ее аргумен-

¹ Пелевин В. Священная книга оборотня. М., 2004.

² Секацкий А. Вирус утопии: проблема передачи // Критическая масса. 2004. №4. С. 85–90.

тов. Конечно, подозрительный субъект, видя вершительницу политики США полутолой и произносящей вполне официальную речь, испытает некую «амбивалентность». В игровом кино такая амбивалентность была бы, вероятно, даже возбуждающей, но поскольку все документально, субъект, именно в силу своей подозрительности, может заподозрить, что «так и надо», «так нынче принято». Что касается хуматона, он в этом даже не усомнится. Ему вполне достаточно обобщающей формулы типа «все леди делают это... чтобы не дать себе засохнуть».

К преобразованию эротических обменов мы еще вернемся. Пока остановимся подробнее на судьбе инициаций. Помимо всего прочего инициация выполняет и всегда выполняла роль красной строки, решающего и необъяснимого отступления от прежней, единодушно одобряемой модели поведения. Выражаясь современным языком, происходит форматирование индивида, так что прежний текст поведения рассыпается на фразы и абзацы, доступные лишь глубинному, «восстановленному» прочтению — например, на кушетке психоаналитика, в присутствии *близкого человека* или в модусе авторствования, когда реализуется нечто подобное грандиозному проекту Марселя Пруста.

Инициационное форматирование лежит в основе ressentimentа, в основе привычного типа социализации, итогом которого и является в конечном счете субъект. Роль инициации в том, чтобы спровоцировать конфликтность, резко интенсифицировать вялотекущие противонаправленные процессы. Инициация, если говорить об удавшейся инициации по аналогии с удавшимся вытеснением у Фрейда, побуждает индивида стать своим среди чужих и чужим среди своих, оставаясь при этом *самому себе хитрым*, — а это и

есть определение субъекта¹. Репрессированное содержание детства, память Эдема, не стираются полностью (в этом случае инициацию можно считать неудавшейся), а переводятся в сферу сокровенного, где и пребывают в законспирированном виде как нечто далекое, не связанное с актуальным, но тем не менее определяющее актуальность, как то, что вытеснено сюда, на поверхность, вытеснено ядерными силами *утопленника*, маленького мальчика или девочки, двоякодышащего существа, научившегося жить в глубине и во тьме². Рессентимент опирается на утаивание собственной уникальности, на сквозную шпионологию мира. *Маленькая постыдная тайна*, препятствующая полной вписанности в мир «настоящих взрослых», не в последнюю очередь обеспечивает мерность, необходимую для бытия субъектом.

Если встать на позицию подростка, еще не достигшего мастерства имитации, сразу выясняется, что жесткость эталонов, предлагаемых для проживания жизни, такова, что они кажутся превышающими человекообразность. При этом практически нет разницы, идет ли речь о моральных императивах в кантовском смысле или о высокой репутации внутри референтной группы. Для подростка, стоящего перед необходимостью осуществить цепочку идентификаций, различия между «нравственным субъектом» из «Критики практического разума» и *истинным мачо* не так уж и существенны: и то и другое требует «не-

¹ Brown J. Self and process. N.Y., 1991. См. также: Лэйнз Р. Разделенное Я. М., 1997.

² Мотив «близки далекого и дали ближайшего» можно назвать самым фрейдистским мотивом Хайдеггера. Его также эффектно использует Вольфганг Гигерич в своих метафизических и культурологических построениях. См.: Гигерич В. Производство времени // Митин журнал. 1992. № 47–48.

стерпимого напряжения воли», говоря словами Шопенгауэра, требует подвигов если уж не Геракла, то, по крайней мере, Гаргантюа.

Предположение о том, что подростковый возраст характеризуется слабостью самоконтроля, глубоко ошибочно, оно основывается лишь на вытеснении и забвении травматического опыта инициаций. Качества, требуемые от настоящего мачо, от крутого парня, не имеют ничего общего с потворством собственной необузданной природе. Какие бы эталоны «настоящего мужского» ни предлагались для подражания и внедрения в жизнь — пить все, что горит, трахать все, что шевелится, получать неземной кайф от футбола (бейсбола, корриды, петушиных боев), давать в морду всякому, кто чем-то не понравился, — все они нисколько не похожи на спонтанные выбросы бессознательного, напротив, в них отчетливо видны следы самого тщательного культивирования. Трудности, которые преодолевает «настоящий мачо» на пути к признанности, очень даже знакомы и для «истинной мучача». Шестнадцатилетняя роковая обольстительница, культивирующая в себе симбиоз Кармен и леди Годивы и добивающаяся заметных успехов в своей самозабвенной, почти жертвенной практике, запросто может оказаться «по своей природе» весьма квелой девицей, которая, однако, понимает: тут только дай себе волю, только попробуй публично предпочесть йогурт марихуане — и останешься неприметной серой мышкой... Засмеют, уничтожат презрением — таков удел всех, не прошедших инициацию¹.

¹ В отличие от дисциплинарной психологии литература психологического реализма прекрасно отслеживает это обстоятельство. Примером могут служить рассказы Ирины Денежкиной (*Денежкина Ирина. Дай мне. СПб., 2002*) или фильмы Майка Ли (Mike Leigh).

По большому счету кантовский мир чистого практического разума даже более снисходителен к человеческой природе: и если бы только в нем были предусмотрены сходные репрессии для отстающих, победное шествие категорического императива было бы гарантировано. Возможно, что утопичность этого императива заключается как раз в его недостаточной категоричности, он перебивается более сильными (но отнюдь не более естественными) позывными.

Таким образом, добродетели Данилы Багрова обрести ничуть не легче, чем добродетели Сократа, просто в первом случае речь идет о более высокой степени принудительности. Кнут и пряник работают согласованно, сила их совместного действия сохраняется и тогда, когда цивилизация (под непосредственным влиянием Просвещения) демонтирует специальные институты инициации, предлагая взамен наивную педагогическую утопию в разных версиях — от откровенно мифологической, как у Руссо, до внешне рациональной, но на деле абсолютно *пижонской* версии Песталоцци. Референтные группы (подростковые компании) берут на себя руководство и надзор за тяжким трудом негативности. Воплощая коллективную инстанцию господина, они не дают покоя аутичному и анемичному сознанию, провоцируя акты экзистенциального выбора едва ли не каждый день. Сгущенный экзистенциализм тинейджеров далек от «благородного» и неспешного экзистенциализма Сартра и Камю, но уж он точно «не читки требует с актера, а полной гибели все-рвез» (Пастернак).

В противовес «Форресту Гампу», где представлен мир простеца, вызывающий симпатии зрителей даже против их воли, фильм английского режиссера Майка Ли «Об-

наженные» исследует как раз бытие на рубеже инициаций. Мы видим героев, погруженных в процесс непрерывных мучений, однако сострадание странным образом не включается. Какие-то у них «не те» страдания, не те, что способны облагородить, закалить, вызвать сочувствие, — среди этого наплыва, морока, плохо различима интенсивность состояний. И в то же время мучения абсолютно реальны, они напоминают некую глобальную абстиненцию или, может быть, интоксикацию жизнью. Все, что делают персонажи, им словно бы приходится делать; они испытывают видимое отвращение, которое вроде бы нельзя назвать такой уж особенной мукой, но зато оно распространяется на все — на еду, на секс, на общение, даже на завязывание шнурков. Движущим мотивом смены деятельности является именно отвращение, от-вращение от предыдущего занятия, но и новое компенсирующее занятие изначально отравлено прежним состоянием души. Такое состояние можно определить как *террор экстенсивного страдания*, и его особенность в том, что оно не приводит к катарсису, не вызывает симпатической идентификации, которую в голливудских боевиках способен вызвать даже самый отъявленный злодей. Рационально справиться с этим террором невозможно, его можно только *перетерпеть* или перейти к более интенсивным, но зато просветляемым страданиям, для терапии которых выработана, согласно меткому замечанию Ницше, «целая машинерия».

Беспричинным террором экстенсивного страдания бывают охвачены целые поколения и уж точно определенные возрастные периоды. Бытие на рубеже инициации прекрасно иллюстрирует экзистенциалистский тезис «существование предшествует сущности»: сущность как сухой

остаток, образующийся в ходе и в результате процесса, требует предварительного брожения. И находящиеся в процессе брожения бессущностные индивиды — далеко не лучший предмет для созерцания, многие из них затерроризированы настолько, что напоминают *недопokonчивших самоубийством*.

А подростковая компания в целом больше всего напоминает животное, находящееся в состоянии экспериментального невроза¹. Вспышки непредсказуемой агрессивности на фоне постоянного тремора автотравматизма — самый горячий поклонник Песталоцци невольно старается обойти ее стороной. Каждый в свое время так или иначе пострадал от этого зверя, и болезненные раны все еще нарываюT в подсознании. Похоже, однако, что репрессированность этих травматических фиксаций на порядок сильнее, чем «затемнение» первичных сцен раннего детства, — аналитика фрустраций и неврозов инициации еще ждет своего Фрейда.

Ресурс воли смертных индивидов, претендующих на признанность своей референтной группы, невелик, подавляющему большинству из них приходится вставать на цыпочки, лезть из кожи вон, чтобы справиться с уже неофициальным, «теневым», но от того не менее настоящим *rite de passage*. Структура группы, принимающей экзамены, предусматривает как сочувствующих, так и строгих экзаменаторов, выполняющих функцию знатоков.

¹ Явление экспериментального невроза лишь sporadически исследовалось в опытах Павлова, Скиннера и Торндайка как занятный, но ни к чему не применимый казус. Только Борис Поршнеv со свойственной ему проницательностью усмотрел глубинную связь экспериментальных неврозов с решающим этапом антропогенеза. См.: *Поршнеv Б. Ф. О начале человеческой истории*. М., 1974.

И тут, как видно, свято место пусто не бывает, желающих оказаться в роли экзаменаторов всегда хватает. Среди них встречаются и те, для кого «настоящее мужское» и «истинно женское» не требует специального культивирования; их обычно и имеют в виду, когда говорят об *исчадиях ада*. На первый взгляд может показаться, что необузданные носители врожденных эталонов (которые для прочих могут быть лишь «благоприобретенными») и есть подлинные хозяева жизни, получающие наслаждение там, где другие его только имитируют. Но не так обстоит дело, превратность *Weltlauf*, описанная Гегелем, особенно эффектно работает на этом участке автопоэзиса субъекта. Ходячие примеры для подражания очень быстро обнаруживают, что их просветительская миссия, которую они сами рассматривают как «побочную», практически исчерпывает весь смысл их бытия, их, так сказать, предназначение. Попытка получить от мира все причитающееся ни к чему не приводит: исполненная миссия бытия-для-другого практически завершает все лучшее в жизни, а чистая форма в себе и для себя без какого-либо субъектного прикрытия беспощадно наказуема миром.

Так, юные пятнадцатилетние стервочки, предмет зависти, ужаса и мучений своих не столь продвинутых подружек, фактически лишь прокладывают этим подружкам дорогу, обучая их стратегиям соблазнения и цинизму самоотчета, после чего отбрасываются на обочину как не усвоившие истинный смысл формулы «лучшее украшение девушки — это скромность и прозрачное платье». Исключительный акцент на второй части формулы дает слишком кратковременные преимущества. Получившие пропуск в мир полноправные субъекты никакой благодарности к своим экзаменаторам не испытывают: их, как

отработанный материал, заключают в контейнеры взаиморазрушения и вообще всячески ограничивают в правах¹.

«Правильная» инициация должна привести к отработке стратегий симуляции, которые, в свою очередь, необходимы для воспроизводства мерности субъекта. Самозабвенная имитация — это высший пилотаж ressentiment, где мобилизуются все основные ходы шпионологии. Конспиративные уловки, применяемые для успешного внедрения в тыл врага — в ряды преданных футбольных болельщиков, заядлых рыбаков и т. п., не препятствуют самозабвенности, ведь важнейшие модусы субъектности характеризуются способностью вмещать и скромность, и прозрачное платице, они принципиально амбивалентны в том смысле, в каком использовал этот термин Фрейд². Собственная проделанная работа симуляции заставляет подозревать в том же грехе и другого, и первого встречного, что создает «благоприятную» для консолидации субъекта атмосферу подозрительности, — тем самым соответствующий экзистенциальный проект утверждает себя в каждом очередном заступающем на вахту поколении. По-настоящему серьезный сбой происходит лишь в поколении сникерснутых, и связан он, как уже отмечалось, с падением высокого напряжения инициации.

¹ Любопытные соображения на этот счет можно найти у Леонида Габышева, описывающего так называемую бакланку — зону для несовершеннолетних. Группы, составленные почти сплошь из настоящих экзаменаторов, то есть исчадий ада, вопреки ожиданиям неспособны обеспечить даже собственное выживание. См.: *Габышев Л. Одяня, или Воздух свободы*. М., 1997.

² Согласно Фрейду, амбивалентность есть критерий человеческого чувства вообще, отсутствие амбивалентности оставляет нас за пределами культуры и собственно психики. См., например, работу «Тотем и табу» в книге: *Фрейд З. Труды разных лет*. Т. 1. Тб., 1991. Фрейд безусловно прав, если речь идет о психике субъекта.

Ибо требования бога Йюксты хоть и суровы, но совсем не той суровостью, которой отличаются эталоны инициаций и максимы воли чистого практического разума. Главное же, они последовательны и достоверны на каждом шаге промежуточного контроля, а успешно прошедший несколько шагов и вовсе обретает приличную скорость для дальнейшего усвоения праведного пути: скажи наркотикам нет, не носи натурального меха, не дай себе засохнуть и вовремя сникерсни. Видеоряд, плавно переходящий в живые картины, подтверждает: счастье возможно. Оно, конечно, не свалится с неба, надо все-таки приложить усилия: собрать определенное количество упаковок, отклеить и отослать кое-какие наклейки, да еще и придумать рассказ «Как я провел лето с бутылкой пепси». И тем не менее оно, счастье, возможно! И путь, на котором его можно обрести, указан. Достоинства нового Грааля, неведомые прежним утопиям, налицо: во-первых, все копии абсолютно равноправны и равноценны оригиналу, а во-вторых, эталоны не трансцендентны, а транспарантны, им несвойственно ускользать за горизонт по мере приближения к ним.

Изъеденное рефлексией сознание подозрительного субъекта во всем склонно усматривать подвох, иначе и не удалось бы получить «аттестат зрелости» у экзаменаторов. Вот и радость Джона, купившего в «Икее» пару модулей и получившего за это в подарок, скажем, надувные штаны, кажется такому субъекту не вполне искренней. И стихотворный успех усердного сочинителя, победившего на конкурсе рекламных слоганов и выигравшего поездку в апельсиновый рай, не впечатлит скептика. Наверняка сочинение из серии «В огороде бузина — а качество в “Пятерочке!”» покажется ему маловысокохудожествен-

ным — но ведь это потому, что, страдая от зависти и прочих осложнений, субъект-скептик не в состоянии порадоваться таланту и удаче другого.

Носитель Л-сознания в недоумении останавливается перед непостижимым эффектом простоты. Ему кажется невозможным поверить в такую дешевку, и бесхитростность оказывается куда более труднопреодолимым препятствием, чем самая сложная задача, чем даже даль трансцендентного горизонта. И все же великое преимущество простоты сказалось на успехе нового экзистенциального проекта. Очевидно, что существуют ситуации, может быть даже тест-ситуации, в которых преимущество бесхитростности очевидно, а изощренность Л-сознания, напротив, обрекает на поражение. Попробуем смоделировать ситуацию, в которой именно неведение открывает путь к истине. Пусть это будет традиционная история о трех витязях, оказавшихся на развилке дорог у дорожного камня. Витязей зовут Субик, Хуматон и Сникерснутый, а на камне написано:

Прямо пойдешь — счастье найдешь.

Если направо — сам пропадешь.

Налево — коня потеряешь.

Очевидно, что Субик примет решение последним, но размышлять придется сразу, поэтому начнем с него:

«Прямо пойдешь? Так мы вам и поверили — счастье найдешь... Слыхали мы про бесплатный сыр в мышеловке, не первый день живем. Нет уж. А направо — ишь как запугивают! Пропадешь, мол. Неспроста это, может, там сокровище спрятано... Пойти, что ли? Опасно, конечно...»

Вероятность того, что Субик пойдет направо, невелика, но все-таки она существует — подобный выбор у субиков

случается. Многое зависит от того, насколько изъедено рефлексией сознание подозрительного субъекта, в частности, от этого зависит следующий шаг рассуждений:

«А налево? Тут надпись похитрее, надо в нее вдуматься. Коня потеряешь... Тоже угроза какая-то... Но ведь у меня нет коня! Вот она, отгадка, для тех, кто потрудился хорошо обдумать ситуацию. *Ведь не может быть, чтобы все было так просто!*»

И Субик с высокой степенью вероятности устремляется налево (обойдемся, впрочем, без числовых оценок). На этом история для него не заканчивается, но обратимся теперь к другим витязям, которые к моменту принятия решения Субиком уже идут.

Сникерснутый тоже потратил некоторое время на размышления, хотя, разумеется, значительно меньшее, чем Субик. Он прикинул, что пропадать, конечно, не хочется, коня, пусть даже и отсутствующего, терять жалко. Значит, прямо! Правда, до счастья может оказаться слишком далеко... Все же Сникерснутый пошел прямо, но не благодаря собственным размышлениям, а руководствуясь выбором своих товарищей. Вот Субик пошел налево, а быть таким, как он, совсем не хочется, значит, этот выбор исключается. Остаются еще два варианта, и Хуматон выбрал прямой путь. Уж этот витязь умеет быть счастливым! — и Сникерснутый отправляется вслед за ним.

Хуматон принял решение первым и если и потратил какое-то время, то не на размышления, а на чтение надписей (это время может, конечно, оказаться и немалым, но другие терпеливо подождут, пока он прочтет).

Через некоторое время Субик передумает и догонит своих товарищей. Его подтолкнет это сделать мысль: «А вдруг все-таки им достанется счастье?» Итоговая

картина будет выглядеть так: все трое идут прямо, поддерживая дистанцию. Субик держится немного поодаль, слегка забирая влево — на всякий случай... Вполне возможно, что счастье и впрямь окажется там, где его ищут, и достанется оно тому, кто придет первым. И это будет безупречный рыцарь Форрест Гамп Хуматон.

Далее можно предположить, что победитель поделится с товарищами своей находкой. Сникерснутый составит необходимую пару для счастья — это даже естественно, поскольку все его аффекты подражательны. А вот Субик не сможет по-настоящему воспользоваться предложением. Ведь не он оказался первым у «раздачи», но главное, он видит рядом с собой счастливых товарищей-конкурентов. В таких нечеловеческих условиях Субику и радость не в радость.

При всей ее абстрактности смоделированная ситуация поучительна и может быть использована для целого ряда обобщений. Так, решение Субика присоединиться к товарищам-витязям всегда имеет, как любят выражаться математики, «некоторую, отличную от нуля вероятность». Но в действительности окончательный исход предприятия будет зависеть от того, кому принадлежит данная Вселенная: субъектам или хуматонам. Ведь в первом случае подозрения Л-сознания могут оказаться очень даже оправданными. Однако *факт принадлежности*, в свою очередь, определяется количеством прежде сделанных выборов. Если число избраний прямой дороги перевалит через некую критическую точку, соответствующий мир из спектра возможных миров перейдет под юрисдикцию хуматонов. И в этом случае для хуматона не найти свое счастье будет столь же трудно, как для субика его найти. В таком мире сникерснутые будут автоматически руководствоваться

выбором хуматонов, ведь эталоны корректных для ПСК аффектов (добродетели бога Йюксты) не предполагают болезненных инициаций, слияние с ними возможно без какой-либо амбивалентности.

Дальнейшее совершенствование Плоско-Субъектного Континуума должно привести к исчезновению последней надписи (насчет коня). В нашем еще пока безоговорочно принадлежащем субъекту мире многие осложнения рефлексии связаны с тем, что пешие путники расшифровывают послания, адресованные всадникам, — более того, они частенько руководствуются именно результатами таких расшифровок.

По большому счету носители новой прямой чувственности могут и не составлять численного большинства в «открытом обществе»; главное, чтобы им удалось образовать несколько автономных кругов коммуникации, что-то вроде пяти олимпийских колец. Сегодня, как уже отмечалось, Форрест Гамп и его соратники выступают почти исключительно в роли адресатов культурных, политических и коммерческих посланий, в роли пресловутого, совсем недавно еще и вовсе мифического «электората». Это на них изошряются политтехнологи и пиар-менеджеры — с не меньшей изобретательностью, чем бихевиористы на подопытных мышах. Но даже и в таких условиях доверчивость нередко вознаграждается, в особенности безоговорочная доверчивость первых. Если же хуматоны или их сегодняшние провозвестники оказываются в роли авторов и адресатов одновременно, осуществляют коммуникацию друг с другом, используя каналы mass media или просто доступные для обозрения площадки (например, пляжи, арены, городские площади), их шоу способно произвести впечатление. И разуме-

ется, стать примером для подражания, хотя здесь не все так просто.

Рессентимент предусматривает самые разные, в том числе и весьма утонченные варианты поддельного поведения; среди них есть, конечно же, и такая стратегия, которая по-русски называется «прикинуться дурачком», — именно эта стратегия активно провоцируется матрицей ПСК, она в данном случае и выбирается субъектом, поначалу на пробу. Субъекту, уже укорененному в своей подозрительности, прошедшему все инициации, подобная стратегия дает не слишком много: ведь идентификация с хуматоном имеет смысл только в случае самозабвенного соучастия в бесхитростности наслаждений. А это по определению есть труднейшее для субъекта¹. В каком-то смысле хуматоны выполняют функцию, которая в идеальном государстве Платона была предназначена для судей. На этом важном моменте следует остановиться подробнее.

Беседуя с Главконом и стремясь обосновать качества, необходимые безупречным судьям, Сократ выбирает окольный путь. Сначала он говорит о врачах, указывая на качества, которые сделали бы их наилучшими:

«Искуснейшими врачами стали бы те, кто, начиная с малолетства, кроме изучения своей науки имел бы дело по возможности с большим числом совсем безнадежных

¹ Другое дело — метаперсональные формы чувственности, вызванные приобщением к единству социального тела. Здесь самые мощные резонансы (например, имперское самочувствие) как раз ослабевают и размываются при переходе к Плоско-Субъектному Континууму. См.: Секацкий А. К. Духовные и чувственные измерения имперской идеи // Россия и современный мир. Проблемы политического развития. Материалы конференции. Т. 1. М., 2006. С. 13—22. История ослабления социальных резонансов отражена в работе: Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998.

больных, да и сам перенес бы всякие болезни и от природы был бы не слишком здоровым»¹.

Понятно, что опыт обращения с чужими болезнями пойдет только на пользу, да и знание болезней изнутри не повредит, пациент охотнее доверится такому врачу. Сократ как бы подводит к заключению по аналогии и относительно судей — ведь им расследовать преступления и выявлять порочные наклонности будет сподручнее, если они в этом поднаторели и разбираются в порочных наклонностях души, как в своих домашних делах. Но суть маневра Сократа состоит прямо в противоположном — в том, чтобы отчетливее обозначить ложность напрашивающейся аналогии:

«А судья, друг мой, душой правит над душами. Нельзя, чтобы с юных лет она воспитывалась у него среди порочных душ, общалась с ними, прошла бы через всяческие несправедливости и сама <в прошлом> поступала бы так — и все это только для того, чтобы по собственному опыту заключать о чужих поступках, как о чужих болезнях заключают по своим. Напротив, душа должна смолоду стать невинной и непричастной дурным нравам, если ей предстоит безупречно и здраво вершить правосудие. Потому-то люди порядочные и кажутся в их молодые годы простоватыми и легко поддаются обману со стороны людей несправедливых — ведь у них самих нет никаких черточек, созвучных людям испорченным»².

Здесь затрагивается один из ключевых моментов построения идеального государства — избавление от *вредного знания* (этот же момент оказывается решающим и

¹ Платон. Сочинения. Т. 3. М., 1994. С. 176.

² Там же. С. 176—177.

для успеха транспарации). Да, мы называем *знатоком* людей того, кто разбирается в их бесчисленных уловках, кому в высшей степени ведомы порочные наклонности человеческой души, под какими бы прекрасными вывесками они ни скрывались. Образцом такой осведомленности может служить французская моралистика (Ларошфуко, Лабрюйер, Сен-Симон, де Севинье), непосредственно предшествовавшая провозглашению моральных идеалов Просвещения.

Мы можем восхищаться проницательностью подобных субъектов, и все же, как полагает Платон, эти знатоки людей не годятся в судьи. В данном месте диалога Платон ограничивается простым указанием на преимущество души, не причастной дурному, — в чем именно состоит это преимущество, выясняется из дальнейшего изложения и из самого духа философии Сократа и Платона.

Пресловутый знаток людей, конечно, проницателен, но ровно настолько, чтобы распознать «порочные наклонности», выявить их, где бы и в чем они ни скрывались. Судья с непорочной душой может и вовсе не заметить этих виныток. Зато он видит *сквозь и через них*, прозревая тем самым лучшее в человеке, самое драгоценное в каждой душе. Его проницательность не рефлексивна, не отслеживает промежуточных и отраженных бликов, но делает прозрачной *для себя* среду распространения. И взгляду непорочного судьи предстает однородная среда без дифракции и интерференции. Вот почему его проницательность по праву может быть названа транспарацией — еще до того, как этот термин получил смысл *дальнейшего просвещения*.

То, что мы видим в другом, не остается безнаказанным ни для нас, видящих, ни для другого. Проницательный

взор Л-сознания регистрирует нечто затаенное и принимает меры, в частности включает противообманные устройства. Застигнутый на месте преступления или, лучше сказать, на месте умышления, субъект в свою очередь принимает меры — ибо что же хорошего в том, чтобы быть застигнутым? Опознанные хитрости (уловки) вроде бы превзойдены. Но тем самым они в очередной раз актуализованы: перед нами знакомая гегелевская процедура *Aufheben*, сама суть диалектического аттракциона. Как уже отмечалось, диалектическое снятие хотя и обезвреживает минное поле, но не прекращает производство мин и не отменяет картографию минных полей в качестве особого жанра предусмотрительности.

Иное дело — транспарация, усмотрение простой, здоровой основы, без регистрирующего (рас)познания процессов и механизмов почти неизбежного замутнения. Именно к этому разделу принадлежат суждения князя Мышкина, Форреста Гампа, а возможно, и самого Иисуса. Тут происходит нечто гораздо более серьезное, чем игра бликов и отражений, нечто, заставляющее отнестись к диалектике с тем же священным трепетом, с каким относились к ней Шеллинг и Гегель. Но особый трепет вызывает не «многообразная различенность внутри себя», а как раз непосредственность несклонного к *многообразным различениям* взгляда. Такой взгляд приумножает присутствие того, что он усматривает. В применении к судьям это означает: в онтологическом срезе отнюдь не безразлично, способен ли судья видеть прежде всего худшее во мне (грешки и уловки) или он усматривает во мне *мое лучшее*. Что усматривает, тому и дает онтологическую преференцию, дополнительную санкцию бытия. Еще более значимой с точки зрения последствий оказывается негативная

формулировка: хронически нераспознаваемое (например, некая «порочность») постепенно теряет навык актуализации. Фигуры порока ставятся перед угрозой развоплощения, если их не видят в упор, в особенности если о них *даже и не подозревают*. В этом смысле неведение — сила. И даже, пожалуй, великая сила, в чем мы уже убедились, рассматривая эволюцию ПСК.

Платон, достаточно подробно исследуя проблему «вредного знания», не решается, однако, сформулировать этот важнейший принцип негативной транспарологии (среди мыслителей Просвещения один Руссо трактует «неиспорченность цивилизацией» в качестве истинной, хотя и едва ли достижимой цели усовершенствования нравов). В результате недоговоренности позиция, которую формулирует Платон устами Сократа, оказывается двусмысленной и весьма уязвимой: «Порочность не в состоянии постигнуть добродетели, добродетель же познает как порочность, так и саму себя»¹. Добродетель, безусловно, познает порок, если познание есть некая добродетель. Для нас, однако, важен другой аспект мысли: единственный шанс добродетели на победу состоит не в том, что она «познает» порок, а в том, что она его не знает и знать не хочет.

Все состояния знания в повелительном наклонении «знать» — суть привилегированные и культивируемые состояния субъекта. Многочисленные дистинкции и дифференциации этих состояний образуют «интересное» или, если угодно, «содержательное» — самые незначительные различия наделены Л-сознанием высокой ценностью, они не только имеют хождение в повседневных обменах, актах коммуникации, но и несут ответственность за репутацию «умного человека». Философия не слишком

¹ Платон. Сочинения. Т. 3. М., 1994. С. 176.

высоко ставила подобного рода содержательность, и мы можем найти немало иронии в отношении этих умных и знающих, начиная по крайней мере с Гераклита. Обратимся хотя бы к Гегелю: «Они собирают в своей области кучу материала, именно то, что уже известно и приведено в порядок, и так как они имеют дело преимущественно со странными и курьезными случаями, то им кажется, будто они тем более располагают всем прочим, с чем знание по-своему уже покончило...»¹ Они — это порождения ressentimentа, носители неизбываемого несчастного сознания, но они же основные, если не сказать единственные, потребители философии, с чем приходится считаться их проницательным и не очень проницательным критикам. Гегель это имеет в виду, описывая происхождение соответствующей формации духа и настаивая, главным образом, на коррекции сформировавшихся предпочтений, которые по-своему вполне органично входят в состав опыта: «Потребовалось много времени, чтобы ту ясность, которой обладало только сверхземное, внести в туманность и хаотичность, в коих заключался смысл посюстороннего, и придать интерес и значение тому вниманию к действительности как таковой, которая была названа *опытом*. Теперь как будто бы возникла нужда уже в противном — чувство так укоренилось в земном, что требуется такая же большая сила, чтобы вознести его над земным. Дух оказывается так беден, что для своего оживления он как будто лишь томится по скудному чувству божественного вообще, как в песчаной пустыне путник — по глотку простой воды»².

¹ Гегель. Феноменология духа. СПб., 1992. С. 7.

² Там же. С. 5.

Похоже все-таки, что Платон лучше представлял природу этой требуемой «большой силы», чем Гегель. Да и великий евангельский тезис о том, что *последние станут первыми*, подсказывает, какая именно сила способна «вознести опыт над земным». Сегодня эти теоретически предсказанные возможности или, лучше сказать, эффекты можно наблюдать воочию¹. Простые, еще даже не ставшие историческими, свидетельства вмешались в сугубо метафизический спор. Допустим, что предсказанный Платоном философ, которого пришлось бы уговаривать править государством, еще не появился (хотя соответствующие инсценировки время от времени устраиваются полновластными субъектами). Но зато судьи, чье суждение обладает удивительной силой, принципиально превосходящей возможности кодифицированного права, — такие судьи уже есть. А это значит, что мир идей Платона вступил в такой же кошмар сбываемости, как и гегелевское царство Абсолютного Духа. В этом царстве имманентности духа все постепенно становится прозрачным (транспарантным) для сознающего себя духа, но, как уже было отмечено, нет сомнений, что, окажись свидетелем этих перемен сам Гегель, он решительно сказал бы: «Лучше не надо».

Трудно сказать, опознал бы Платон в современных хуматонах реинкарнацию душ своих непорочных судей. Его соперники софисты могли бы «помочь» с сопоставлениями, но и без них замешательство неизбежно, если уж до такого сравнения дошло бы дело. Умение *не видеть в упор* хитросплетений порока полностью соответствует пожела-

¹ Связь между экзистенциальными началами христианства и их лишь сегодня проявившимися последствиями я попытался проследить в эссе: Секацкий А. Третья ступень // Литературные кубики. 2006. № 2.

ниям, высказанным в «Государстве», но вот то «лучшее в человеке», что прозревают соратники и последователи Форреста Гампа и приумножают своим присутствием, как-то не очень напоминает искомую справедливость, скорее уж именно сникерснутость, беззаветное следование заповедям богов ПСК.

Как бы там ни было, но субики, пребывающие во всеоружии хитрости разума, не могут не испытывать на себе действенность этих непорочных суждений. В результате приоткрывается еще один несколько неожиданный эффект транспарации, который, в силу его парадоксальности, уместно назвать *рефлорацией*.

Как известно, дефлорация всегда фигурировала среди вещей необратимых, по традиции и сегодня утерянную девственность рассматривают как пример того, чего уже не вернуть ни при каких обстоятельствах. Правда, этот пример, безупречный в течение многих веков, в свою очередь, теперь опровергнут хитростью разума — новыми медицинскими технологиями. Но дело, конечно, не в физиологическом акте, утратившем свою принадлежность к экзистенциальному измерению еще до наступления ПСК. Дело в утраченной девственности разума — уж ее-то точно принято было считать невосстановимой, ведь любая хитрость лишь усугубляет утерянную интеллектуальную целомудренность... В соответствии с общепринятой схемой юношеский романтизм сменяется универсальной мизантропией, а та, в свою очередь, переходит в формацию цинического разума, где выбор между здоровой долей цинизма и нездоровой долей (его же) во многом определяется историческими обстоятельствами. Путь от романтизма к цинизму можно считать накатанным, сентенций на эту тему хватает. Для французской моралистики это одна из

главных тем, а знаменитая английская сентенция: «Кто в юности не был либералом, у того нет сердца, а кто к старости не стал консерватором, у того нет ума» — приписывалась многим авторитетным англичанам от Честерфилда до Черчилля. Тем не менее Питер Слотердайк, один из главных специалистов по этому вопросу и автор объемистой «Критики цинического разума», проглядел возможность, которую видел еще Платон, — возможность рефлорации.

Рефлорация, предстающая как странная, неожиданная убыль цинизма, как некое застание разума вторичной девственной плевой, не может быть следствием прогрессии самоотчета. Никак не определяется она и фактором эмпирической подтверждаемости: подтверждаемость зависит от избирательного зрения, которое само производно либо от подозрительности, либо от транспарации. Но восстановленное целомудрие не сводится и к адаптивно-имитационным стратегиям Л-сознания вроде уже упоминавшейся конспиративной модели «прикинуться дурачком».

Для того чтобы началась рефлорация, необходимо затеряться в поле новых возможностей ПСК, обрести самозабвение, впасть в «апельсиновый рай». Турбины рефлексии, вращающиеся на холостом ходу, должны быть приостановлены, а пласты пассивного, ленивого воображения, напротив, задействованы в полную мощь. Лишь в этом случае эмпирические сомнения, даже вполне обоснованные, не сыграют решающей роли, как не играют они ее у хуматонов: рефлорация обобщает опыт бытия с выключенными противообманными устройствами. В принципе, рефлорация доступна и субъекту, коль скоро она уже стала одной из характеристик духовной формации, — если абстрагироваться от разного рода осложнений, среди которых особо выделяются занятия философией, относя-

щиеся к разряду роковых осложнений, труднее всего поддающихся терапии.

Самозабвенность, обретаемая подозрительным субъектом, заставляющая его забыть об осторожности и перестать дуть на воду (даже однажды обжегшись на молоке), остается весьма проблематичной. Поневоле вспоминается ирония Ницше по поводу молнии, которая могла бы и не сверкать, оставаясь все же молнией... Слова Ницше относились, конечно, к носителям другого экзистенциального проекта, предшествовавшего формации подозрительного субъекта. Когда-то эти воины и цари (кшатрии) превратились в переставшие сверкать молнии в результате соблазненности хитростями разума и их материальными производными — то был момент торжества ressentiment: воинов мира завербовали заброшенные в мир шпионы.

Похоже, однако, что реванш не за горами. Носители Л-сознания, успешно прошедшие цепочку инициаций, научившиеся имитировать и брахманов, и кшатриев так, что подделки ни в чем не уступали оригиналам и даже оказывали существенное влияние на психический интерьер имитаторов¹, остановились в растерянности перед суждениями непорочных судей. Весьма нехитрые на первый взгляд удовольствия (с точки зрения «искушенных ценителей» попросту идиотские) ставят в тупик именно своим идиотизмом. Этим же выбивают из седла элементы новой конденсирующейся мифологии и новые священнодействия. Относятся ли они к маниакализации «здорового образа жизни», к проявлениям экологического маразма или беспрецедентному расцвету принципов корпоративной

¹ Феномен *отравления* имитируемыми убеждениями рассматривается в работе «Шпион и разведчик как инструменты философии»: Секацкий А. Три шага в сторону. СПб., 2001.

солидарности, их имитация вызывает замешательство. Возможно, стратегия нисходящего подражания хуже отработана, чем имитация эталонов признанности: скажем, подражание юным, обозначаемое глаголом «молодиться», в принципе, регулярно практикуется, хотя и не с таким блеском, как подражание справедливым; но подражание *детям*, предлагаемое в качестве адаптационной стратегии всему обществу, дается с огромным трудом. Иными словами, для того, чтобы *сникерснуть* по-настоящему, как того требуют пророки Йюксты, недостаточно купить батончик — нужно еще совершить мировоззренческую революцию, некое усилие аскезы, пусть даже нисходящей, всегда требовавшееся для обретения просветления. Тем более что речь идет не о разовом просветлении, а о просветленности вплоть до полной транспарации.

Сколь примитивным ни казался бы экзистенциальный проект, которым руководствуются агенты ПСК, утвердившиеся в нем корреляты сакрального и эзотерического, пусть даже с высоты Л-сознания они именуются «эрзацами», самоочевидны лишь в случае первого, неосложненного выбора. В случае же перенастройки с уже обретенных позиций (экзистенциалов) *Dasein* происходит экзистенциальная ломка более радикальная, чем преобразование, вызванное переходом к монашеской жизни.

Итак, самодостаточность экзистенциального проекта «хуматон» налицо, и количество свершенных выборов-предпочтений приближается к критической массе. Непрерывно транслируется *живая картина* «делай как я», где в главных ролях заняты немногие пока хуматоны, а в массовке (уже воистину массовой) — непоправимо сникерснутые. Вслед за этим авангардом шествует целая армия ведомых и колеблющихся — решившихся на преображение

индивидов, взыскующих чуда рефлорации. Они исповедуют принципы бога Йюксты — политкорректность (презумпцию правоты первого встречного), любовь к животным, почтение к идеальным воплощениям коллективного тела и этическую рефлексию на уровне Микки-Мауса. Как тут вновь не вспомнить прекрасный образец такой рефлексии, продемонстрированный американским президентом и решивший судьбу Саддама Хуссейна: «Этот плохой парень обидел моего папу...» Понятно, что пока еще рано говорить о полном торжестве регенерированного целомудрия. Философия, во всяком случае, не смогла подобрать к нему ключик — максимы политкорректного поведения *просто*, без всякой рефлексии, заняли в ней место, прежде принадлежащее вечным истинам¹.

В конструкции нового проекта не предусмотрены высоты трансцендентного, даже боги здесь самозарождаются в завихрениях «солнечного ветра» как гаранты и распорядители неподдельных удовольствий. Потоки пронизывающей транспарации представлены исключительно в форме *для себя*, без опознавания своего иного и при отсутствии такой приманки для рефлексии как бытие в себе. А сила этого предложения такова, что оно легко опровергает при-

¹ Одним из авторитетных провозвестников избирательной слепоты рефлексии стал Хабермас, усмотревший в «толерантности» современного бюргера мерило всех человеческих ценностей. См.: *Habermas J. Theorie und Praxis. Sozial-philosophische Studien.* Frankfurt. M., 1988. Эффективность замещения вечных ценностей новыми истинами-lights можно проиллюстрировать на примере физика-теоретика Роджера Пенроуза, который, рассматривая устройство Вселенной и анализируя феномен отклоняющегося светового конуса, с тревогой пишет о том, как это может повлиять на электронный подсчет голосов в будущем. См.: *Пенроуз Р. Тени разума. В поисках науки о сознании.* Т. 2. М. — Ижевск, 2005. С. 32–44.

вычные эталоны невозможности как в буквальном, так и в расширительном смысле. Вот, скажем, русская пословица «Горбатого могила исправит», она охотно используется для иллюстрации некоторых очевидных для Л-сознания тезисов, например таких: на смену цинизму может прийти только маразм. Именно такой вывод можно сделать, если подытожить объемистый труд Слотердайка: циническое сознание представляет собой последнюю формацию здравого смысла, после которой в «закрытой системе» наступает слабоумие. Подобные утверждения многочисленны и действительно неопровержимы для тех, кто не верит в чудо рефлорации.

И что же? Сначала хирургия разобралась с неустранимым дефектом осанки, доказав, что эксклюзивная исправительная функция могилы в данном случае сильно преувеличена. Затем Просвещение в своей высшей и последней стадии Транспарации предложило эффективное средство для удаления цинизма, как накипи с чайника. Рецепт этого чудодейственного средства элементарен: сникерснуть и не дать себе засохнуть. И всё! Только сделать это нужно самозабвенно, по-настоящему, «по-нашему», лишь при условии безоглядности полость сознания эффективно промывается от накипи цинизма (наряду с прочими хитросплетениями). Ясно, что для полноценного подозрительного субъекта простота очищающего рецепта подобна простоте совета, приписываемого многим известным художникам: чтобы извлечь изваяние из глыбы мрамора, нужно лишь отсечь все лишнее...

Поэтому чудо рефлорации остается чудом, событием хотя и возможным, но, безусловно, редким. Другое дело — сохранение девственности рецепторов базисного удовольствия, отсутствие неизбежной дефлорации, впол-

не реальное уже в условиях общества потребления и уж тем более в условиях ПСК. Пока доживающие свой век циники продолжают посмеиваться над неуклюжестью и наивностью рекламы, отредактированная клипмейкерами версия сущего исподволь вступает в свои права. Моя пятилетняя дочь Ева звонит мне по телефону и с неподдельной скорбью в голосе сообщает:

— Папа! Мама не хочет вести меня сегодня в «Макдоналдс». А ведь сегодня выходной!

— Почему не хочет? — спрашиваю я.

— Она говорит, что дома приготовит еду еще вкуснее...

Я пытаюсь утешить девочку, убеждая ее, что мама обязательно сделает что-нибудь вкусненькое. И тогда Ева, уже рыдая, почти кричит в трубку:

— Папа, ну как же ты не понимаешь? Ведь человек не может приготовить такую вкусную еду!

Мне становится ясно, что никакими рациональными аргументами разубедить ребенка невозможно. Ясно становится и другое: сколько бы ни высмеивали «Макдоналдс» гурманы, обладатели *изощренного* вкуса, сколько бы ни проклинали его антиглобалисты, устами младенца глаголет истина, пусть даже это истина-light. Высказанные ребенком слова относятся к числу первых выводов, совершаемых еще незамутненным разумом. Время таких выводов наступает, когда ребенок перестает требовать невозможного, например перестает просить: «Папа, почини жука (или бабочку)». Еще сто лет назад ребенок вдруг осознавал, что человек не может «изготовить сливы», он может лишь переработать их, сварив компот или варенье. Сливы сами по себе, они от Бога или от природы. И вот еда «Макдоналдса» приобретает статус слив Господних. Одновременно мы видим, что представляют собой котировщики, отвечающие в ПСК

за инстанцию вкуса. Они принадлежат к племени, не прошедшему дефлорацию в самом широком смысле этого слова. К ним примыкают в качестве сподвижников представители противоположного края, «выпавшие из цинизма» по причине почтенного возраста. На этом обстоятельстве, во многом определяющем современное положение вещей, следует остановиться подробнее.

Смерть экс-президента США Рональда Рейгана дала немало поводов для подведения всякого рода итогов: звездные войны, рейганомика, исторические встречи на высшем уровне... Но, быть может, самый важный итог, проясняющий судьбу целой цивилизации, пока не подведен. Речь идет о последнем десятилетии жизни Рейгана, проведенном под знаком болезни Альцгеймера. Или, попросту говоря, в состоянии необратимого старческого маразма.

Стало быть, есть наконец повод озвучить вещи общеизвестные и в то же время тщательно замалчиваемые. Еще в 30-х годах истекшего столетия исследования по возрастной психологии продемонстрировали впечатляющую картину падения функций интеллекта в зависимости от возраста. Выяснилось, что средний IQ семидесятипятилетнего мужчины соответствует уровню ребенка шестилетнего возраста, у женщин соответствующий показатель еще ниже. К восьмидесяти годам достигается умственный уровень четырехлетнего ребенка, и понятно, что процесс на этом не останавливается.

Эти исследования, с тех пор многократно подтвержденные, можно было бы счесть полным развенчанием мифа о *мудрых старцах*. Речь могла идти именно о редких избранниках, сохранявших ясность ума вопреки своему возрасту и, соответственно, достигавших преклонного возраста как раз благодаря уму. Стойкая привычка к раз-

мышлениям, к дисциплине мысли, сохранность навыка ученичества — вот что странным образом составляет рецепт эликсира долголетия, рецепт вполне общедоступный, но не слишком востребованный. Здесь уместно привести наблюдения Лидии Гинзбург, сохранившей ясность сознания до последних мгновений жизни:

«Когда человек становится старым? Это зависит от многих обстоятельств. В пятьдесят лет можно быть старым доцентом или молодым академиком. Свое время старости у священников, у умственно отсталых. У женщин.

Но изнутри старость наступает тогда, когда мы говорим себе: *уже поздно*. Уже не успеть. Поздно искать нового возлюбленного. Поздно менять привычки. Учиться танцевать. Только что было “уже пора”, и вдруг стало поздно. Внутреннее осознание закрытых возможностей и есть старость. Но почему, собственно, в тридцать лет изучать иностранный язык еще не поздно, а в пятьдесят поздно? Что, на двадцать оставшихся лет он не пригодится, а на тридцать пригодился бы?

Приговор о возрасте выносится извне: взглядами, интонациями, умолчаниями — и вовсе не обязательно так поспешно с ним соглашаться, можно и опротестовать. Но приговор о старости зачитывается изнутри: как прекращение попыток ученичества, исчезновение даже страха перед возможной неудачей. Со стороны это может показаться житейской мудростью, а на самом деле речь идет о мало-душной капитуляции»¹.

В действительности на протяжении человеческой истории среди выживавших и вступавших в дееспособную старость как раз и преобладали сохранившие себя — не поддавшиеся социальному иждивенчеству, отказавшиеся от

¹ Гинзбург Лидия. Из записных книжек. СПб., 1987. С. 160—161.

интеллектуальной пенсии, трудоголики умственного труда. Всех прочих настигала дряхлость, и физическая смерть поджидала их уже на пороге маразма.

Ситуация радикально изменилась за последние десятилетия. Значительное увеличение средней продолжительности жизни в совокупности с рядом других факторов превратили в миф образ почтенной благородной старости. Сохранение ясности сознания благодаря собственным усилиям перестало служить условием долголетия. Доступ в долгожители открыт теперь каждому, будь ты фермером, второразрядным актером или вечным аутсайдером жизни; главное — принадлежность к избранной части человечества.

Особенно впечатляют успехи пластической хирургии и «омолаживающей косметики», создающие в итоге поразительный эффект неузнавания. Седовласые юноши с едва заметными морщинами и белозубой улыбкой активно посещают общественные места (присутствие сопровождающих не слишком бросается в глаза), и лишь попытка вступить в контакт выдает в них дряхлых стариков, давно уже переживших остатки вменяемости. Это потрясающее торжество камуфляжа — десятки миллионов ходячих покойников, замаскированных под живых и здоровых, — можно рассматривать как одну из важнейших характеристик современного постиндустриального общества, достигшего наконец стадии *цивилизации Альцгеймера*.

Пожалуй, впервые метаисторическая схема Шпенглера об угасании цивилизаций предстала в столь наглядном и буквальном виде. Еще предстоит оценить или, лучше сказать, предстоит дожидаться последствий этих многообещающих перемен. Пока можно обозначить лишь наиболее очевидные проблемы цивилизации Альцгеймера. Одна

из них, которую придется решать в ближайшее время, это проблема верхнего возрастного ценза дееспособности. В условиях «естественной» старости когорты долгожителей всегда была не просто политически активна, но и составляла, можно сказать, наиболее органичную часть правящего класса, некий золотой резерв власти. Понятно, что долгожители сегодняшнего дня не слишком подходят для этой роли, а между тем их процент среди избирателей неуклонно растет, не исключено, что уже завтра придется задумываться о вменяемости избираемой власти. Соответственно, серьезные испытания ожидают и не вызывавший до сих пор сомнений принцип легитимности.

Накопление признаков маразма за фасадом благополучной внешности дополняется заметным ростом детского аутизма, в свою очередь, оказывающего влияние на структуру общественного сознания. Изменяются потребительские предпочтения, прежде всего в том, что традиционно принято было называть духовной сферой. Коллективная инстанция вкуса уверенно смещается в сторону наивного выбора ребенка. По всем фронтам идет наступление «вторичной наивности», и в полном соответствии с симптоматикой болезни Альцгеймера теряется способность узнавания родных и близких (их все больше путают с первыми встречными), способность быть благодарным к тем, кто этого заслуживает, наконец, способность к самостоятельному выбору жизненных ценностей, не раз спасавшая западную цивилизацию от наваждений.

Как и во многом прочем, Америка и здесь удерживает лидирующую роль. Ширящиеся признаки цивилизации Альцгеймера не пугают бодрых американцев, возможно потому, что в США явление рефлорации представлено более широко и намерение во что бы то ни стало не дать

себе засохнуть воспринимается вполне серьезно, порой на уровне альтернативы отсутствующему трансцендентному. Уже сегодняшняя американская действительность дает ответ маловерам, сомневающимся в возможностях рефлорации. Соответственно, приверженность новым ценностям, обетованиям бога Йюксты, демонстрируют не только продвинутые поклонники fast food и fast fucking, но и целые нации, плавно дрейфующие из постиндустриального общества в Плоско-Субъектный Континуум. Разумеется, закоренелые субъекты, не имеющие веры даже с горчичное зерно и потому неспособные к чудесной трансформации, пытаются удержаться на самой кромке ПСК, впадая при этом в теоретические противоречия и в практические несообразности.

Если вновь вернуться к важнейшей коллизии современной философии, нельзя не отметить удивительную смесь мазохизма и кликушества, воспроизводящую принципы полагания максим чистого практического разума, но в многократно усиленном, утрированном виде. Теоретические лидеры «всепонимающих субиков», такие как Андре Глюксман или Бернар-Анри Леви, безусловно, готовы отстаивать права выходца из Туниса, более того, готовы доказывать его преимущества перед прочими парижанами, но они все же неспособны проникнуться добродетелями Микки-Мауса — даже будучи загнанными в угол. Они презируют и ненавидят эту чудесную мышь, даже когда дети возлюбленного ими и избранного в качестве человеческого эталона тунисского парижанина уверяют, что Микки — посланец Аллаха, даже когда их собственные дети с придыханием говорят: «Смотри, папа, какой смелый и добрый мышонок! Правда ведь, что это *детский цадик* нашего Б-га?» Свидетельства подлинного интернациона-

лизма в этом случае нисколько не радуют левых интеллектуалов, сохраняющих упрямство, давно уже лишенное последовательности и внутренней логической связи. Упорное нежелание смириться с коррелятами трансцендентного уже после того, как их имманентные, посюсторонние последствия зачислены в разряд безусловных достижений цивилизации, говорит о наличии цели, лишенной какой-либо целесообразности. Речь идет о «субъектоутверждающих» жестах на ровном месте, о виньетках своеволия, истинную роль которых понимали немногие — правда, среди этих немногих были Гегель, Достоевский и Лакан. В «Феноменологии духа» Гегель особенно настойчиво сопоставляет «индивидуальность», «обман» и «суть дела», обращая внимание на важность и самодостаточность возникающей в этом случае *игры сил*:

«Итак, какая-нибудь индивидуальность собирается нечто осуществить; кажется, будто она этим возвела нечто в *суть дела*; она совершает поступки, открывается в этом для других, и ей кажется, что главное для нее то, что свершается в *действительности*. Другие, следовательно, принимают действие индивидуальности за интерес к сути дела как таковой, и за цель, состоящую в том, чтобы *дело в себе* было осуществлено — безразлично, этой действующей индивидуальностью или ими. Когда поэтому они указывают, что “это” дело уже осуществлено ими, или если не осуществлено, то предлагают свою помощь и оказывают ее, они с удивлением обнаруживают, что действующего сознания уже нет там, где, по их мнению, оно находится: то, что его интересовало и интересует в деле, — это *его* поступки, и, когда они убеждаются, что это и было *само дело*, они, стало быть, считают себя обманутыми. Но фактически поспешность, с которой они шли

на помощь, сама была не чем иным, как желанием видеть и показать свое действие, а не какую-то *суть дела*; то есть они хотели обмануть других тем же способом, каким и сами, если верить их жалобам, были введены в обман. Стало быть, теперь обнаружилось, что *самой сутью дела* считаются *собственные поступки, игра своих сил*, какой и занято сознание как своей сущностью *для себя*»¹.

Игра своих сил (*своя игра*) оказывается не просто самодостаточным мотивом, но и тем последним бастионом, который Л-сознание защищает во что бы то ни стало. Портрет предельно точен, и кому, как не Гегелю, было это знать — ведь великий философ решал воистину титаническую задачу по совмещению *своего действия* с поступью Абсолютного Духа. И надо признать, что решил он ее настолько корректно, насколько это вообще возможно, — ни разу не подставившись, благополучно избежав ловушек, которых не смог избежать даже такой признанный мастер подозрительности, как Фрейд². Современные левые философы воспроизводят виньетки, не утруждая себя (и читателей) какими-либо объяснениями. Правда, их положение несколько осложнилось по сравнению с золотым веком классического авторствования, теперь приходится заботиться уже не только об индивиду-

¹ Гегель. Феноменология духа. СПб., 1992. С. 222.

² Прокол Фрейда с «чтением Ницше» до сих пор является неиссякаемым поводом для злорадства современных авторов, выдающих тем самым свою причастность к «типичным субикам». Один Деррида посвятил более сотни страниц утонченным издевательствам над проколовшимся шпионом. Напротив, обаяние гегелевской философии не в последнюю очередь связано с безупречной маскировкой виньеток своеволия. На это обстоятельство, в частности, указывают В. Косыхин, С. Малкина и некоторые другие авторы сборника «Абсолютный Гегель». См.: Res cogitans. Абсолютный Гегель. М., 2006.

альном росчерке, но и о воспроизведении сигнатуры субъекта вообще. Отсюда сугубо случайный, «своевольный» характер проявляемого упрямства.

На фоне требуемой прозрачности завихрения иррационального своеволия выглядят особенно нелепо, и в результате противоречивость самосознания общества, выраженная его ведущими теоретиками, как минимум не уступает противоречивости пресловутого первобытного анимизма. К примеру, и в теории, и на практике мы постоянно имеем дело с эксцессами потребительского сопротивления, спокойно уживающимися с требованиями социально ориентированной экономики. Принцип минимизации стрессов всех участников «производственного процесса» уже сегодня является не менее, а то и более важным, чем принцип извлечения прибыли¹. Но теоретические адепты социальной защищенности работника тем не менее не переносят свою благосклонность на его продукцию, они упорно не хотят узнавать своего любимца в зеркале изготовленных им вещей. Решительно отвергается и жест солидарности, воспроизводимый в рекламных клипах, — вообще, как уже отмечалось, «правовое обслуживание» ПСК со стороны европейской метафизики напоминает напутствие глуховатой бабушки своей любимой внучке: одна не слышит, другая не слушает. Взаимопонимание отсутствует даже там, где, казалось бы, имеется надежная общая почва.

Самым ярким примером является экология, сфера совместной ответственности рядовых подданных ПСК, которые восходят к ней, как к алтарю всесожжения, и университетских профессоров, которые к ней нисходят в поисках востребованности и думают оказать неоценимую

¹ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.

духовную услугу волонтерам Гринписа. Должна же быть куда-то перенесена остаточная тяга к трансцендентному — такой духовной резервацией как раз и стала экология. Это она сегодня *софия*, выступающая в одеждах величия и мудрости. Но на роль ее верховных жрецов философы, увы, не годятся, эта почетная роль принадлежит *мехоборам* и алармистам, чьи позиции по крайней мере понятны транспарантному гражданскому обществу. При этом мехоборы, названные так благодаря своей непримиримой борьбе с шубами из натурального меха, примерно соответствуют *судиям* библейской эпохи и специализируются на обличении повседневных грехов (жестокости обращения с животными, использования аэрозолей, тех же меховых изделий, etc.), алармисты же выполняют функции библейских *пророков*, обличая жестоководное человечество в целом, испоганившее свой общий дом. Ну а философы, лишившись достоинства первосвященников, тем не менее добросовестно выполняют социальный заказ авангардов ПСК, делая все, на что способен субъект, не умаляя своей субъектности.

Ясно, что ни один философ не может претендовать на тот высокий авторитет, который обрел Тур Хейердал, путешествуя на плотах по океанам, или Джейн ван Лавик-Гудолл, прожившая несколько лет при стаде горилл. Далеко ему и до Диснея, создателя безупречной Мыши, и до Спилберга, организовавшего прекрасный юрский парк с симпатичными динозаврами. Философ сам виноват, ведь вместо того, чтобы наслаждаться обществом горилл или антилоп, он занимался всякими пустяками: книжки читал, вникал в хитросплетения диалектики, конспектировал Аристотеля с Гуссерлем. Но и его усилия, направленные в нужную сторону, приветствуются: преобразуя простые,

но исполненные духовной силы воззвания алармистов в ученую речь, пользующуюся уважением у субиков, он, несомненно, делает доброе дело.

Обработанная и разбавленная мультиками экология складывается в достаточно странную структуру — возникает *сакральное без трансцендентного*. Такую конфигурацию не получить посредством диалектического аттракциона, выдерживающего, казалось бы, любое головокружение и стояние на голове, — и в то же время она появляется закономерно и поэтапно по мере внедрения просвещенческой утопии. Ближайшим предшественником здесь является позитивизм с его своеобразным пафосом, призванным завуалировать вопиющую пустоту святого места. Еще до подвигов Хейердала и Жак-Ива Кусто был составлен свой пантеон героев, куда входили Луи Пастер, предлагавший дуэль на колбах, одна из которых содержала, кажется, культуру холерных вибрионов, физики копенгагенской школы, бормотавшие формулы даже во сне, академик Павлов, потребовавший, чтобы ассистенты в деталях фиксировали процесс его умирания. В целом, однако, позитивизм с подозрением относился ко всему патетическому. Обоснование своей высшей санкции позитивная наука доверяла «научно-популярной литературе», которая, в отличие от метафизики, имела дело с редуцированным и упрощенным социальным заказом. Пропагандисты воспевали подвиги рыцарей науки подобно скальдам, рапсодам и аэдам, прославлявшим героев в соответствии с канонам прославления. При некотором напряжении внимания мы можем даже распознать в новых добродетелях трансформированную доблесть, благородство, верность кодексу чести; хуже всего дело обстоит с чашей святого Грааля — колба с вибрионами как-то уж

совсем неубедительно репрезентирует желанную цель и высшую награду¹.

Дальнейший синтез наполнителя сакрального пространства связан уже с работой транспарации. И эта работа устранила шизофреничность пейзажа уже девальвированного трансцендентного, аутизм вообще уверенно теснит шизофрению по всем фронтам. В данном случае термин «Плоско-Субъектный Континуум» говорит сам за себя; Священное Писание верноподданных ПСК записано в основном на электронных носителях, и набрано оно, в сущности, тем же шрифтом, что и реплики в чатах.

Сакральное без трансцендентного охотно пользуется услугами волшебной сказки, слегка подновленной в соответствии с современным антуражем. Эти сказки, впрочем, заведомо адаптированы для детей; они несравненно «политкорректнее» не только архаических мифов, но и сказок братьев Гримм или Ханса Кристиана Андерсена. В них открытым текстом заявлена назидательность — та самая, которая способствует отторжению сказки тинейджерами. Вообще реакция отторжения прямой назидательности — это один из первых признаков формирования субъекта, иммунная система подозрительного субъекта чрезвычайно устойчива к превышениям квоты морализаторства. Но проект «хуматон», в отличие от проекта Dasein, не предусматривает тотальной нейтрализации

¹ Секацкий А. К. Позитивизм как интеллектуальная шизотенденция // Скромное обаяние позитивизма. Материалы конференции. СПб., 1996. С. 11–15. Полная беспечность и непроясненность в отношении цели «компенсируются» сакрализацией самой процедуры научности, к чему бы она ни относилась. Можно, пожалуй, сказать, что беззаветное служение самой экзотической частной проблеме имеет и наиболее высокий статус.

влияний, назидательность оказывается действенной и эффективной, если ее источником являются боги и герои неоязыческого пантеона.

Любопытно, что специальные комиссии ЮНЕСКО, начиная еще с 70-х годов XX века, пытались «подчистить» детскую литературу в духе политкорректности, особенно налегая именно на сказки. Негодование наследников Просвещения вызывал скрытый расизм, фаллоцентризм и чрезмерная жестокость положительных героев (начало, впрочем, было положено самим французским Просвещением, многократно переписывавшим Рабле и Бокаччо). Тогда, в условиях доминирования классического субъекта, решить задачу не удалось: сами получатели заказов с трудом могли скрыть язвительность в отношении ожидаемых от них политкорректных текстов. Но по мере того, как материализовывались измерения ПСК, чистая назидательность перестала быть внешней задачей, которую художник должен решать, наступая на горло собственной песне. Творческий опыт художника стал постепенно сближаться с этической прямоотой Микки-Мауса. В сфере детской литературы вообще произошли далеко идущие перемены.

Речь идет о перемене тенденции, которая в качестве константы культурной трансляции была сформулирована еще Роланом Бартом: произведения, создаваемые для взрослых и, как правило, имеющие у них успех, в скором времени (не превышающем двух поколений) *опускаются* в детскую литературу, где уже ведут стабильное, законсервированное существование. Расхожие примеры с Конан Дойлом, Александром Дюма и Майн Ридом прекрасно подтверждали эту превратность и, разумеется, отнюдь не были единственными подтверждениями. Экстраполируя очевидную тенденцию дрейфа актуальной литера-

туры своего времени в сферу гораздо более стабильного подросткового чтения, можно было предположить, что и тексты, все еще находящиеся сегодня под грифом «outrageous», тоже опустятся со временем к любознательным подросткам, и кукла Барби, абсолютно «непристойная» с моральных и даже с эстетических позиций XIX века, несколько потеснится на игровой площадке, куда придет кукла *Лолита*, очаровательная нимфетка, которая без труда сумеет отбить у Барби ее Кена.

Этого не случилось. То есть нельзя сказать, что дрейф такого рода прекратился вообще, но он был перекрыт куда более мощной контртенденцией прогрессирующего интереса взрослых (может, правильнее будет написать «взрослых») к детскому чтению и в особенности к детскому и подростковому видеоряду. Например, «Ночной дозор» (один из самых успешных российских кинопроектов последнего времени), если бы входящие в его состав дозорные могли вести наблюдение за зрительным залом, за душами внимающей аудитории, несомненно, зафиксировал бы, что его приключениям все возрасты покорны, что взрослые дяди и тети не просто развлекаются, но именно переживают, пытаются усмотреть решение своих проблем в стихии волшебной сказки, некогда *профанически* выпавшей из пространства мифа, а теперь совершающей обратное восхождение. Возможно, правда, что данному обстоятельству больше порадовался бы *дневной дозор*, в интересы которого должна входить легитимация «иных» вообще, но это отдельный вопрос. Неожидавшая атмосфера серьезного, даже пристального, внимания к патрулированию на кромке inferнального достойна специального анализа, ибо последний раз такое внимание отмечалось во времена «Молота ведьм».

Если же попытаться сказать несколько внятных слов по поводу возросшей инфантильности, повлиявшей на рецепцию искусства, то следует отметить, что мы присутствуем лишь при первых шагах уже готовящегося переворота. Неподдельный интерес взрослой аудитории к *мультикам* (не имеющий ничего общего с эстетскими позициями почитателей Норштейна), растущая популярность практики *fanfic* и ролевых игр есть сегодня некая данность, далеко превосходящая стремление «подурачиться». Движущие силы этих культурных преобразований зародились внутри детской литературы, им предшествовали перемены в самой стабильной формации подросткового чтения. Уже послевоенное интернациональное поколение, погрузившееся в Толкиена всерьез и надолго, отправило в отставку Александра Дюма, а к концу XX столетия ассортимент детской литературы и «детской культуры» в целом полностью обновился: читать Майн Рида и Фенимора Купера стало возможно только из-под палки (как раз к этому времени они были включены в школьную программу) — и новая, модная детская словесность начала свое триумфальное шествие через списки бестселлеров для аудитории всех возрастов. Гарри Поттер еще не победил окончательно Волан-де-Морта, но над традиционным реализмом он одержал решительную победу...

Вне всякого сомнения, успех Джоан Ролинг — это всего лишь первая ласточка; инфантилизация художественных предпочтений только набирает обороты. Выбравшие Поттера (ну как тут не съязвить насчет *поттер*янного поколения) не собираются уступать своих эстетических позиций, им нужны и ими заказаны новые сопоставимые шедевры, и российские «дозоры» идут именно в этом русле. Но, разумеется, далеко уступают американским проектам, составляющим основу эстетического измерения ПСК.

Можно было бы без особого труда заметить, что пантеон хуматонов, состоящий из прямодушных героев с их незатейливыми историями, расположен еще, так сказать, на этаж ниже пантеона почитательниц мыльных опер. Но подобные оценки, опирающиеся на критерий изоэссенности в суждениях вкуса (на коэффициент преломления сущности в явлении), никак не затрагивают смысла совершаемого в эстетическом измерении выбора. Пока достаточно констатировать, что критерий отбора в неоязыческий пантеон учитывает максимальную удаленность канонизируемых персонажей от подозрительных субъектов. Боги и герои нового мира тяготеют к существам, очеловеченным с помощью кино и анимации, — к придуманным животным, симпатичным инопланетянам и не менее симпатичным динозаврикам, а их антиподами, напротив, являются сугубо человекообразные существа, разного рода шпионы, диверсанты и вредители. Важнейшим принципом для героизации становится отсутствие *задней мысли*; ясно поэтому, что субъекту невероятно сложно даже претендовать на *святое место*, представляющееся ему безусловно пустым.

Следует вновь подчеркнуть, что другая особенность сакрального без трансцендентного состоит в том, что пантеон не выдвинут в заоблачные выси, а прекрасно просматривается с любой точки ПСК. К нему ведут вполне доступные ступеньки-пьедесталы, на которых расположились *простые открытые парни*, упразднив тем самым иерархию ангельских чинов. Что же касается *сложных и закрытых парней*, то и им вовсе ни к чему блуждать по бесчисленным кругам ада — выход через чистилище, чистилище принудительной транспарации, для них всегда открыт.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО И МАНИЯ НАГЛЯДНОСТИ

Мераб Мамардашвили в одной из своих лучших книг, «Классический и неклассический идеал рациональности», оценивая долгосрочную тенденцию Просвещения, усиливающуюся по мере приближения к идеалу, говорит о том, что истощивший себя классический разум столкнулся с необходимостью преодолеть манию наглядности. В качестве примера видеоряда, искажающего суть дела, философ избирает ситуацию в современном естествознании, где исследователи (и прежде всего специалисты по квантовой механике) столкнулись с беспомощностью и даже с дезориентирующей функцией «картинок», призванных проиллюстрировать заключенные в формулах смыслы¹. Уже первый атом Нильса Бора, представленный на поясняющей картинке в виде пирога с изюмом, не только ничего не добавлял к функциональному пониманию, но и своей навязчивостью задерживал на какое-то время развитие теоретической мысли. Научись физики начала XX века сразу обходиться без картинок, дело пошло бы гораздо быстрее, но пресловутая *мания наглядности* сработала как блокировка (и до сих пор срабатывает).

Революционная роль Эйнштейна состояла, между прочим, еще и в том, что он решительно отказался от визуальных спекуляций, ограничившись крайне схематичными иллюстрациями. Многочисленные попытки вовлечь знаменитого физика в популяризацию не увенчались успехом: среди важнейших выводов теории относительности

¹ Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеал рациональности. Тб., 1984.

выявилось неожиданное следствие: «физика в картинках» окончательно разминулась с физикой как наукой. Однако, несмотря на весь авторитет мэтра, его осторожная позиция не устранила манию наглядности: произошло лишь некоторое перераспределение обязанностей. В то время как физики, входящие в дисциплинарное сообщество ученых, отказались от иллюстраций даже в самом широком смысле слова, другие, напротив, принялись за создание интегральных наглядных моделей. Сегодня количество этих моделей впечатляет — их на порядок больше, чем формул, которые они призваны иллюстрировать; конкуренция этих моделей чем-то напоминает конкурс детского рисунка.

В постановке диагноза или, если угодно, в обозначении болевой точки современной теоретической мысли Мамардашвили был, безусловно, прав. Другое дело, что *преодолеть* взрыв визуальности едва ли возможно, ведь он распространяется во всех измерениях сразу. В самом деле, мания наглядности отнюдь не ограничивается одной только физикой или даже естествознанием в целом. Ее победное шествие знаменует торжество логики и идеологии Просвещения, а принцип непрременной обозримости с некоторыми модификациями вошел в «формулу» ПСК¹. Важно подчеркнуть именно универсальность мании наглядности: ведь

¹ Победное шествие паноптической метафоры, в том числе и в качестве репрессивной инстанции надзора, подробно исследовано в работах Мишеля Фуко. Требование принудительной визуализации скрытого (сокровенного), будучи одной из доминант экзистенциальной шпионологии, было изъято из общего списка важнейших операций субъекции и возведено в режим максимального благоприятствования. Что касается позднейших модификаций, то речь может идти об устранении особого пафоса визуализации, поскольку *выставление на всеобщее обозрение* перестало быть чем-то заданным, став простой данностью.

и прозрачность в политике в качестве критерия ее приемлемости, и вопиющая несокрытость (да простит нас Хайдеггер) массовой культуры, и клиповый способ явленности нового пантеона — все это звенья одной цепи.

Очаговая мания наглядности сгущается в страшное подозрение (конечно, для тех, кто еще способен дистанцироваться от одержимости оптикоцентризмом). Вот мы всматриваемся в бесчисленные инсценировки трансцендентного, уже утратившие свой некогда шокировавший эффект. Например, мы смотрим популярный мультсериал под названием «Суперкнига». Или какое-нибудь очередное «шоу Иисуса», использующее всю мощь электронных медиа. Мы понимаем, что, после некоторых колебаний, представители клира все это допустили, хотя, возможно, и не благословили. Понятна также и их логика с не слишком, впрочем, вразумительными аргументами о необходимости популяризации, обеспечения широкого доступа к нетленным ценностям духа, о том, как важно достучаться во всякую дверь. На самом деле решающий аргумент куда проще: у них, у первосвященников и проповедников, нет другого выхода.

Вот в Петербурге, у входа в Александро-Невскую лавру, я останавливаюсь у лотка, где продаются разные душеспасительные товары и прочие церковные сувениры. Мое внимание привлекает одна из матрешек, и я беру ее в руки, не совсем еще понимая, что передо мной. Возникает секундная пауза удивления, возможная при любой степени засилья цинического разума. Но секунда проходит, и я все-таки понимаю, что матрешка как раз и является компактным воплощением мании наглядности — мне прежде никогда не попадалась такая ее концентрация в одном флаконе. Первым образом (матрешкой-вместилищем)

был Бог Отец, настоящий седобородый Саваоф, которому художник придал отстраненный вид. Внутри него помещалась Богоматерь, Дева Мария с ликом скорбным и возвышенным. Внутри Богоматери находился младенец Иисус, и выражение его глаз чем-то перекликалось с непорочным, невинным взглядом продавца.

Тогда я всерьез задумался об одной особенности, изначально разделявшей ислам и христианство. Речь идет о запрете изображать человека. Принцип отказа от человеческих изображений, в свою очередь, вытекал из неизобразимости Всевышнего — ведь человек сотворен по образу и подобию Его. Последствия неукоснительного соблюдения запрета были достаточно многообразны. Прежде всего, мусульманские страны практически лишились изобразительного искусства: в той или иной мере репрессиям подверглись все изобразительные элементы в культуре. Как заметил еще Гёте, побочным следствием данного обстоятельства стал расцвет искусства орнамента.

Но лишь сегодня полное торжество транспарации в регионе христианской культуры прояснило истинный и сокровенный смысл запрета: благодаря ему удалось предотвратить одержимость манией наглядности, удалось удержать трансцендентное от рокового смешения с посюсторонним и профанным. В итоге видеоряд Иисуса затерялся в бесчисленном множестве картинок, и, хотя внутри этого континуума мы можем найти образцы редкой выразительности и художественной силы (в принципе, способствующие консолидации веры), в целом иллюстрации постепенно *истощили* мощь трансцендентного, став каналом утечки сокровенной сущности Бога. Любопытно, что мусульманские богословы предупреждали о подобной опасности, начиная еще с Ибн-Хальдуна, и борьба с сор-

ной изобразительностью периодически становилась даже функцией государства. Ослабление запрета на изображение человеческого облика (как, например, в Кордовском халифате на рубеже X—XI веков) так или иначе совпадало с общим ослаблением единства уммы и способности к сопротивлению.

Тем не менее исламская цивилизация избежала ловушки ПСК — не в последнюю очередь благодаря упорству в хранении трансцендентного как сокровенного¹. А христианская эсхатология полного выдоха близка к полному исчерпанию своей внутренней силы. Торжествующее зрение отвергает необходимость пристально вглядываться в потаенное, уже выстроенная панорама обозримого, прозрачного мира не требует многоступенчатой рефлексии. На протяжении веков важнейшей прививкой к имманентным и изначальным просветительским тенденциям фаустовской цивилизации была духовная формула иудаизма, в особенности в ее хасидском варианте. Там интерьер внутренней философии субъекта по необходимости должен был обеспечиваться самой компактной формулой, ибо возможности для развертывания полномасштабной социальной инфраструктуры отсутствовали. Как само бытие рассеянной еврейской диаспоры, так и его обоснование способствовали сокровенному хранению инструкций-заповедей — ведь их надо было уберечь от хронической неподтверждаемости явленным ходом вещей, поэтому *подозрение* культивировалось не только в дополнение, но и в противовес *зрению*. Эйнштейн, с его органичным недоверием к «физике в картинках», выступает как прямой наследник искателей Шехины, пребывающей в

¹ В этом смысле вполне объяснима резкая реакция всего мусульманского мира в связи с появлением в датских газетах карикатур на пророка Мухаммеда.

изгнании и в рассеянии, здесь мы имеем дело с далеко идущим параллелизмом интеллектуальных навыков¹. Отказ от вывода скрытых параметров в прямую изобразительность, несомненно, повлиял на идею относительности времени и пространства, на их подчиненное положение по отношению к последовательности символов.

Фрейд, несравненный мастер толкований, в каком-то смысле тоже следует специалистам по каббалистике и гематрии, предлагая сопоставимую по своей изощренности технику расшифровки и многократной перекрестной интерпретации сокрытого имени «бога», в его случае — набора изначальных символов сновидения, лежащего в основе многоцветной инновидимости². Нельзя не признать, что поправка, вносимая рыцарями гиперподозрительности (включая и Маркса) в доминирующую тенденцию Просвещения, долгое время сдерживала всеобщее торжество транспарации.

Естественный ход вещей потому и называется естественным, что обладает ресурсом самоподдержания — далеко идущей автономии, которая все же не доходит до степени *causa sui*. Уже отмечалась роль обмена обманом в

¹ Как свидетельствует книга «Тания», написанная Шнеуром Залманом (русский перевод: *Залман Ш. Книга Тания*. Вильнюс, 1993), следить за приключениями Шехины в изгнании не менее интересно, чем за приключениями самого искусного разведчика. См. также: *Roytman B. White Fire on a Black Fire. Essays on Jewish Hermeneutics*. N. Y., 1984.

² Изощренность Фрейда может быть возведена к очень отдаленным историческим корням. Достаточно сравнить метод Фрейда с характерным признанием аморайского раввина, жившего в Вавилонии еще за пять веков до нашей эры: «До восемнадцати лет я даже понятия не имел, что у Писания есть и прямой смысл» (Агада. М., 2006. С. 7. Пер. С. Г. Фруга). Для идеального психоаналитика, как и для самого Фрейда, с «прямым смыслом» дело обстоит примерно так же, как и у вавилонского раввина.

эмпиричесом бытии подозрительных субъектов (носителей Л-сознания) и в рутинном режиме функционирования практического разума как такового. Но нельзя забывать, что для фальсификации эталонов все же необходимо, чтобы эти эталоны были в наличии. По крайней мере, в соответствии с поправкой Бодрийяра, в наличии должна быть память о них. Кроме того, лучшие образцы анализа социального опыта, представленные Платоном, Руссо и Максом Вебером, демонстрируют, что и нормативная будничность будней требует трансцендентной санкции. И она продлится недолго без возобновляемости (обновления) духовных оснований.

Таким образом, острая теоретическая и практическая коллизия налицо. И в ней, что весьма показательно, онтическое служит решающим онтологическим аргументом, аргументом социальной онтологии. Ведь как бы там ни было, проект Просвещения, изобличая и отвергая предвзятости во имя чистого разума, прозрачного полиса и общепонятного этоса, в своей имплицитной экономической части гласил, что *содержать трансцендентное слишком накладно*. Издержки на его содержание непомерно велики — это с одной стороны. А с другой — обойтись без трансцендентного не удастся, если речь идет о субъекте и обществе субъектов. Мы уже видели, с какими шизо-тенденциями срастается позитивная наука, пытаясь найти замену трансцендентному.

Выход из тупика был найден странный и отнюдь не теоретический — его даже можно назвать экстравагантным: если содержание собственного трансцендентного столь затратно, столь разрушительно для культивируемых принципов просвещенности и прозрачности, почему бы не попробовать использовать чужое, заимствованное транс-

цендентное, разместив его в особой территориальности как земное потустороннее? Реализация этого хода стала содержанием одной из важнейших страниц истории XX века; рассмотрим несколько подробнее данный эмпирический аргумент, преобразивший и метафизическое пространство.

Вглядываясь в реалии современного постиндустриального мира, сначала удивляешься невиданным прежде возможностям. Слова, начинающиеся с паролей «теле», «кибер», «гипер» и «супер», как может показаться, вводят фрагменты абсолютно новой реальности. Но вскоре возникает страшное подозрение.

Сначала смутные, а затем все более настойчивые сравнения с позабытым опытом Советской России придают современности совершенно неожиданные очертания. Выясняется, например, что для всякого «теле» и «гипер» находится свой удивительный аналог. Возьмем хотя бы телевидение: если обращаться к сути дела, а не к поверхностному техническому оформлению, придется признать, что «телевидение» всюду работало в молодой Советской республике. Окна РОСТА, «Синяя блуза» и другие подобные объединения успешно обеспечивали своеобразную телетрансляцию. Нота Керзона, наш ответ Чемберлену, ГОЭЛРО, субботник, тифозная вошь как враг № 1 — практически одновременно в разных уголках страны эти новости выходили «в эфир»: инсценировались, собирали аудиторию, дополнялись местными новостями, после чего та же «Синяя блуза» демонстрировала очередной сериал о пролетарско-буржуйских разборках. Живой телевизор функционировал на полную мощь задолго до появления своей электронной версии. Знаменитый тезис Хайдеггера «сущность техники не есть нечто техниче-

ское» прошел полномасштабную проверку в идеальных лабораторных условиях.

Рекламный плакат (клип) как способ универсальной упаковки ценностей основательно опробован в практике агитации и пропаганды Советской России: карикатурные буржуи в цилиндрах являются отдаленными предшественниками современных кариозных монстров. Особенно впечатляет схожесть атмосферы: если прямая эффективность предложения ничтожно мала, то влияние на коллективное бессознательное достигает критических величин, в обоих случаях создается система координат фетишистского мировосприятия. Нас не должны вводить в заблуждение границы собственной территории фетишизма, особенности местности, на которой расположен полигон. Подобно тому как принцип авторствования в политическом измерении реализуется раньше, чем в сфере искусства или науки¹, также и рекламные ходы включаются в дистрибуцию власти раньше, чем в дистрибуцию вещей (в экономику).

Рассматривая прототелевидение коммунистической утопии, следует, пожалуй, отметить его большую демократичность и эффективно работающую обратную связь. Революционные стенгазеты и листки (как и дацзыбао в маоистском Китае) предоставляли выход в эфир *широким народным массам*, а возможность ответить собственной дацзыбао на выпад противника создавала нечто вроде chat-режима сегодняшнего Интернета.

Тем не менее Пролеткульт оказался тупиковой ветвью mass media — как глиняная кремниевая жизнь до появления органической (углеродной) или как звероящеры до млеко-

¹ Обоснование этого тезиса см. в статье: Секацкий А. К. Бытие в признанности: истоки современной политики // Мысль, СПб., 2004. № 5. С. 51–71.

питающих. Слишком уж большой фрагмент социального тела приходится задействовать для сборки Мегателевизора — именно в Советской России журналистика впервые становится массовой профессией, и эта массовость (если учесть институт рабкоров) не превзойдена до сих пор. Неэкономичность — вот главное отличие огромного media-динозавра от современной стайки шустрых мышек, без всякой натуги выполняющих ту же работу.

Среди точных и безжалостных выводов Чаадаева особенно обращает на себя внимание его предположение о всемирной роли России. Роль эта состоит в том, чтобы демонстрировать цивилизованному человечеству то, чего следует избегать. Несколько десятилетий спустя, рассуждая о полезности социалистического эксперимента, Бисмарк говорил: «Надо только выбрать страну, которую не жалко». Канцлер, разумеется, знал, что выбор уже сделан, но, будучи ответственным политиком, не торопился договаривать до конца. Полтора столетия, прошедшие с момента исторического прозрения, полностью подтвердили правоту Чаадаева: сегодня Россия предстает как лаборатория Фауста, предназначенная для самых опасных экспериментов и потому вынесенная на задворки общеевропейского жилого дома, а для пущей безопасности еще и окруженная стеной (железным занавесом).

Революция произвела колоссальный выброс пробных социальных и экзистенциальных форм, большинство из которых, как водится, были вредны и даже губительны для любой здоровой социальности. Но были и те, которые после проб и ошибок обрели нужную кондицию и стали пригодными для заимствования — теперь уже безнаказанного и безбоязненного. Все возможные нестыковки удалось подогнать в ходе полевых испытаний. В бурлящем

расплаве революции и послереволюционных лет формируется интенсивное пространство mass media, происходит действительное присвоение искусства народом, предвосхищающее ситуацию современной массовой культуры. Революция разворачивает целый веер так называемых *социальных завоеваний трудящихся* (начиная от оплаченного отпуска) — все они были синтезированы и проверены здесь, на полигоне, а применены с пользой для дела там, в жилом доме. Плюс к тому великое множество побочных новаций — от широкого распространения аббревиатур до возрождения геральдики: все это так или иначе востребовано современной транснациональной экономикой и использовано в качестве эффективного инструмента самоидентификации глобализованного человечества.

Чрезвычайно важный момент предварительных испытаний будущей устойчивой социальности обычно ускользает от внимания историков. Между тем целый ряд явлений получает совсем иное объяснение в рамках экономии социального предшества. Вырисовывается новый подход к проблеме экзистенциальных авангардов: мы видим, как на полную мощность загружаются «специально выделяемые» соответствующие площадки — либертины, импрессионисты, хиппи отработывают двадцатичетырехчасовой рабочий день, производя фрагменты пробного будущего. Тем не менее получается, что этих мощностей недостаточно: некоторые социальные инновации могут быть синтезированы и испытаны только на большом полигоне. Например, пределы эффективности хозяйства в условиях отсутствия такого эффективного рычага мобилизации инициативы, как собственность. Эксперимент показал, что в принципе можно обеспечить некий минимум хозяйственной самодостаточности, который для условий воен-

ного времени является даже оптимальным. Но военное время, растянувшееся навечно, все равно не в состоянии преодолеть некую планку экономического минимума. Никакие сверхусилия трансцендентного энтузиазма не могут компенсировать отсутствие рыночных стимулов и механизмов.

Сейчас нас, однако, интересует важнейшая особенность полигона под названием Россия — она, в отличие от вынесенных в будущее авангардных площадок, состоит в выстраивании бытия-для-другого. Ибо степень саморазрушительности полевых испытаний неприемлема для живой органики собственного социального тела и вообще необъяснима в форме «для себя». А вот бытие-для-другого укладывается в жесткую логику безотчетной стратегии самопожертвования, независимо от того, какими внутренними причинами (всякий раз разными) оно дополнительно гарантируется или, скажем так, *подстраховывается*. И логически-выверенное движение российской утопии неизменно разворачивается по спирали полигон — котлован — полигон.

В рамках стратегии бытия-для-другого получает объяснение и феномен сталинского искусства. Такие величественные монументальные формы, как комплекс ВДНХ или «Книга о вкусной и здоровой пище», сегодня прочитываются с неподдельным энтузиазмом. Природа энтузиазма ясна далеко не сразу, в особенности если еще не остыло ощущение абсолютной внутренней фальши соцреализма и «стиля Сталин» как его квинтэссенции. Изнутри, в качестве безальтернативного интерьера повседневной жизни, все черты воплощенной утопии образуют мрачный тюремный антураж. Но по мере увеличения дистанции, как хронологической, так и позиционной, инте-

рьеры эпохи обретают совсем другую тональность: они притягивают, зачаровывают по всем правилам категории возвышенного. Возникает труднопреодолимое ощущение, что все соответствующие культурные формы и были изначально задуманы как послания к иному, а идеологический камуфляж служил всего лишь отговоркой. Уж больно невероятным представляется консенсус живущего поколения в отношении своей предназначенности к роли агнцев для всежжения, но логика «адресованности иному» сразу меняет дело. Что же, однако, заставляет перейти в режим бытия-для-другого? Неужели только непрерывно, на всех оборотах работающая машина репрессий?

Если вдуматься, что именно зачаровывает нас в некоторых цивилизациях (например, в египетской, вавилонской или сталинской), можно предположить, что зачаровывает полное пренебрежение принципом человекоразмерности. Древнеегипетские города, построенные не для живых, а для мертвых, вавилонские города-зиккураты, выстроенные для богов, а не для смертных, сталинская культурно-историческая среда, предназначенная «для потомков», для гомункулосов близкого или отдаленного будущего, — все это звенья одной цепи. Важно отметить, что трансцендентная устремленность (преимущественное бытие-для-другого) характеризует ту или иную цивилизацию изначально, независимо от исторических перипетий ее развития. Россия как последняя цивилизация трансцендентного служит ярким тому подтверждением.

Многие сферы знаковой активности современного постиндустриального общества допускают сравнение с советским протообразцом. Внимательное сравнение позволяет взглянуть на многие вещи иными глазами. Вот мир современной рекламы — он мог бы показаться растиражи-

рованным до бесконечности, но все же вполне рациональным средством продвижения товаров и услуг к потребителю. Однако, как уже отмечалось, ряд факторов, включая и историческую память, не дает трактовать рекламные потоки столь примитивным образом. Со временем проявляется скрытая цель безудержной рекламной активности — обозначение собственного присутствия в мире. Явно несоразмерное количество усилий направляется на закрепление в памяти фирменного ярлычка, на внедрение бренда, логотипа. С другой стороны, столь же непомерные затраты направляются на формирование и укрепление групповой солидарности. Возникает ощущение, что истинная цель, скажем, корпорации «Мицубиси» — вовсе не максимизация продаж, а производство знаков отличия в полном соответствии с тезисом Ницше: «Только не спутайте меня с кем-то другим...» Идентичность обладает высшей, самодостаточной ценностью.

Но подобная практика где-то уже встречалась. Разумеется, речь идет о советском прототипе современного глобализма. Вспомним предприятия и трудовые коллективы СССР, не знавшие рекламы в коммерческом смысле слова, но развивавшие напряженную символическую активность в направлении идентичности и солидарности.

Победа в бесконечных соцсоревнованиях, получение какого-нибудь переходящего Красного знамени или имени бога-покровителя (очередного вождя) вызывали язвительные насмешки даже у советских сатириков. Но по большому счету гиперактивность в сфере производства символического, проявляемая сегодня той же корпорацией «Мицубиси», мало чем отличается от инициатив заводов ЛОМО, «Электросталь» и прочих субъектов социалистического хозяйства. Выясняется, что отнюдь не исчезли

бесследно доски почета и прочие мишурные права вроде права возглавлять на демонстрации колонну трудящихся. Просто жизнеутверждающая активность сознательных трудящихся сменилась брендоутверждающей активностью солидарного персонала, выступающего под девизом «Мы из “Макдоналдса”, знай наших!».

Поразительным образом современная корпоративная этика приняла к руководству и исполнению рекламные клипы коллективизма, всесторонне отработанные в свое время на *полигоне*, — все то, что казалось навеки забракoванным и зарытым в котлован. Сегодня мы присутствуем при неслыханном расцвете корпоративных праздников, совместных пикников и даже субботников. Все это ре-экспортировано в Россию под видом новейших западных веяний, доставлено вместе с передовыми формами ведения бизнеса и сразу же вызвало сильнейший эффект *deja vu*. Настойчиво возникает лишь вопрос: почему то же самое не удалось советской власти?

Таким образом, вглядываясь в ядро разворачивающегося процесса глобализации, мы обнаруживаем удивительную и даже загадочную игру сходства и несходства. Основное несходство сведено к различию моментов «для себя» и «для другого» — только и всего. Но это *только и всего* меняет знак сущности на противоположный. Траектория многоярусной превратности соединяет коммунистическую утопию с утопией глобализации, обладающей куда большей степенью воплощенности.

Представим себе выбросы символической активности сталинской эпохи как мощный поток излучения: перед нами пульсирующий источник неких МЭЛС-лучей. Бомбардировке светоносными частицами подвергается абстрактное окружение и абстрактное будущее. Излучение

направлено на пока еще невидимые мишени; иными словами, оно адресовано в трансцендентное.

Теперь выясняется, что одна из мишеней, расположенных на близлежащем полюсе истории, «засветилась». Под воздействием потока квантов энтузиазма, идущих из трансцендентного прошлого, в недрах постиндустриального общества был активирован проект глобализма. Это активирование вполне может быть описано как перевод чужеродного реликтового смысла в форму «для себя». Перевод, разумеется, не буквальный, но, несомненно, узнаваемый и даже изоморфный. Там, на том конце, преисполненные энтузиазма сталинские физкультурницы, пышущие здоровьем девушки с веслом, сознательные рабочие, передовики производства, образцовый посто-вой дядя Степа и безукоризненный чекист майор Пронин — призраки сакрального видеоряда.

Здесь же, на другом конце, где располагается невидимая мишень, призраки постепенно обретают плоть. Стройные, доброжелательные, улыбающиеся girls, выпестованные аэробикой и шейпингом, — прямо-таки ожившие статуи из парков культуры и отдыха. Разве что весло материализовалось «с ошибкой», превратившись в скейтборд, — но это уже детали... Тем более что рядом активисты общества анонимных алкоголиков, ну точь-в-точь киношные сознательные рабочие, выводящие оступившихся на путь истинный. И главное, материализованные привидения уже не находятся в пространстве утопии, они органично вписаны в повседневность.

Можно было бы сказать, что общество потребления — это и есть очеловеченный коммунизм, переведенный из состояния бытия-для-другого в форму для себя. Но действительно ли полюс «здесь и сейчас», занимае-

мый Америкой (включая ее внешние духовные провинции), является положительным полюсом только потому, что нечеловеческий коммунизм Сталина таковым однозначно быть не может? Разве ряды далеко идущих соответствий не предрешают судьбу проекта глобализации? Отказ от формы бытия-для-другого как-то не добавляет симпатичности воплощаемым идеалам. Обобществление сборки эталонного тела и его распечатка по ячейкам индивидов увенчалась успехом. Майкл Джексон репродуцирован и растиражирован наряду с другими избранными моделями для сборки; пластическая хирургия плюс шейпинг сделали приобщение некондиционных индивидов к эталону вполне доступным. Правила политкорректности, представляющие собой модернизированный кодекс строителя коммунизма, отнюдь не вызывают органического отторжения, как это было у «советского человека». Отношение к изгоям-аутсайдерам, не поддающимся воспитанию, негативное до такой степени, какая и не снилась советским парторгам. И тем не менее перспективы глобализации примерно те же, что и у забракованного советского проекта.

Дело в том, что оба проекта в равной мере противостоят индивидуализму, принципу автономии личностной монады и другим духовным гарантам либерализма, одухотворявшим фаустовскую цивилизацию в период ее максимального могущества. А то, что утопия глобализации ориентирована на форму для себя, а не для другого, еще не делает ее шедевром социального конструктивизма. Ведь бытие, исключаящее самопожертвование и отменяющее всякую трансценденцию, в свою очередь, может быть рассмотрено как результат фальсификации и упадка, как состояние духовной демобилизации общества.

Существенным представляется и другой результат эксплуатации заимствованного трансцендентного: размывание позиционных ячеек власти, предназначенных для однозначного заполнения их субъектами. Исчезновение привилегированных потребителей власти, смыкающихся в легко опознаваемый правящий класс, — явление крайне характерное для ПСК, пусть даже дистрибуция власти по степени ее транспарантности уступает сферам циркуляции знаний и кругооборота удовольствий. Прогресс в том смысле, в каком понимало его Просвещение, тем не менее налицо.

В странах, где тройная демократизация зашла достаточно далеко, прекратилась выработка и иррадиация харизматической ауры (что отчасти и объясняет активное использование заимствованного трансцендентного). Учитывая, что сладость властвования неразрывно связана с гарантированностью приватного¹ и, так сказать, с величинной дистанции между публичным церемониальным пространством и сферой своеволия (то есть с глубиной двойного дна), размывание дистанции аннулирует внутренний резонанс политической признанности, сохраняя лишь внешний престиж, обладающий большой инерцией. Строго говоря, абоненты политической власти уже подверглись первой экспроприации, хотя пока этого еще не заметили (для власть имущих за пределами ПСК экспроприация, постигшая их «коллег», очевидна²). К политическим ре-

¹ Секацкий А. К. Бытие в признанности: истоки современной политики // Мысль. СПб., 2004. № 5. С. 51–71.

² Президент Венесуэлы Уго Чавес, типичный субъект традиционной, «нетранспарантной» власти, отвечая на вопросы студентов во время своего пребывания в Белоруссии, столкнулся, в частности, с вопросом о сравнительных полномочиях президента Венесуэлы и президента США. Ответ экстравагантного лидера оказался весьма

формам, точнее говоря, к реформам политического измерения под воздействием прогрессирующей транспарации, мы еще вернемся.

Торжество медиакратии как самой «странной», почти бессубъектной формы власти привело к выравниванию элит и формированию нового критерия для их консолидации. Сегодняшняя элита все больше определяется по наличию привилегированного доступа к окнам mass media. Принадлежность к аристократии Голливуда или к верхушке шоу-бизнеса в целом уже сейчас престижнее принадлежности к собственно политическому истеблишменту. К тому же решительно пробивает себе дорогу взаимная конвертируемость в пределах плоскостной признанности. Рональд Рейган в свое время одним из первых прошествовал по трассе из Голливуда в Капитолий, Арнольд Шварценеггер двигался уже в русле mainstream. Оживляется и встречное движение: Джимми Картер, Моника Левински, Гельмут Коль. Вот и Михаил Горбачев попробовал себя в роли, на которую обычно приглашают популярных комиков...

Дистрибуция политической власти, несомненно, приняла бы еще более рациональный и прозрачный характер, если бы не сохраняющееся внешнеполитическое противостояние. Пока в регионах, не затронутых Транспарацией (да и Просвещением не очень-то затронутых), власть всецело принадлежит подозрительным субъектам, извлекающим положенную норму сладострастия из аттракторов политической

точным: «У президента США, разумеется, больше полномочий, чем у президента Венесуэлы. Но я знаю, что мои полномочия больше, чем персональные полномочия любого конкретного президента США, который всего-навсего марионетка американского истеблишмента» (News Week. 2006. July 22–29).

признанности, просвещенному обществу тоже приходится подкармливать своих «уицраоров». Если для собственного политического лидера харизматическая санкция не требуется, скорее она даже настораживает верноподданных ПСК, «контрабандой» использующих чужое, дешевое трансцендентное, то негативный полюс трансцендентного, предназначенный для неисправимо плохих парней, воистину пуст не бывает. По порядку заполнения *проклятое место* явно опережает свято место; так, после распада «империи зла» вакансия главного злодея пустовала считанные мгновения в масштабе исторического времени.

Таким образом, дистрибуция власти в политическом измерении ПСК все более тяготеет к американской модели, в соответствии с которой суверен (в данном случае президент) обладает исключительными внешнеполитическими полномочиями вплоть до единоличного решения о полномасштабном применении силы и в то же время крайне ограничен в принятии внутривнутриполитических решений. Скажем, бомбить Ирак — пожалуйста, хоть *пять Ираков* одновременно, а вот повысить налог на полпроцента — ни за что. Поэтому противостояние Америке через институты государственности — затея бесполезная, в какой-то мере это даже содействие процессам реанимации находящегося в бреду социального тела. Напротив, проникновение внутрь гражданского общества в обход барьеров государственности (инфильтрация или контрколонизация) позволяет обращать в свою пользу немалый аванс благосклонности к первым встречным. Разумеется, для контрколонизаторов всегда существует опасность или, если угодно, соблазн самим «цивилизоваться» (в смысле *транспарироваться*), именно такой исход инфильтрации чаще всего реализовывался в истории. Но ситуация изменилась, и собственное

трансцендентное демонстрирует очевидные преимущества в противоборстве с заимствованным трансцендентным.

Здесь пора констатировать излишнюю увлеченность обличениями и, чтобы несколько выровнять ситуацию, пора вновь предоставить слово Транспаро Аутисто. Ему уже давно есть что сказать.

«Разнокалиберные критики ratio сегодня состязаются в разоблачениях плоского рационализма вместо того, чтобы перевести вопрос в рациональную плоскость. Они словно продолжают жить в эпохе пророков, находя себе авторитеты в череде достославных одержимцев от Иезекииля до Шпенглера. Мысли Томаса Пейна или, скажем, Томаса Джефферсона кажутся им чересчур плоскими, а взгляды просветителей в целом — слишком пресными. В действительности они лишь запугивают своих читателей и друг друга — что, кстати, не так уж и трудно, учитывая шлейф врожденной подозрительности. Благодаря им философия истории в XX веке стала похожа на конкурс антиутопий, в котором побеждают настоящие мастера страшилок.

Быть оптимистом немодно, да у субиков, как говорят мои подзащитные, это и не считается признаком ума: у них спор идет преимущественно между героическим пессимизмом и пессимизмом циническим. Алармисты ветшающей метафизики то призывают к бдительности, то требуют “не сдавать позиций западной цивилизации” — но все это прекрасно уживается с пророчествами о ее неизбежной гибели. Много еще чего они требуют, но если свести их алармистские построения к простым силлогизмам, то есть перевести их все-таки на язык ratio, получится следующее.

Мужество, к которому они призывают, — это нетерпимость, нежелание поступиться комфортом ради человека,

которому ты ничем не обязан. Поступающие с комфортом автоматически обвиняются в отсутствии мужества.

Дружелюбие, в особенности дружелюбие, не подкрепленное автоматической обратной связью, трактуется алармистами как поверхностность, препятствующая установлению более глубоких отношений.

Отсутствие паники перед ежедневно заклиняемой катастрофой, да и перед реальной опасностью, — это, по мнению антиутопленников, утрата бдительности и ответственности за свое бытие. Преступная беспечность подготавливает мрачное будущее гражданского общества, основанного на либеральных ценностях, — таков прогноз расплывшихся иезекииелей, специалистов апокалиптического жанра.

В отличие от них другая разновидность субиков-теоретиков, жрецы политкорректности, защищает политические свободы и приветствует их экспансию. Но и эти теоретические выкладки сводятся к замысловатому регулированию, к фетишизму государства и политических абстракций. Во всем видно недоверие к дружелюбию и простой приветливости как спонтанному чувству. Иными словами, субъектам, даже весьма искушенным в теории, все равно не удастся скрыть свою подозрительность; непринужденное общение с другими предстает в качестве заслуги, если не сказать подвига. Совершаемый здесь интеллектуальный трюк все тот же, что и у Канта: коль скоро в важнейших для нас интеллектуальных предпочтениях психология (гетерономный практический разум) оказывает сопротивление, психологические корреляты следует вообще исключить из сферы истинных максимумов чистого практического разума. В дальнейшем это вылилось в некое имплицитное, но непреложное правило: если что-то,

например близость ближнего, дается тебе легко и играючи, будь бдителен, скорее всего, ты на ложном и опасном пути. На кантианском фундаменте остаются и Роллз, и Хабермас, да и сам Рорти. Их либеральная открытость выглядит не менее натужной, чем исполнение предписаний морального закона во мне. Нельзя отрицать, что продиктованные самому себе веротерпимость, отсутствие расовых и гендерных предрассудков, постоянные признания в признании прав каких угодно меньшинств имеют место. Но уж настолько вымученно и высокопарно, что невольно создается странное впечатление: если бы этому агенту чистого практического разума перед каждым поступком и высказыванием не вручалась бы судебная повестка (от самого себя, разумеется) относительно вердиктов, вынесенных высшими моральными инстанциями, он камня на камне не оставил бы от всех этих замечательных других — ленивых арабов, зарвавшихся феминисток, шумных докучливых подростков...

Но он не дает себе воли, этот рыцарь чистого практического разума, — чем и гордится, втайне ожидая признания своих великих подвигов. Поэтому он так беспощаден к проявившим слабость таким же, к не справившимся с самообузданием, ко всем тем, кто озвучил или претворил в действие свои подозрения. Беспощаден он потому, что ему в очередной раз напомнили о его собственных подозрениях, о его инопланетной удаленности от тех, кому несколько не нужно накручивать себя для проявления спонтанной приветливости, весьма немудреного, но искреннего интереса к пришельцам.

Ничего не поделаешь, эти, не мудрствующие лукаво, выглядят как-то уж больно непривлекательно с позиций метафизики (да и внутренней философии) классического

субъекта. Они скандально простоваты для того, чтобы быть примерами воплощения собственных сверхзадач. Беседуют себе о футболе за кружкой пива, неподдельно восхищаются Роберто Карлосом и Михаэлем Шумахером, взаправду демонстрируют дружеские подначки, которые наш поборник либерализма видел только в кино у голливудских копов (и думал, что они тупо введены в угоду политкорректности). Тут же происходит и “обмен девочками”, непохожий и в то же время чем-то похожий на обмен женщинами, описанный Леви Строссом как важнейший архаический тип коммуникации.

У ревнителя прав и свобод картина действительной солидарности, в которую легко впишется и потасовка, и обмен крепкими выражениями, вызывает сложные чувства, в общей гамме, скорее всего, будет доминировать ощущение недоступности вроде бы “простенького” эталона. Во всяком случае, свои идеалы расового мира и торжества освобожденного пролетариата мыслящий субъект тут никоим образом не опознает. То ли дело политическая солидарность в рамках газетно-журнальных статей, телепередач или хотя бы совместных пикетов...

Для описания происходящего добрую службу может сослужить важное различие, встречающееся у Канта во всех трех “Критиках”. По Канту устройство трансцендентального субъекта дает возможность схватывания фигур пространственного континуума и некоторых одновременностей в качестве непосредственных данных опыта. Однако логические связи и причинно-следственные зависимости постигаются лишь путем подведения под схему: они не имеют характера непосредственной данности. Таким образом, законность действия трансцендентальных схематизмов не опирается ни на материю опыта, ни на ее

психологические корреляты (на которые опирается, например, восприятие фигуры или эффект внеположности). Непосредственное усмотрение того, что постигается нами опосредованно, вообще говоря, возможно, полагает Кант, но “для рассудка иного, чем наш”¹. Для нас же подобная трансцендентная эстетика автоматически оказывается в сфере мистики или чуда.

У описываемого Кантом субъекта максимы практического разума похожи на умозаклучения теоретического разума, похожи как раз тем, что осуществляются независимо от морального чувства или вопреки ему, при том что моральное чувство у Канта вообще проблематично. Здесь, однако, вполне был бы уместен ход по аналогии — апелляция к иным возможным мирам морального чувства, к мирам, где наше императивное и схематическое обладает статусом простой очевидности. Допустим, что у нас нет достоверного знания о том, как могут быть устроены эти миры изнутри (да и откуда его взять?), возможны лишь предположения. Скажем, один из таких миров конституируется не императивно продиктованными самому себе поступками, а чувственной регуляцией поведенческих сбоев, когда ложное, искусственное поведение воспринимается как фальшивая нота, которая автоматически заставляет поморщиться².

При всей затейливости современных метафизических дискурсов умозрительный характер важнейших моральных императивов так и не стал предметом удивления. Как для теоретиков, так и для прямых апологетов открытого общества “корректное” поведение индивида в обществе

¹ См.: Кант И. Соч. Т. 3. М., 1963. С. 147–155.

² Такой мир я попытался описать в работе «Партитура неслышимой музыки». См.: Секацкий Александр. Прикладная метафизика. СПб., 2005.

безальтернативно обеспечивается схематизмами. Я бы сказал, что так, во всяком случае, дело обстояло до недавнего времени. Однако с возвращением носителя прямой чувственности картина меняется: можно сказать, что ряд схематизмов опустился из сферы заданности в сферу данности. Идеологами и теоретиками этот факт пока не замечен, ибо зарегистрирован он в плоскости онтического, и “сейсмические волны” не дошли еще до онтологического представительства. Проницательные философы не уследили за обновлением *common sense* — английское значение данного термина, соединяющее в себе “здравый смысл” и “общее чувство”, в нашем случае особенно важно¹. Героический характер целого ряда гражданских добродетелей уходит в прошлое, уже давненько не требуется метафизического разбега для преодоления расовых барьеров и гендерных препятствий.

Итак, аналитики не заметили позитивного аспекта повышения статуса первого встречного, а именно утверждения спонтанной приветливости как чувственной основы интерсубъективности. Да, эта приветливость и в самом деле неглубока, зато она лишена экзальтации, селективности, капризности, она априорна в том значении термина *a priori*, который указывает на отсутствие самопринуждения. Дружелюбие нового человека (зовите его хуманом, если хотите) не имеет характера волевого акта и, таким образом, не засчитывается самому себе в заслугу.

¹ Эти проницательные философы очень уж напоминают Зоркого Сокола из анекдота. Прославленный своей проницательностью вождь краснокожих тоже, как известно, не пал духом, когда его заперли в сарае на самый надежный замок. На четвертый день Зоркий Сокол заметил, что в сарае нет одной стены. Так что у теоретиков гиперподозрительности еще есть время оглядеться по сторонам.

Отсюда проистекают некоторые неожиданные следствия. Важнейшим из них является “эффект неподдельности”, по своим социальным последствиям превышающий “эффект изощренности”. Когда подозрительные субъекты, вдохновленные просвещением или просто смирившиеся с его неизбежностью, обустривают дружелюбие с такими же кропотливыми усилиями, с какими китайский крестьянин расчищает рисовое поле, другие бдительные субъекты весьма обоснованно указывают первым субъектам, что на таком поле не произрастет никакого доброго урожая, поскольку все силы уйдут на расчистку.

Отчаявшиеся просвещенцы, надорвавшись от тяжелого труда обустройства дружелюбия, тут же впадают в другую крайность (подобная переменчивость субъекту в высшей степени свойственна) и заявляют, что одностороннее, опережающее дружелюбие не достигает цели, оно всего-навсего является превращенной формой малодушия. Радикальные выводы, впрочем, озвучиваются нечасто, поскольку они перечеркивают все аскетические усилия смирения и аннулируют шкалу заслуг, учрежденную рес-сентиментом. Обычно просто модулируются пессимистические вариации насчет новых варваров, которые непременно сочтут радушие за слабость.

Действительно, всякая обустроенная, напускная лояльность воспринимается как слабость — просто потому, что она и является слабостью. Субъект, не доверяющий сам себе, вряд ли завоюет доверие другого. Зато неподдельная, пусть даже совершенно элементарная приветливость нового человека, совершенно непостижимая для Л-сознания, отнюдь не выглядит слабостью — напротив, она есть сила, с которой приходится считаться. Это та самая вещь сила неведения, что способна вызывать рефлю-

рацию у искушенных субъектов, способна содействовать перерождению цинизма в наивность. Производит она впечатление и на варваров, притом впечатление обезоруживающее. Именно так: встречающая изворотливость настораживает, она активизирует работу подозрения, а вот неподдельная доброжелательность обезоруживает, заставляет подозрение подозревать само себя.

Несгибаемая наивность элементарного морального чувства оказывается более надежным бастионом против носителей сохраненного трансцендентного, чем экзальтированная решимость левых интеллектуалов. Любопытно, что истерическая позиция Андре Глюксмана и прочих камикадзе политкорректности защищает интересы трансцендентного не менее надежно, чем герменевтическое усилие или каббалистическая практика, только это интересы “чужого трансцендентного”. Для того чтобы упразднить трансцендентное измерение вообще, по крайней мере, для того чтобы его ослабить, необходимо зрение без подозрения, а этому искусству лучше учиться у Микки-Мауса, а не у Фрейда. Надо ждать пришествия непорочных судий, приглашенных Платоном в идеальное государство. Попробуем задуматься, чем так очаровала и продолжает очаровывать гражданское общество формула Вольтера “Я не разделяю ваших убеждений, но готов отдать жизнь за ваше право их высказывать”. Ведь здесь речь идет о своеобразном кодексе самураев от либерализма, предусматривающем к тому же подробно градуированную шкалу заслуг.

Перед нами антитезис фанатиков всех времен. Например, русских революционеров, поставивших идеалы Просвещения на опустевшее после смерти Бога место: “И как один умрем в борьбе за это”. Теоретики открытого общества зашли еще дальше в логике подмены, про-

изведя рефлексивное удвоение: “Умрем за тех, кто умрет в борьбе за это, пусть даже *это совсем не то* и борьба идет с нами самими”. Вот чем воистину озабочен субик, почитающий себя современным философом, и хуматон мог бы ответить ему словами Чжуан-цзы: “Не пора ли перестать печалиться о тех, кто печалится о чужих печалях?” В свойственной хуматону манере это звучало бы более лаконично: не парься. Ведь убеждения — не та вещь, ради которой стоит убиваться, есть много других, куда более важных вещей, — так что не дай себе засохнуть.

Контекст Другого, утвержденный европейской метафизикой, это, по существу, контекст страшилок, иногда даже буквально сопровождаемый рефреном “в темной-темной комнате”. Обратимся, например, к трактату Сартра “Бытие и ничто”, где введение темы Другого сопровождается метафизическим придыханием: “Я постигаю взгляд другого в самой глубине моего действия, как затвердевание и отчуждение моих собственных возможностей. Например, потенциальность темного угла становится данной мне возможностью спрятаться в нем от одного того факта, что другой может перевести ее к своей возможности осветить угол своим карманным фонариком”¹. Так и кажется, что Другой перехватит наш затаившийся взгляд и закричит страшным голосом: “Отдай мою руку!” Таким со времен Просвещения и оставался удел субъекта — трепетать перед пришельцами из другого мира, из мира других. Безусловно, это удел промежуточности — страдать от самопротиворечивости, от неустраимых расхождений между данностью и заданностью. Сартр прав, требуется немалое мужество для того, чтобы видеть свою собственную воз-

¹ Сартр Жан Поль. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М., 2000. С. 286.

можность как реализованную, и притом непоправимо реализованную, — а ведь скоростные скользящие обмены учреждают новый тип конвертируемости присутствия, присутствия, избавленного от хронических осложнений. И вот, пока субики продолжают предаваться отчаянию от невозможности подобрать ключик к загадочной душе другого, их дети всех цветов радуги, прямодушное поколение Транспарации, обмениваются собранными этикетками-упаковками, новостями (в особенности музыкальными), впечатлениями от футбола и компьютерных игр — и нельзя не отметить бескорыстности и подлинности этих обменов. Ведь они не заботятся о сохранении права *copyright* как неопременного представительства субъекта, им чужды навязчивые страхи быть перепутанным с кем-то другим. Опыт мимолетных идентификаций, полученный в тех же компьютерных играх, показывает, что при встречах и расставаниях другой не потребует назад свою руку».

Здесь мы вновь прервем господина Аутисто, который по мере развертывания критики субъекта все яснее дает понять, что речь идет о самокритике. Ничего удивительного, ведь позиция внеположности субъекту недостижима путем интеллектуального трансцендирования: любой дискурсивный мостик, в какую бы территориальность он ни был переброшен, означает расширение субъектности. Только срыв дискурсивности и прекращение практики подозрений дает шанс метаморфоза, в результате которого на свет может появиться хуматон.

Все кризисные явления связаны с промежуточным состоянием «недопросвещенности»: бытие между субъектом и хуматоном или даже от субъекта к хуматону преисполнено зримыми знаками порчи и нечистоты, усиливающимися по мере приближения к аттрактору, к новой сингулярной

точке устойчивости. Но достижение этой точки странным образом расставляет все по своим местам и даже обнаруживает неожиданные преимущества. Наиболее точное описание такой метаморфозы можно найти в книге Левит Ветхого Завета: «Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику; священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его; и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже, и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое; он чист» (Лев. 13; 9-13). Ну прямо один к одному написано о сникерснутых и хуматонах! Когда уже некуда клейма ставить, чтобы заклеймить презрением *выродка*, не сумевшего воспользоваться почти ничем из багажа высокой культуры и изощренного разума (из арсенала субъекта), оказывается, что в этом гомункулусе, в этом продукте Транспарации обозначилось собственное обретенное достоинство — и как обозначилось!

Придется согласиться с Транспаро Аутисто, что очевидным моментом силы становится обретенная безыскусность веры, сопоставимая с искренностью веры первых христианских общин. Пусть неоязыческий пантеон лишен мистической аффектации, пусть новый Олимп не слишком возвышается над землей, ему недостает заоблачного парения, которое поддерживалось бы напряжением предельного чаяния, — твердость веры заветам, обещаниям своего Йюксты впечатляет и действительно обезоруживает. Обезоруживает в том числе и исламистов, успевших

привыкнуть к мерзости духовного запустения, царящей в ПСК. Вера, истощенная манией наглядности, порушенная разгулом репрезентаций, еще вчера заставляла непредвзятого священника заключать о нечистоте, о «паршивости» ее верующих по инерции приверженцев. Но парша прогрессировала, и вот теперь священник с изумлением вынужден объявить больного вторично чистым, «потому что все превратилось в белое; он чист».

Подтвердилось хорошо известное положение о том, что жизнеспособность веры определяется не простором для толкований — найти его задача не такая уж и трудная, — не степенью интеллектуальной проработки ее исходных символов, а прежде всего верностью верных, приверженностью общины исходным заповедям, какими нелепыми они ни казались бы изоциренному разуму. Косноязычность основоположников и пророков, как правило, не мешала распространению культа — вплоть до эпохи Возрождения, когда и произошла первая мутация: возникновение мощной и самодостаточной риторической составляющей, в значительной мере определившей идеологию Просвещения¹. Впрочем, с тех пор риторическая часть *credo* просвещенного разума была значительно сокращена, преимущественно за счет «аргументов», за счет того, что касалось обоснования основоположений исходного экзистенциального выбора. В области практической политики последние лет

¹ Любопытно, что Августин в «Исповеди» среди причин быстрого распространения христианства указывает и на засилье риторики в Риме времен упадка (см. Кн. 4–5). Риторика сублимировала всю вещную силу языческих культов. Через тысячу лет подобная напасть объявилась и в самом христианстве со всеми вытекающими отсюда последствиями. Адепты позабыли мудрое ветхозаветное предупреждение: «Сокрытое принадлежит Господу, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего» (Втор. 29; 29).

пятьдесят востребовались преимущественно разрозненные фрагменты, произносимые на манер заклинаний: о правах человека, о непреходящих ценностях демократического выбора, etc. Под убаюкивающие звуки этой колыбельной и шла интервенция верных рыцарей чужого трансцендентного, в данном случае — поборников ислама. Ситуация начала меняться лишь после следующего шага редукции, результаты которого было доверено озвучить уже не политикам, а пророкам бога Йюксты и новым культурным героям вроде Микки-Мауса. Образцом тут может служить священное косноязычие Йоды, одного из главных персонажей эпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны»:

«Размер не имеет значения. Взгляни на меня. Оцениваешь меня по размеру, а? М-да... Этого делать не следует. Ведь Сила есть союзник мой. Могучий союзник это. Жизнь порождает ее, расцвет жизни дает она. Ее энергия окружает и связывает нас. Вокруг себя ты должен чувствовать Силу. Здесь, между мной... тобой... деревом... камнем... повсюду! Даже между кораблем и берегом должен чувствовать ты ее!»

Вот как описывает Йоду философ Джеролд Абрамс: «Всего в несколько футов ростом, зеленый и длинноухий, ковыляющий, опираясь на специальную палку, Йода кажется безвредным... даже глуповатым. И Люк с трудом может себе представить, что это маленькое неуклюжее существо — величайший воин-джедай (хотя не война делает великим, как позднее замечает Йода). С точки зрения Люка, чей взгляд на природу вещей все еще *замутнен*, Йода попросту *слишком мал*, чтобы быть джедаем»¹.

¹ Абрамс Дж. Техногенная галактика: Хайдеггер и философия техники в *Звездных войнах* // *Звездные войны и философия*. СПб., 2007. С. 107.

Столь же мал и невзрачен безупречный мышонок Микки. Да и Гарри Поттер, заставивший отступить Сами Знаете Кого, тоже всего только ребенок. Но как раз безыскусность, неиспорченность, *незамутненность* рефлексией и составляет их силу. И если Поттер не повзрослеет, *сила* *пребудет* с ним. Главное, что пророки Йюксты хорошо усвоили лапидарные чудодейственные реплики Ветхозаветного Бога: «хорошо весьма» и «сие есть мерзость предо мною». В новой редакции формулы силы, не требующие дополнительных объяснений, звучат примерно так: *это круто* и *полный отстой*.

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ

Рассмотрим теперь подробнее преобразования чувственной сферы, общее направление которых можно определить однозначно: дрейф в сторону конвертируемости чувственного (эротического) в другие дискурсы символического, экспликация языка чувственности в качестве одного из рабочих языков Плоско-Субъектного Континуума. Тут тоже прослеживается стадия «ритуальной нечистоты», сплошных сбоев и недоразумений, — и предположительная идеальная стадия, когда субъект «вновь чист». Чист и устойчив, поскольку подменен в качестве субъекта. Стратегия выравнивания вершин и засыпания ям-провалов не обошла стороной и сексуальное измерение человеческого; при этом сказались и общие закономерности синтеза новой имманентности и особенные коллизии, вызванные попытками *просветить* чувственность. Соответствующую задачу решала еще греческая эпимелея¹, но ее опыт гармонизации человеческой природы не слишком пригодился, в частности из-за интенсификации чувственности под влиянием христианства. Работа Просвещения в этом направлении долгое время оставалась едва ли не наименее успешной, что и констатировал Фрейд, великий критик Просвещения и в то же время один из его самых полезных сотрудников. Исходным пунктом психоанализа, говоря вкратце, стала всякий раз обнаруживаемая некогерентность *libido* и *ratio*, отсутствие имманентных переходов между этими инстанциями — принципиальная неконвертируемость умопостигаемого и «страстно желаемого».

¹ См. уже упоминавшиеся работы Мишеля Фуко.

То есть опять же, с одной стороны, имелась общая несовместимость сущностных проявлений субъекта вообще, закрепленная бинарными оппозициями всех, говоря словами Кассирера, символических форм. Еще до психоаналитической реформы чувственного была провозглашена эпистемологическая революция Декарта, утвердившая идеал ясного, отчетливого, а главное, когерентного на всем протяжении знания, сводимого в континуум *ratio*. Этот идеал, лежащий в основе любой феноменологии, преодолевал и продолжает преодолевать сопротивление материала, хотя обретенный в виде «истины-light» *результат* лежит далеко в стороне от феноменологических проектов. Подобная же двойственность или, лучше сказать, полярность была характерна и для социальной среды (в частности, для гражданского общества), расщепленной, согласно Гегелю, на *Weltordnung* и *Weltlauf*. Эротическое же вообще двусмысленно по определению, оно и в идеале, т. е. в предельной эротической утопии, задается набором несовместимостей, которые в своей «чистой», дискурсивной форме, без чувственного коррелята, предстают как сплошной абсурд. Например, несовместимость женского (соблазняющего) и материнского (облагораживающего) начала, несовместимость Я и Оно, светских принципов *comme il faut* (или, скажем, увлеченности сутью дела) и тайных декольтеологических языков, собственно, безбрежной сферы кокетства...

Все эти (и многие другие) несовместимости совмещаются, благодаря чему и возникает любовь во всей ее неизымаемой полноте, самый уникальный по характеру своей процессуальности феномен во Вселенной. Любая физическая экзemplярность в подобных условиях подверглась бы аннигиляции задолго до критической массы несовме-

стимостей, она не могла бы быть даже описана. Аналогом любви в мире физических явлений было бы «горячее мороженое, которое для пушей сладости требуется посолить». Исключено такое нагромождение несовместимостей и для живых организмов, ибо оно явно несовместимо с жизнью. И только субъект, этот высший род бытия, несмотря на погруженность в среду аннигиляции, пребывает, как говорят англичане, «still in one piece». И великая заслуга Фрейда в том, что он все же справился с описанием «горячего мороженого», не стал пасовать перед неопишуемым и предложил вразумительный язык для регистрации феноменов, исключительно далеких от умопостигаемости.

Благодаря Фрейду самоотчет субъекта о своих желаниях утратил традиционную и, казалось бы, непреодолимую иносказательность, когда ответ на вопрос «Скажи, чего хочешь?» определялся правилами риторики (например, моральной риторики), а не экономией аффектов. Мы и сейчас редко способны высказать то, чего нам хочется, если в дело замешано либидо. Вместо этого мы хотим того, чего хочется, а говорим то, что говорится. Но успехи в точности самоотчета налицо. Отталкиваясь от достижений психоанализа (как когда-то математика от достижений Евклида), Жан Бодрийяр пишет: «Перверсивное желание — это нормальное желание, внушаемое социальной моделью. Если женщина не подвластна аутоэротической регрессии, то она уже не объект желания»¹. Разумеется, социальная модель желания, выражающая чувственную связь субъектов, а не просто агентурную связь агентов чистого практического разума, «учитывает» всю подозрительность, присущую субъекту по определению. Но одно дело — учет, необходимый для действующей жизнеспособ-

¹ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 208.

ной модели, а другое — отчет, долгое время бывший крайне запущенным. Здесь дешифровка оказалась посложнее расшифровки египетских иероглифов: «Женщина бывает вполне собой, а значит, наиболее соблазнительной тогда, когда принимается любоваться прежде всего сама собой, не желая никакой другой трансцендентности, кроме своего собственного образа»¹.

Упоминание о трансцендентном в данном контексте не просто уместно — мы имеем здесь дело с одним из первоисточников трансцендирования вообще. Полагание трансцендентного происходит не только внутри умопостигаемого как некий предел постижимости. Трансцендирование есть обусловленность потока происходящего разными полюсами, так сказать, «послойность» происходящего, которая для своей регистрации требует интеллектуальных усилий, — при том что регистрация имеет форму объяснения, которое ничего не объясняет, то есть форму парадокса. Трансцендирование обнаруживает себя как перекрестное причинение вполне рядовых поступков. Понятность таких поступков или поведенческих актов не вызывала бы вопросов, если бы они были нанизаны на одну причинную цепочку, но всякий раз явочным порядком вводится союз «и» (скромность и прозрачное платье), в результате чего понятность тут же исчезает, оказывается иллюзией понятности, зато соответствующие феномены обретают измерение *daseinmassig*, становятся явлениями, в которых субъект опознает себя. Существуют принципиальные зоны трансцендентного, непроницаемые для Л-сознания и стратегий хитрости разума, — апофатическая непостижимость Бога, не укладывающаяся в порядок творения, моральные идеалы, не тускнеющие от ежедневной эмпи-

¹ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 208.

рической фальсифицируемости, измененные состояния сознания, в том числе и священные, переход в которые не мотивируется нитями причинности, сплетающими ткань Weltlauf.

Но юная девушка, примерная послушная дочь и мать будущего героя, самозабвенно ласкающая себя перед зеркалом, обнаруживает такую же очевидность (и непостижимость) трансцендентного, какую обнаруживает и всемогущий Господь своим участием в мирских делах. Во всеобщей экономии либидо подобные провалы обнаруживаются как слепые пятна, уже упоминавшиеся зоны тесconnaissance. После выявления Фрейдом эдипова комплекса Ференци Анна Фрейд, Мелани Кляйн и Лакан отследили изнанку самой изнанки, комплексы Электры и Иокасты, когда не только младенец использует мать как первый, еще недифференцированный сексуальный объект, но и мать «эротизирует» мальчика, проявляя по отношению к нему всю амбивалентность чувства, включая безусловный сексуальный компонент, даже если она и не практикует буквальную игру с гениталиями, как полагала Мелани Кляйн.

В этой удивительной реальности, создаваемой перекрестным причинением взаимно трансцендентных желаний и мотиваций, проблема наблюдателя стоит не менее остро, чем в квантовой реальности. Со времен Бора и Шредингера важнейшей загадкой физики микромира считалась тайна регистрирующего прибора, когда факт регистрации события решающим образом учреждает новое положение дел, раскладку мира де-факто. *Познанное* бытие меняет свой онтологический статус, при этом «простое измерение» оказывается несравненно более результативным, чем рутинные физические взаимодействия. Подоб-

но квантовой механике, экономия либидо вводит в такой регион происходящего, где гарантированная самой себе экзemplарность, единство сущего, застрахованное от преобразований в результате самоотчета, является скорее исключением, чем правилом. Диалектика вредного знания, столь занимавшая Сократа и Платона, с новой силой обозначилась в дискурсе психоанализа, причем не только как феномен отреагирования (познать — значит избавиться). Приобщение к сфере самоотчета, к имманентному строю умопостигаемого важнейших трансцендентных разрывов, приводит к необратимым изменениям в эротической составляющей бытия, общим итогом которых является *падение мерности*, размывание среды, пригодной для субъекции. Термин *интеллигибельность*, благодаря скрытым аллитерациям русского языка, как нельзя лучше выражает суть происходящего. Только недоговоренность дает жизнь важнейшим феноменам, полный отказ от нее интеллигибелен для субъекта.

Союз «и» в универсальной формуле соблазнения «скромность и прозрачное платье» должен быть оставлен как есть, без приведения к какой-либо умопостигаемости. То есть — оставлен непостижимым. Даже всевидение как высшая точка эротической утопии должно содержать в себе эпистемологические разрывы, о чем совершенно справедливо пишет Лакан: «Зрелище мира в этом смысле оказывается всевидением. Фантазия находит подтверждение в перспективе абсолютного бытия Платона, которое трансформируется во все-видимость, видимость отовсюду. На предельном горизонте опыта созерцания мы находим этот аспект все-видения в самоудовлетворении женщины, которая знает, что на нее смотрят, при условии, что смотрящий не знает, что она знает, или не показывает этого.

Мир во всевидимости, но не в эксгибиционизме — вот абсолютная приманка для взора (gaze)»¹.

В данном случае перемены, вызванные вмешательством прибора-наблюдателя, означают некую катастрофу в сфере символического. Можно сказать, что формирование ПСК возможно лишь в результате такой катастрофы, когда экономия либидо вновь стабилизируется на более низком, но зато транспарантном уровне. Но не будем спешить. В порядке исследования превратностей обратимся к порнографии и порноиндустрии, поскольку их судьба чрезвычайно выпукло отражает суть происходящих и в значительной мере уже происшедших перемен.

Порнография предстает как невротический и даже психотический фактор для философии — неудивительно, что на протяжении столетий метафизика предпочитала держаться в стороне от опасного предмета, отделяясь заявлениями о том, что «все прекрасное трудно», и призывая изо всех сил противостоять вожделениям. Приходится признать, что в порнографии философия видела опасного конкурента — не отдавая себе отчета, в чем именно состоит опасность.

Впрочем, все вышесказанное относится к классической философии, которая для здравого смысла продолжает репрезентировать философию вообще. Пожалуй, неклассическая философия и начинается с некоторого момента утраты целомудренности: сфера умопостигаемого лишается своей привилегированности и зоны контактного проживания, где тело является главным аргументом, перестают быть запретными территориями для философии. Критический запал Маркса, Ницше и Фрейда странным

¹ Lacan J. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. N. Y., 1978. P. 75.

образом способствовал расширению юрисдикции философии, и это расширение стало прежде всего вторжением теоретического разума в сферу сексуальности. В ходе вторжения были разрушены сторожевые бастионы цензуры и успешно преодолены рубежи постыдного — темы, ранее запретные для обсуждения, превратились сначала в «деликатные», требующие хотя бы краткого оправдания, а затем и в академические, приспособленные для университетского преподавания. Именно так разворачивалась последовательность освоения: конфиденциальный разговор у психоаналитика переходит в публичный разбор соответствующей *девиации* или просто «проблемы»; сегодня диссертации типа «Женский оргазм как модель постиндустриального общества» встречаются, пожалуй, даже чаще, чем исследования, посвященные различным аспектам познаваемости мира.

И все же, при всей свободе обращения с производными Эроса, трактовка порнографии остается привязанной к моральному сознанию — что мешает постигнуть истинный масштаб явления. Проявляется это, прежде всего, в неустранимости оценочной характеристики — порнография предстает как очевидное зло, например как отпадение от *высокой эротики*, уступка низменному началу человеческой природы. Проблема разграничения эротики и порнографии и по сей день остается излюбленным упражнением теоретиков Эроса и разного рода экспертов — как будто вычислив точные очертания *порока*, мы сможем отнять у него спасаемую или даже спасительную часть, что позволит обезвредить разрушительный заряд сгустка темных вожделений... Великая утопия управляемого механизма оргии, противоречивая в самих своих основах, похожая на задачу *вывести* такой огонь, который был бы способен

обогревать жилище и готовить пищу и принципиально неспособен устроить пожар.

Во всяком случае, существует устойчивое представление, что, если бы человечеству удалось ликвидировать кормовую базу порноиндустрии, оно бы ничего не потеряло, а наоборот, только выиграло бы. Речь, разумеется, идет не о внешних запретах, а о просветлении чувственности, о прополке сорных участков вожделения — полное падение спроса на продукцию порноиндустрии представляется не просто чем-то желательным, но несомненным благом. Именно этот тезис следует поставить под вопрос.

Согласно Фрейду, порнография в качестве самостоятельного феномена возникает в результате отклонения при выборе объекта. Отклонение либидо орошает дикорастущий сад фетишизма, но правильный дренаж, если о нем позаботиться, приведет к засыханию и отмиранию сорняков — при этом полнота сексуальности и вообще чувственности как минимум не пострадает.

Между тем как раз избыточность сексуальной активности, ее принципиальная неукротимость, обеспечивает резервуар энергии для символического производства: *сама возможность злоупотребления является надежной гарантией того, что источник не оскудеет*. Все важнейшие человеческие феномены основываются на подобной подстраховке. Открытие Витгенштейна состояло в том, что множество человеческих заблуждений, в том числе и пресловутые великие вопросы, возникают благодаря *праздности языка*. «Если мы говорим о чем-то как о теле, при том что тело отсутствует, мы имеем дело с идеей духа»¹. Благодаря возможности злоупотреблений то и дело образуются паразитарные существительные: в мире самом по

¹ Витгенштейн Л. Философские работы. Часть 1. М., 1994. С. 165.

себе отсутствует, например, *быстрота* (скорость) — есть лишь нечто быстрое, но язык позволяет нам тематизировать в качестве отдельной единицы любое свойство, неотделимое от своих носителей. Идет непрерывная игра пустых означающих, в результате чего то и дело появляются химеры, сбивающие нас с толку. Но одновременно с этим обеспечивается и важнейший ресурс символического производства — среди прочего философия, поэзия и даже остроумие обязаны своим существованием игре пустых означающих. Витгенштейн понял, что идеальный язык, в котором были бы устранены двусмысленности (таков был первоначальный проект Витгенштейна), оказался бы бесполезным для прибыльных инвестиций — обходящиеся таким языком не смогли бы получить никакой прибыли смысла. Роскошь мышления — это бесперебойная работа языка на холостом ходу.

Язык Эроса устроен аналогичным образом — и порнография есть безошибочный показатель его способности работать на холостом ходу. Следует задуматься над тем, что именно порнотексты (включая и видеоряд) демонстрируют великую истину человеческой сексуальности — возможность быть соблазненным без соблазняющего. Соблазненность не субъектом, а самим соблазном, таков индикатор жезнеспособной культуры, чудесный мостик, соединяющий телесное (гормональное) и символическое. Многозначность латинского слова «рогно» («грязь», «след», «прилипание», «примесь», «утечка») указывает на факт связи между абсолютно разнородными регионами сущего, и не будь этой клейкой привязки, единство психики могло бы легко рассыпаться. Ведь психика — это способность удерживать вместе непримиримое.

Стало быть, «отлаженная» сексуальность без порнографии — это даже не роза без шипов, это скорее дождь без влаги. И какую бы досаду ни вызывали бесцельные пробеги на холостом ходу (они специально культивируемы порноиндустрией), все же плату нельзя назвать чрезмерной. Ибо погасшая лампочка индикатора свидетельствует о несравненно больших потерях. Когда культура утрачивает способность безнаказанно выращивать цветы зла, она лишается и потенциала для производства человеческого в человеке. Спрос на непристойное, последовательность поз, тиражированная в бесконечности видеоряда и «искажающая» траекторию выбора объекта, парадоксальным образом говорят о некотором благополучии, которое отнюдь не гарантировано само собой.

Это только кажется, что о порнографии нет смысла беспокоиться и ей ничего не угрожает («к сожалению» — добавляют моралисты). Как раз оскудение казавшегося неиссякаемым источника представляет собой характерный и весьма тревожный симптом современности. В ПСК, где посредством транспарации устраняются перегородки иного и потустороннего, большинство пронизательных наблюдений Фрейда теряют свою обоснованность. Процесс выравнивания шел и продолжает идти во всех направлениях. Вершины самообладания, возвышавшиеся над горизонтом здравого смысла, резиденции Сверх-Я, равно как и бездонные пропасти, каждая из которых поименована в честь какого-нибудь особенного фетишизма, снабжены теперь подъемниками и лифтами: пейзаж вожделений можно созерцать, не выходя из кабины лифта, из капсулы символического. Само именование несказанного уже представляло собой труднодостижимый компромисс: достаточно задуматься о последствиях сомнительного уточ-

нения выражений «затосковал», «впал в неистовство», «ее иссушила неразделенная страсть» и т. д. Новые ярлыки, утвердившиеся наконец в ходе последовательной медицинской безумия, перекрыли слепые пятна, в некотором смысле одомашнили пугливых призраков, снабдив их инвентарными номерами и прижившимися кличками. Эпоха Великих географических открытий, начавшаяся еще до Просвещения, завершилась только с торжеством Транспарации, и завершилась она составлением подробной карты вождедений. Теперь карта растиражирована, согласно ее легенде проложены туристические маршруты и созданы навигационные приборы.

Итак, сексуальным фантазиям сегодня отказано в конфиденциальности, и уж само собой разумеется, что в конфиденциальности отказано *сексуальным проблемам*. Трясины бессознательного, в которые уходили корни субъекта, подверглись основательному осушению и вообще грамотной мелиорации. Нетрудно заметить, что принцип взаимообозримости и досягаемости любой точки континуума — основополагающий для ПСК — в полной мере проявляется в чувственной сфере. Прозрачность инвестиций либидо заметно опережает прозрачность собственно финансовых инвестиций, хотя и то и другое находится в одном русле — в общем русле транспарации. Сфера реформированной чувственности, успешно внедряемая взамен темной чувственности субъекта, освобождается от перверсивности, преимущественно за счет легитимации большинства отклонений (исключением является лишь компонент насилия), но тем самым она заодно освобождается и от интенсивности. А значит, и от божественности: Эрос оказывается последним из низвергнутых олимпийских богов.

Процесс составления карты вожделений обнаружил любопытные параллели с проблемой автоматического перевода, которую долгое время совместными усилиями пытались решить лингвистика и теория программирования. По единодушному мнению экспертов и пользователей, существующие на сегодняшний день программы автоматического перевода совершенно неудовлетворительны. Но тут стоит уточнить — неудовлетворительны для субъекта. Уровня, который способен был бы удовлетворить субъекта, они никогда и не достигнут, поскольку субъект как некая реальность из сферы сущего обнаруживается лишь там, где отключен автоматический режим, режим автопилота. Что касается хуматона, то его достигнутый уровень передачи смысловых инвариантов вполне устраивает, а всевозможные осложнения рефлексии вообще не нужны, поскольку в принципе не считываются. Нас, конечно, интересует другой перевод — тот, что в режиме автопилота происходит как переложение смутных объектов желания, с одной стороны, в товарную форму, а с другой — в реформированную в духе политкорректности мораль. С товарным статусом продукции, производимой в ходе массовых инвестиций в сферу либидо, все в порядке. В свое время Карл Маркс, приводя примеры товарного обращения, наряду с сюртуком и *штуккой сукна* любил упоминать Библию. Доведись ему писать «Капитал» сегодня, он наверняка присоединил бы к стандартному ряду обменов «Playboy», виагру и вибромассажер. Ибо особенные регионы желания все более утрачивают свою специфику в универсуме товарооборота.

Наряду с автоматическим переводом либидосодержащих феноменов на язык товара запущены и другие стратегии редукции трансцендентного. Степень обобществления интимного в некотором смысле превзошла самые смелые

ожидания основоположников коммунизма, став простой, будничной реальностью ПСК. Всем от мала до велика доступны полезные сведения о свойствах прокладок с крылышками. Давно отправлены в отставку взывающие к трансцендентному лозунги для настоящих мужчин, что-нибудь вроде «Все на борьбу с Деникиным!» или «Долой суд Линча!». Сегодня актуальны другие призывы: «Все на борьбу с простатой!» — вот девиз сегодняшнего дня. И ясно, что ей, как и перхоти, не дадут ни малейшего шанса.

В США уже более десятка лет существуют курсы мастурбации, где под руководством опытных консультантов проходит обучение получению удовольствия от собственного тела. Мы видим, что это, традиционно «не слишком публичное», удовольствие обобществлено, национализировано и переведено в ранг национального достояния. Успешной рационализации подвергся и феномен аутоэротизма, совокупными усилиями психоаналитиков и социальных служб удалось деэвуировать его постыдную сторону. И хотя дистрибуция либидо еще не достигла той степени прозрачности, которая уже достигнута в отношении политических прав и гражданского статуса, тем не менее узлы перверсивных желаний активно распутываются, а пропасти Эроса засыпаются соломкой.

Сегодня обобществление соблазна уже достигло некоего предела, обозначенного уровнем «don't touch!». Видеоряд транслирует соблазнение и наслаждение без купюр, купировано лишь возможное вмешательство непредсказуемого субъекта.

Подводя в этом пункте промежуточные итоги, можно сказать следующее. Европейская цивилизация (а значит, и формация субъекта вообще), достигшая во времена Фрейда зенита своего могущества, обладала в числе прочего и максимальной разностью потенциалов между по-

люсами Эроса — наивысшей Потенции, достаточной и для напряженной сублимации в сфере символического, и для поддержания некоторых трансцендентных высот — чести, virginity, «бремени белого человека», ну и не в последнюю очередь для производства сугубо энергозатратных перверсивных желаний. Частная собственность в экономике, гражданское достоинство в сфере *Mitsein*, непроницаемое для первых встречных, равно как и приватность проявлений либидо (принципиальная персональная адресованность соблазняющей женственности), позволяли удерживать иерархию *Weltordnung* в неприкосновенности. Ни экзистенциальный минимализм, ни провоцирующая беспомощность «других» — маргиналов, аутсайдеров, «мирового пролетариата» — не могли до поры до времени сокрушить бастионы республики субъекта, ставшей когда-то приемницей Царства Господина. Но агенты Просвещения работали неустанно, осуществляя свою диверсионно-подрывную миссию, — как если бы программа самоуничтожения была записана в формуле субъекта изначально.

Сегодня особенно заметно, какую важную роль в успехе их миссии играет транспарация сексуальной сферы, демонтаж препятствий на пути свободной циркуляции либидо. Выпрямленные перверсии легли на алтарь Прогресса, как остриженные волосы Самсона. Более чем успешный литературный проект Руссо, его знаменитая «Исповедь», в сокращенном и адаптированном виде стала сегодня чем-то вроде общеобязательной анкеты, подлежащей компетентному обсуждению коллектива — обсуждению открытому, демократичному, в духе анализа сравнительных преимуществ прокладок с крылышками и вибромассажеров.

Вслед за успешной сексуальной революцией на повестку дня встала бисексуальная, а затем и асексуальная

революция. Все это служит дополнительным основанием, чтобы поставить вопрос: а могут ли в мире истощиться ресурсы субъектности примерно так же, как это происходит с энергетическими ресурсами и запасами полезных ископаемых? Данная монография как раз и призвана дать положительный ответ на этот вопрос и привести соответствующие основания. Сейчас уместно вновь окинуть взглядом основные субъектообразующие ресурсы.

Базисными элементами являются разного рода утаивания, которые лучше всего описываются как шпионологические конструкции. Эти конструкции, подобно распоркам, вставлены во все измерения и пласты залегания субъектности. В сфере сексуальности их особенно много, и возможно, что значимость эротического для самоопределения субъекта определяется не только и не столько силой базисного влечения, сколько удобством размещения двусмысленностей, которые в совокупности и образуют поле смысла. На важнейшую субъектообразующую роль сексуальности указывает и Сартр: «Несомненно, что все конкретные действия (сотрудничество, борьба, соперничество, ангажированность, покорность) столь трудны для описания, так как они зависят от конкретной ситуации и особенностей каждого отношения формы Для себя к другим — но все они содержат в себе в качестве своего скелета сексуальные отношения. И это не по причине существования некоего “либидо”, которое повсюду присутствовало бы, но просто потому, что установки, которые мы описали, являются основными проектами, которыми Для себя реализует свое бытие-для-другого и пытается трансцендировать свою фактическую ситуацию»¹.

¹ Сартр Ж. П. Бытие и ничто. М., 2000. С. 420.

Фигуры соблазна создают напряжение, побочным результатом которого являются и возможная фрустрация, и даже невроз, подобно тому как перегрев может быть побочным результатом работы двигателя (при том что перегрев будет надежным индикатором того, что двигатель все-таки работает). Универсальный принцип шоу, вобравшего в себя стриптиз, варьете, элементы спорта, балета и даже политической манифестации, пришел на смену многоярусной декольтеологии. Новая торжествующая политика состоит в деприватизации *sex arreal*, в демократизации «соблазнения», адресуемого теперь *urbi et orbi*, а не потенциальному избраннику, пусть даже им окажется любой. Этому избраннику теперь следует знать, что он не сможет монополизировать и приватизировать эротическую манифестацию желанного тела (неважно, что это тело принадлежит его супруге и уж тем более *girl friend*), подобно тому как и государство не вправе посягать на неотчуждаемые права личности. В данном случае таким новообретенным неотчуждаемым правом является право отчуждать на всеобщее обозрение (при соблюдении категорического императива «*don't touch*») свои данные богом прелести, рассчитанные на посюстороннее воздаяние. В какой-то момент стало ясно, что нет необходимости ограничивать себя, уступая требованиям противоречивой фаллоцентрической цензуры.

Поскольку отношения с первым встречным в условиях ПСК служат образцовой моделью межличностной коммуникации как таковой, вполне естественно, что сфера эксклюзивных привилегий «партнера» сужается, а в идеале и специально оговаривается, включается в реестр взаимоприемлемых конвенций, в расширенный брачный контракт. В целом же брачный контракт становится все более важной

частью социального контракта (общественного договора), ибо в нем теперь вполне эксплицитно устанавливается, какие права делегируются образуемому субъекту (семье), а какие остаются неотчуждаемыми. Установка, провозглашенная и поддержанная в свое время психоанализом, — *лучше говорить, чем комплексовать*, прочно вошла в практику матримонального поведения на передовых рубежах ПСК. Типовым бланком для модернизированных брачных контрактов становится перечень услуг проститутки, где все выражено эксплицитно и максимально прозрачно: оговорен каждый тип проникновений (контактов) и прикосновений, прейскурант, исключаящий какую-либо двусмысленность, позволяет даже сохранять собственное достоинство. Как говорит героиня одного из голливудских фильмов: «Я делаю все, только не целую в губы». Теперь и женщина, заключающая брачный контракт, имеет право (в том числе моральное право) на столь же подробную регламентацию, только распространяющуюся на всю территориальность совместного проживания.

Этому можно найти множество подтверждений. Впечатляет, например, эпизод из популярного романа Люси Коутридж «Любовь без него». Там девушка Кэт, студентка, с легкой завистью наблюдает за своей подругой Сьюзи, собирающейся на свидание.

Сьюзи достает из шкафа новые туфли, долго выбирает трусики — и по мере того, как продолжаются сборы, зависть проходит и уступает место недоумению. Терпение Кэт окончательно лопается, когда ее подруга начинает подбрасывать лобок. Происходит достойный внимания диалог:

«— Для чего ты это делаешь? — не скрывая возмущения, спрашивает Кэт.

— Ну, так будет соблазнительнее, ты не находишь?»

— Тебе же неприятно. И потом долго колется. И может быть раздражение.

— Понимаешь, Кевин мне действительно нравится...

— Ну и что? Я бы ни для кого такого не сделала. Он же не станет ради тебя красить яйца»¹.

Смысл этой вроде бы невинной иронической реплики угрожающе прост: хватит неэквивалентных обменов! Да здравствует новая экономия либидо, да здравствует равенство инвестиций! Эта новая конвенция, в случае ее окончательного принятия, подписывает смертный приговор порноиндустрии в прежнем понимании слова. Нетрудно предположить, что Кэт ни слова не сказала бы, если бы Сьюзи собиралась на собственное шоу, — ради шоу, этой новой привилегированной формы бытия в признанности, можно пойти и не на такие жертвы. Но прибегать к архаической стратегии соблазнения, реставрировать уходящую в прошлое эпоху субиков с ее наивным фаллоцентризмом — такое, конечно же, не подобает законопослушным подданным ПСК.

Схлынувшее напряжение Эроса оставляет после себя равнину, лишенную складок, в которых могли бы укрыться подозрительность и недоговоренность. Негде спрятаться, чтобы подглядывать или, наоборот, привлечь внимание вуайера. Да и как можно подглядывать за шоу? Эта демонстрация не имеет изнанки, в ней нет ничего такого, что не было бы обыграно в предъявлении. Разочарование подозрительного сознания, не получившего никаких шансов разглядеть сокрытость постыдного, коррелирует с общей универсальной самооценкой субъекта, которую можно выразить перефразированными словами Козьмы Прутков: если хочешь быть несчастным, будь им.

¹ Kougtridge L. Love without him. N. Y., 1999.

Исследование транспарированной эротики позволяет увидеть наконец в их целостности отвергаемые и уже отвергнутые модусы сублимации, брошенные задолго до их эвристического исчерпания. Прежде всего это относится к постгенитальной сексуальности и ее изощренным, многомерным стратегиям, в значительной мере инспирировавшим культурный фон двух последних столетий¹. Искусство флирта (возможно, достигшее высшей точки своего расцвета в среде советских интеллигентов-шестидесятников) оказалось утраченным в одночасье. Лишь теперь, погрузившись в поток забвения бытия, оно способно внятно поведать теоретическому разуму о том, чем оно действительно было: хрупким, но чрезвычайно плодотворным механизмом эротических обменов, в соответствии с которым риторически расцвеченный логос активировал пульсацию женской чувственности и производство фигур соблазна. Стойкая активация направленного эротического выбора женщины, не менявшегося в течение целых столетий (и сама эта неизменность была чудом, которое чудеснее любых трансформаций), поддерживала и подпитывала основные параметры культурного производства. Уникальность расширенного воспроизводства ресурсов субъектности опиралась на принципиальную несимметричность ответа, на неэквивалентный обмен, в соответствии с которым метафизическое построение, музыкальная фраза или поэтическая инвектива не были замкнуты в малом круге кровообращения среди себе подобных «логоцентричностей», а обменивались на эротические отклики, на манифестации чистой декольтеологии — на *томные взгляды*, выразительные вздохи, приоткрывшиеся коленки, в ре-

¹ Секацкий А. К. Постгенитальная сексуальность и европейская цивилизация // Метафизические исследования. СПб., 1998. Вып. 5.

зультате чего с лихвой компенсировалась недостаточная жизненность автономного символического круговорота.

По-настоящему значение этого уникального симбиоза логоса и эроса становится понятным сегодня, когда разность потенциалов растрочена и дистрибуция сексуальности осуществляется в рамках плоского эквивалентного обмена. В отличие от запретного плода, который был сладок (и еще как сладок, он обозначал сладчайшее в человеческом мире), плоды Просвещения оказались безвкусными для субъекта. Упрек Гераклита, адресованный жителям Эфеса («Вы изгнали лучших, чтобы все прочие стали равны»), вполне подходит и для агентов Просвещения, в данном случае — психоаналитиков: вы исключили из сексуальности все непостижимое, постыдное, не укладывающееся в эквивалентный обмен, чтобы усмирить стихию и сделать ее подконтрольной. Но ваша нормализованная сексуальность недостойна более называться эротикой в честь бога Эроса — ибо у нее нет богов и в ней самой нет ничего сакрального. Сфере окончательного выбора друг друга, в которой все прозрачно и рационально, больше подобает называться *фаст-факингом* — ведь даже реальность флирта для нее есть нечто недостижимое и предсудительное.

Переход от эротического потлача к строго эквивалентному обмену в сфере экономии либидо таит в себе далеко идущие последствия, вполне сопоставимые с последствиями демократизации истины и профанизации гражданского общества. В эротических обменах ПСК постепенно утверждается своеобразный принцип талиона — око за око, зуб за зуб — как это явствует и из уже упоминавшегося романа Коутридж. Короткая юбка — только в обмен на белоснежную сорочку, а если уж ему так важен под-

бритый лобок — пусть красит яйца. Принцип декольтеологической расплаты за поэтическую очарованность все чаще дает сбой, что уже вызвало кризис всех долгосрочных эротических инвестиций. Ресурс либидо, связанный короткими инвестициями и плоской конвертируемостью, непригоден для систематической поддержки большинства символических практик, он задействуется лишь для привилегированных участков духовного производства, включенного в программу транспарации, — прежде всего это многочисленные шоу и сам принцип шоу как таковой.

Постепенно *шоу* завоевывает роль универсальной формы репрезентации типового культурного продукта: не только собственно секс-шоу остаются площадками для краткосрочных эротических инвестиций, но и ток-шоу и, к примеру, «бук-шоу», успешно дебютировавшие на американском телевидении и представляющие собой чтение отрывков из книги каким-нибудь жрецом Голливуда¹. Архаизация сексуальности, точнее говоря, ее примитивизация (транспарация) лишает субъекта важнейшей экзистенциально-психологической опоры, а Европу — величайшего источника ее духовной силы, синтезированной при непосредственном участии христианства полярности постыдного и сладчайшего, сокровенного и откровенного, скромности и прозрачного платица.

Теперь уместно взглянуть на вопрос, *от какого наследства мы отказываемся*, с другой стороны. Утверждаемый

¹ Структуре шоу подчиняются и все презентации, включая и презентацию книги. Прежнее, устаревшее представление о том, что презентация книги осуществляется в тот момент, когда ее читает читатель, исподволь сменилось другой реальностью: книга высвечивается как нечто сущее, наличное в мире лишь тогда, когда она предъявлена в окна mass media.

сегодня в качестве всеобщего образца модус сексуальности имеет, так сказать, англо-саксонские корни. Этот анклав и в лучшие времена европейской цивилизации, в период неколебимого, безальтернативного господства субъекта, дальше всего отстоял от симбиоза Эроса и Логоса и довольствовался наименьшим количеством недоговоренностей.

Существовавший в течение столетий завышенный, если угодно — спекулятивный, курс Логоса по отношению к Эросу санкционировал систематический неэквивалентный обмен, когда создаваемые на мужском полюсе завитки Логоса обменивались на трансцендентные по отношению к ним производные либидо, на чувственную валюту телесности. С точки зрения просвещенного разума такой обмен явно несправедлив, и феминизм, начиная по крайней мере с Симоны де Бовуар, сделал все, чтобы выявить и заклеить исходную несправедливость¹. Действительно, констатация неэквивалентности обмена является решающей. Прочие обвинения в адрес неисправимого фаллоцентризма не столь очевидны: вековое зависимое положение женщины, ее социальная эксплуатация и политическая дискриминация могут быть истолкованы по-разному. Скажем, всегда имелись группы мужчин, более бесправные и дискриминированные, чем «сословие женщин» в целом, к тому же и в зависимом положении, что ни говори, были «свои плюсы». Но основополагающий факт никуда не денешь: предъявляемый мужчинами культурный продукт оставался в их распоряжении и в распоряжении человечества, а чувственно-эротический продукт, которым расплачивалась женщина, исчезал безвозвратно...

На первый взгляд может даже показаться, что позы соблазна (в самом широком смысле этого слова) «стоят

¹ Симоны де Бовуар. Другой пол. М., 2001.

дешевле», их продуцирование несравнимо с производством конфигураций символического, требующим аскезы, преодоления конкуренции авторствования, да и таланта, который распределен, как известно, крайне неравномерно. На деле, однако, *декольтеологические манифестации* не менее энергозатратны: красота требует жертв, и в этом огромном реестре требуемого подбривание лобка всего лишь незначительная деталь. Нельзя сбрасывать со счетов и пожизненный шрам морального самопротиворечия: ведь расплачиваясь столь своеобразной валютой за нечто, соприродное собственной душе, трудно избежать морального увечья¹. Но главная несправедливость, к осознанию которой постепенно и пришел феминизм, — это несопоставимость *суммы выигрыша* в результате совершаемой сделки. Ведь, как уже отмечалось, предъявитель Логоса, помимо эротической оплаты своего предложения, обогащает себя неким знанием и опредмеченной суммой вдохновения; его товар получает шанс длительного хранения в исторической памяти человечества.

Жесты благосклонности, которыми расплачивается женщина (а еще чаще инвестирует их в качестве предоплаты), никакой умопостигаемостью, разумеется, не обладают, в этом смысле они совершенно «глупые» (впрочем, так же, как облака или звезды). Как правило, не регистрируются и авторы вкладов, несмотря на их незаменимую роль в определении и самоопределении гениев. Исключение составляют, если можно так выразиться, *сделки, совершаемые с особым цинизмом*, т. е. крупномасштабные инвестиции оболыщания, принимающие формы

¹ Можно спорить, остается ли «шрам», если акт обмена носит разовый характер, после чего женщине приходится довольствоваться, в основном, обратной стороной медали.

тендера, — тут сразу вспоминаются Лу Андреас Саломе, Лиля Брик и те немногие «женщины французского лейтенанта», которые совершенно осознанно выбрали для своих экзистенциально-эротических вложений культурную среду, — но даже их весьма специфическая соавторская известность остается в рамках неэквивалентного обмена. Таким образом, на протяжении ряда столетий женщина неизменно оказывалась в «глупом» положении — и это при том, что она избирала ум, утонченность, сам талант как главный фактор мужской привлекательности, демонстрировала способность чувственно отреагировать на каждый завиток Логоса.

Рано или поздно подобное положение вещей должно было вызвать реакцию противодействия: требование феминизма, обращенное к самим женщинам, собственно говоря, так и звучало: прекратить одностороннее удобрение чужих огородов. Конечно, некоторые формы беззаветного инвестирования были свойственны и мужской половине — речь идет о бескорыстном поощрении женской красоты, конвертируемой в *sex appeal*, этот наиболее драгоценный ресурс вознаграждался и культивировался без какой-либо практической пользы. Общей чертой, роднящей талант с культивируемой женской красотой, то есть с аурой самой женственности, является принципиальная неравномерность и *незаслуженность* распределения, тот факт, что никакими трудовыми усилиями и никакими моральными подвигами нельзя обрести то, что больше всего ценится и поощряется противоположным полом¹. Понятно, что феминизм осудил эти «подачки сладострастников» едва ли не в первую очередь — в каком-то смысле как вто-

¹ См.: Секацкий Александр. О смертности смертных // Нева. 2004. № 10.

рую сторону медали, как важнейшее препятствие на пути к окончательной, прогрессивной транспарации.

О радикальном изменении положения вещей говорить пока рано — все-таки синтез новой идеологии есть дело долгое и весьма проблематичное. Однако отношение к принципу неэквивалентного обмена в современном феминизированном обществе безусловно изменилось: тут можно было бы говорить и о классовом сознании, но в этой роли выступает гендерная солидарность, что-то вроде описанного еще Аристофаном солидарного решения женщин «не вздымать ноги к небу» пред этими жалкими, недостойными мужчинами. В рамках общей тенденции к рациональному, контролируемому обмену вещами и символами, промежуточным уровнем «простого товарного производства» оказывается декларируемый принцип талиона (вплоть до полного подчинения эротических инвестиций денежному эквиваленту). «Дурацкое положение» женщины уходит в прошлое, окончательно разрушая при этом конвейер производства человеческого в человеке, выворачивая с корнем опорные столбы (устои) субъектности. Нельзя не отметить, что при всей очевидной утилитарной несправедливости в жертвенных инвестициях женщины (в той мере, в какой она свободна) есть справедливость высшего рода, режим максимального благоприятствования самовозрастающему Логосу. Именно к этому разряду трансцендентальной благодати принадлежит и столь восхищавшее Гегеля почтение, которое здравый смысл испытывает к науке, и готовность платить за говорящие уста, а не за слушающие уши, и еще ряд подстраховок, казавшихся избыточными, но теперь близящимися к своему исчерпанию.

Даже и в этом ряду возобновляющаяся самоотверженность эротического выбора женщины занимала особое ме-

сто. Грядки удивительно роскошных *цветов зла*, уникальные духовные формации и, можно даже сказать, целые цивилизации своим существованием были обязаны непосредственной эротической реакции на Логос. Русскую интеллигенцию, это на заре своей чахлое деревце, выходили когда-то тургеневские барышни, их эстафету подхватили затем *гимназистки румяные*, а затем верные и прекрасные подруги шестидесятников щедро дарили свою любовь непризнанным поэтам и гонимым художникам¹. Еще более ярко асимметричность эротических обменов была выражена на протяжении нескольких столетий в еврейской диаспоре — и на этом стоит остановиться подробнее.

Существует некая загадка непомерно большого вклада еврейской диаспоры в мировую культуру. Этот неоспоримый факт может быть усилителем ненависти, предметом замалчивания, но и в самом тотальном замалчивании скрывается вопиющая очевидность признания. Путь восхождения от «Йезод» (основание) к «Тиферет» (прекрасному) может быть сопоставлен только с древнегреческим логосом, но в чем-то он достоин большего удивления: ведь в равной мере блистательными оказались и включения в «приютившие» национальные культуры, и духовный вклад собственно диаспоры в ее имманентном творчестве (каббала, гематрия, Хабад, формула существования *беноним*). Именно в уникальной формуле существования диаспоры и следует искать истоки духовной мощи, а главное — духовной результативности этого народа.

Многие составляющие формулы уже упоминались и исследовались. Например, роль мессианской установки:

¹ Некоторые подробности приведены в моей работе «Тайна Кащей Бессмертного» в книге: Секацкий Александр. Сила взрывной волны. СПб., 2005. С. 5–28.

вкрапленное в материнский инстинкт ожидание Машиаха порождает исключительное по своей внимательности и специфической заботливости отношение к детям. Вдруг это Он; или Она — та, которой суждено понести в своем чреве? Соответственно, обращает на себя внимание легкость переноса мессианских ожиданий на огранку любого таланта отпрыска, воздвигание любого знака избранности. Сюда же можно прибавить неподдельное сокрушение в случае неоправданности родительских ожиданий: каждый несостоявшийся мессия виновен перед матерью. Не менее значимы последствия такой установки и для девочек, ведь им передается эстафета, они впитывают атмосферу благоговейного ожидания и учатся играть в волнующую игру узнаваний-неузнаваний.

Бесспорна роль культа знаний. Но и здесь, как в случае протестантской этики, важны не общие слова, а конкретное духовное know-how. Всмотримся в условия существования образованного сословия диаспоры и обратим особое внимание на статус ученых занятий. Этот статус всегда был так высок, так глубоко впечатан в набор исходных экзистенциальных инструкций, что для его поддержания было достаточно самой минимальной инфраструктуры, совершенно несравнимой с той, на которую опирались европейские университеты или даже мусульманские медресе. При этом столетиями обеспечивалось и воспроизводство (можно даже сказать, расширенное воспроизводство) образованного сословия, и преемственность духовных дисциплин. Линия преемственности Маймонид — Исхак Лурия — Шнеур Залман пребывала в безусловной самодостаточности, время от времени делегируя в гойский мир «отщепенцев» вроде Спинозы (массовая инфильтрация началась лишь после отмены заградительных барьеров с середины XIX века).

На что опиралось столь энергозатратное перераспределение социальной активности? Вглядимся в структуру местечковой повседневности, например, XVIII века. Происходит ли дело в Польше, в Литве или в Румынии, мы всюду видим типичную картину: муж изучает Тору и комментарии к ней (то есть предается ученым занятиям), а жена ведет хозяйство, растит детей и выполняет функции семейного министра иностранных дел. Не столь важно, приносят ли занятия мужа какие-то деньги (это зависит от возможности развернуть расширенную инфраструктуру), они, эти ученые занятия, все равно поощряются женщиной. И суть в том, что еврейская женщина не просто терпит (и русская баба вполне способна терпеть чудачества своего непутевого мужа) — она действительно гордится — в том числе и непрактичностью, за которой, как она знает, скрывается высокая ученость, вызывающая у нее, помимо всего прочего, эротический трепет.

Это сочетание, весьма необычное в психологическом смысле, оказалось крайне плодотворным в культурном отношении. Чем же заполнены труды и дни этих цадиков (и пытающихся им подражать *беноним*)? Двумя вещами: они сидят над книгами и рукописями да еще предаются страсти, чтобы размножиться как песок морской в соответствии с заключенным заветом. Перед нами непрактичность особого рода, принципиально отличающаяся, например, от «непрактичности» русских интеллигентов, а заодно и от всех прочих мужских стереотипов.

В сущности, базовых стереотипов не так уж и много. Есть, например, *мачо* с ярко выраженной мужской статью. Жена от него может многого натерпеться, но зато уж приласкает так приласкает... Есть *интеллигент* — неприспособленный к жизни, ни рыба ни мясо, гвоздя в стену

не вобьет — но зато с духовными порывами, к тому же несчастненький такой... Есть, наконец, *хозяин*, настоящий мужик, у которого в руках все спорится. Он, конечно, звезд с неба не хватает, но зато за ним как за каменной стеной. А иной раз и приголубит очень даже ничего. Мы видим, что выбор, в сущности, небогат.

На этом фоне знаток Торы реализует уникальную стратегию бытия мужчиной (разумеется, насколько ему позволяет женщина). По своей непрактичности он существенно превосходит типичного интеллигента и бесконечно далек от «настоящего мужика». Однако в пылкости он не уступает самому крутому мачо — и при этом его устремленность в трансцендентное, скрепленная нестигаемой духовной дисциплиной, даже и не снилась подавляющему большинству «творческих работников» гойской формации. Удерживается уникальное сопряжение крайностей при полном выпадении среднего термина.

Главным достоинством такой ячейки хранения всеобщего духовного опыта является ее компактность. Сжатие Эроса и Логоса в единую монаду без промежуточных звеньев «экономит» дорогостоящую и неэффективную инфраструктуру духовного производства, обеспечивая в то же время его высочайшее напряжение. Зимзум, акт Божественной контракции, знаменуя космологическое начало, распределяется по самым ключевым точкам бытия диаспоры: переносной кукольный театр пространства, который можно раскинуть, развернуть при любой паузе, при минимуме терпимости со стороны окружения, конденсаторы творческой пустоты на местах зияющих пропусков гласных еврейского алфавита, сама Тора, всякий раз благодатно изливающаяся в ответ на встречную жажду. Это аксессуары номадической цивилизации, доказавшие

свою исключительную эффективность в споре с такими неповоротливыми, громоздкими институтами, как государственность и гражданское общество, конституируемое посредством множества передаточных звеньев.

Но даже и в этом ряду роль семейной ячейки уникальна, при том что сама «ячейка» создается благодаря асимметричным эротическим обменам, возобновляемым каждым поколением еврейских женщин. Именно их безупречная реакция на смесь острого ума и хорошей эрекции предотвращает мерзость запустения и предохраняет морской песок от размывания волнами истории. Принципиально важно, что от лица женщины и произносится сама *формула компактного хранения* в ее кратчайшем конспективном виде. И звучит она, если отбросить эвфемизмы, так: «Когда мужчина читает Тору, всем блядам стоять!»

Можно было предположить, что, пока великая формула действует, никакие враги не страшны избранному народу. И наоборот, распад круга сугубо неравновесных обменов будет означать (или уже означает?) утрату уникальной лаборатории по производству и поддержанию субъектности¹.

Русская интеллигенция и еврейская *Шехина*, исторически тесно сплетенные друг с другом, являли самый яркий пример самоотверженности асимметричных обменов. Но в той или иной форме этот фактор оказал влияние на всю европейскую цивилизацию. Под двойным патронажем Эроса и Логоса и при максимально выгодном для культуры их обменном курсе решалась сверхзадача производства субъекта — и, как это понятно сейчас, решалась в тепличных условиях. Но санкционированный Просвещением

¹ Это, кстати, одна из важнейших тем художественной литературы «нью-йоркской диаспоры» — достаточно обратиться к романам Филипа Рота или нобелевского лауреата Сола Беллоу.

процесс синтеза однородной среды разумности постепенно положил конец тепличным условиям. Транспарация же, выдвинувшая альтернативную программу производства человеческого в человеке, придала движению от Эдипа к Нарциссу необратимый характер.

Изменение принципов и критериев эротического выбора произошло фактически в течение двух-трех десятилетий — что в масштабах истории выглядит как взрыв или обвал. С какой-нибудь инопланетной точки зрения может показаться, что человечество — по крайней мере его авангард — внезапно сменило ориентацию, в результате чего исследованную Фрейдом стадию выбора объекта приходится фактически переписывать заново. Неопознанные эротические объекты эпохи Транспарации чем-то похожи на знаменитые НЛО, они бесшумно, почти не взаимодействуя с веществом, проходят сквозь плотные слои человеческих смыслов, оставаясь пока едва различимыми на фоне других объектов и практик, обслуживающих Lustprinzip, — словом, они, эти объекты, не распознаваемы «традиционными субъектами». Персонажи мужской эротической утопии, населявшие территорию искусства на протяжении нескольких веков, вымирают как динозавры, их впору заносить теперь в Красную книгу. Впрочем, своего рода Красной книгой становится сегодня и набоковская «Лолита». Когда ее главный герой Гумберт Гумберт, человек знания, носитель высокой культуры и специфической утонченности, выбирал в качестве абсолютного эротического объекта несмышленную нимфетку, он, безусловно, нарушал запреты, но все же действовал в рамках интенций и позывов классического субъекта. В соответствии же с логикой торжествующего феминизма действия Гумберта Гумберта примитивно архаичны, они вообще не

несут в себе заряда соблазнения, с которым следовало бы считаться.

Сегодня позиция нимфетки определена лишь в области лесбийского выбора, для гетеросексуальных отношений более характерен скорее *нимфет* (термин Павла Крусанова). Недавно Америка во всех подробностях смаковала историю Мэри Кей Летурно, тридцатичетырехлетней учительницы средней школы, которая соблазнила Вили Фуало, своего двенадцатилетнего ученика, и, будучи уже матерью и замужней дамой, родила своему возлюбленному двух девочек. Хотя этот случай и шокировал Америку, для эротики эпохи Транспарации он не является настолько инопланетным, каким был бы сегодня случай Гумберта Гумберта.

Как уже отмечалось, в скорости транспарации Соединенные Штаты безусловно идут впереди планеты всей. Поэтому похоже, что в искусстве классического флирта, основанного на неэквивалентном обмене, за всю Америку отдувается один Вуди Аллен. Солидарное женское сознание отказалось обналичивать мужской фаллократический логос знаками эротического возбуждения. Такая же участь постигла и пламенных мачо. Зато феминократия выражает готовность оказывать безвозмездную сексуальную помощь различным дискриминируемым меньшинствам — «колясочникам», даунам, заключенным — вообще всем, кто имеет «проблемы» и готов открыто их обсуждать. Джейн Ван Лавик-Гудолл, посвятившая свою жизнь гориллам, и Мэри Кей Летурно, каждая по-своему, могут служить символами эпохи нового эротического выбора, полюсами скромных предпочтений для простодушных хуматонов. Они обе в равной мере противостоят *рыжей красавице*, воспетой Венедиктом Ерофеевым, дистанция

между проекциями этих точек на воображаемую ось либидо равна общему расстоянию между субъектом и хуматонном. Стандартизация сексуальности органично вписывается в общий процесс рационализации, конституирующий ПСК, наряду со стратегиями потребления она точно так же выбивает опору из-под иррациональной позиции субъекта, состоящей в «противодействии добру упрямством».

Существенный момент состоит в том, что исчезает сверхценность проявлений либидо, на которой, собственно, и основывался весь фрейдовский психоанализ. С точки зрения хуматонов, получающих удовольствие от жизни, виндсерфинг принципиально ни в чем не уступает сексу (фаст-факингу) — это, как говорится, на любителя. Особую маркировку сохраняют лишь картинки, предъявляемые в окна mass media, ведь они все же играют роль эталонов бытия в признанности. Ради персонального обольщения одного из малых сих (то есть мужчин) не следует, конечно, особо напрягаться, но ради участия в шоу стоит подбривать лобок и делать эпиляцию. Стало быть, что-то «святое» все-таки еще сохраняется, одновременно происходит и расцвет стриптиза как своеобразного массового спорта.

Понятно, что речь идет о стриптизе в самом широком смысле — как о времяпрепровождении, напоминающем сидение за прялкой, излюбленное занятие русских девушек вплоть до XIX века. Шоу различаются по степени публичности и по своему значению: в «местечковых» шоу на уровне отдельного университета, клуба или ресторана преобладает прямое нарциссическое удовольствие от собственного тела; в тех шоу, которые транслируются по каналам mass media, доминирует косвенное удовольствие от факта своего растиражированного иноприсутствия. Но какой-либо

статусной несовместимости, всегда насыщавшей позицию женственности энергией перверсивного желания, нет и следа. Пожалуй что девушка за прялкой, будучи потенциальным объектом подглядывания заинтересованных парней, вела себя более кокетливо, чем современная стриптизерша. Если говорить о наиболее продвинутых территориях ПСК, например о восточном побережье США, то там участие в той или иной форме стрип-шоу является «делом чести», актом формальной статусной признанности. Современная просвещенная девушка не только не думает скрывать от бой-френда свое участие в местном *topless show* — она, напротив, требует от него неослабевающего внимания и уважения к этому занятию. Примерно так же три столетия назад какой-нибудь цадик из Лодзи требовал уважения и внимания к своим ученым занятиям от супруги или невесты — и получал плату в надлежащей валюте! Но это была Вселенная субъекта, в галактике хуматона дело обстоит с точностью до наоборот.

Неуважение к «моему шоу» может быть расценено избраницей как душевная черствость, невежество и вообще как позорный фаллоцентризм. Правда, это еще не повод для окончательного отказа от близости (от совместного фаст-факинга) — по крайней мере, до тех пор, пока сохраняется возможность перевоспитания (просвещения) погрязшего в самодурстве мужского субика. Возникающая здесь коллизия является одной из самых популярных тем массовой культуры, это новая версия просвещенческой утопии о воспитании чувств и смягчении нравов. Миф о золушке больше не работает, поскольку не отвечает реалиям ПСК, общество явно ощущает потребность в альтернативном мифе. Его параметры как раз сейчас и консолидируются усилиями массовой культуры.

Возьмем обобщенную типичную ситуацию, в которой участвуют он и она¹. Она — назовем ее Джейн Смарт — мать троих детей, по профессии, скорее всего, психоаналитик (одна из самых пристойных и в то же время массовых женских профессий в современной Америке). Реализуя бытие в признанности, Джейн становится ведущей на местном телеканале — ведущей умеренно эротического и неумеренно просветительского данс-шоу. И он, ее муж Дик Симпл, отец одного из этих детей, — по профессии, пожалуй, автомеханик, работающий, однако, упаковщиком и разносчиком пиццы. На протяжении ряда лет Дик рассматривает шоу своей супруги как повод для законной гордости и как возбуждающий эротический фактор. Тем самым Симпл является не только благодарным и преданным мужем, но и типичным представителем своего класса.

Вскоре кондиции Джейн Смарт перестают отвечать даже умеренно эротическому характеру данс-шоу, и Джейн уходит из программы. Однако будучи женщиной деятельной и ведущей активную борьбу за признанность (то есть типичной представительницей *своего* класса), она берется вести ток-шоу «Лишнего веса не бывает», где отстаивает законные права людей с избыточным весом и по-прежнему неустанно занимается просвещением. При этом ни уважение со стороны супруга, ни его готовность к фаст-факингу не меняются. Да и с чего бы? Ведь у Джейн Смарт есть ее шоу, и не суть важно, чему оно посвящено. Она, в свою очередь, продолжает ценить мужа, демонстрирующего самые лучшие проявления мужского начала: предсказуе-

¹ Одним из первых контуры новой сексуально-семейной утопии наметил писатель Джон Ирвинг. См. напр.: *John Irving. The World according to Garp*. N. Y., 1989.

мость, немногословность, а главное — роль благодарного зрителя. Такова современная идиллия *made in USA*, и за экспортными поставками этого товара дело не станет.

Преобразования в экономике либидо происходят повсеместно¹. Интересны и симптоматичны в этом отношении записки Елены Вяхякопулос, работавшей в интернатах и клиниках для умственно отсталых детей в Финляндии, Швеции и Дании. Е. Вяхякопулос описывает организацию скорой сексуальной помощи, куда входит обучение мастурбации и своевременное выявление проблем, в решении которых психиатр (а в современной Скандинавии, впрочем, как и в США, это профессия почти исключительно женская) способен принять непосредственное участие. Реабилитация инвалидов и умственно отсталых (сверхзадача Плоско-Субъектного Континуума) представляет собой комплексную процедуру, и сексуальная реабилитация является ее неотъемлемой составной частью. Автор приводит интересные отрывки из дневников и интервью пациентов:

«Просто удивительно. Я очень занятой человек, живу в общежитии, работаю в трудовом центре, хожу на хоккей. И все равно остается время для любви! Уже семь лет, как я занимаюсь любовью! И конца этому не видно... Лежу рядом с девушкой, целуемся. Туда-сюда... Лежу и думаю: ну, повезло Весе»².

¹ Исключение составляют мусульманские страны. На сегодняшний день ислам вообще является единственной планетарной силой, противостоящей Транспарации, и по уровню значимости этот конфликт можно сравнить лишь с антагонистическим противоречием между буржуазией и пролетариатом.

² Вяхякопулос Елена. Любовь по правилам // Нева. 2004. №7. С. 161.

Весе, простой финский парень, с простым и распространенным в эпоху глобализации диагнозом (олигофрения в стадии дебильности), вполне счастлив, как явствует из отчета. Столь же счастливы и благодарны и его американские братья по духу, многочисленные Симплы и Симплициссимусы, хотя и не имеющие медицинского диагноза, но все же, безусловно, нуждающиеся в скорой сексуальной помощи, которую и оказывают в добровольном порядке женщины новой формации. Проявляемая ими определенная степень самопожертвования, будучи англосаксонской, протестантской и феминистской по своему характеру, отчетливо противостоит прежнему, «архаичному» самопожертвованию эпохи неэквивалентных обменов, самопожертвованию, на котором сформировалась и выросла фаустовская культура. Скорую помощь в режиме реального времени нельзя, конечно, назвать эквивалентом экономии либидо, но она, по крайней мере, напрочь исключает привередливость пациента и избавляет благотворительницу от энергозатратной и разрушительной внутренней перверсивности, которую неизменно взыскует извращенный субъект, предпочитая ее всем моральным добродетелям. С новым субъектом все проблемы можно решить, поскольку они прозрачны, как и сам новый субъект. Обратимся вновь к Е. Вяхякопуло:

«Пациент Кари М., 36 лет. Диагноз: умственная отсталость.

Проблемы: хватает за грудь медсестер отделения и инструкторов трудового центра.

Реабилитация: проведены пять занятий по сексуальному воспитанию. Занятия включали: 1) беседы на тему «Чем отличается женщина от мужчины?» и 2) разбор картинок с изображениями обнаженных людей обоего пола.

Реакции пациента: при предъявлении первой картинки (женщина) пациент сказал: «Какой кошмар!» На вопрос «Кто изображен на картинке?» отвечать отказался. При многократном повторении вопроса ответил: «По-моему, это брат».

Результаты реабилитации: пациент перестал хватать за грудь инструкторов трудового центра. Хватает за грудь только медсестер отделения»¹.

Что ж, как говорится, положительная динамика налицо. Эта динамика заслуживает особого внимания, поскольку совпадает по своей направленности с процессами, определяющими реальность ПСК, она определяет собственно континуальность, взаимоконвертируемость всех инвестиций в принцип наслаждения. Вернемся к отчету Весе и обратим внимание на важный момент: *Я очень занятой человек, живу в общежитии, работаю в трудовом центре, хожу на хоккей. И все равно остается время для любви!*

Весе, вероятно, мог бы перечислить и еще кое-что из своих занятий, но, в принципе, достаточно и этой характерной пары: *хожу на хоккей и все равно остается время для любви!* Мы ничего не знаем о распределении времени между двумя упомянутыми удовольствиями, хоккеем и занятиями любовью, неизвестно, что занимает больше места как в реальности, так и в помыслах. Но есть подозрения (а у субъекта они всегда есть), что хоккей или, скажем, бейсбол служат более надежным субстратом счастья. Главное, однако, что оба модуса приятного входят в континуум принципа наслаждения, где, помимо них, пребывают и другие,

¹ Вяякопулос Елена. Любовь по правилам // Нева. 2004. №7. С. 165. Иной вариант идентификации представлен в прекрасном фильме Александра Рогожкина «Жизнь с идиотом», снятым по одноименному рассказу Виктора Ерофеева.

не менее приятные вещи, как то: любимые мультики, добрая порция попкорна, скейтбординг в полной экипировке. Как ни крути, эти вещи ни в чем не уступают сексу, уступают они лишь игровой виртуальной реальности, избавляющей преданного юзера от замедлений и осложнений.

Таким образом, вершины, возвышавшиеся в плоскогорье принципа наслаждения, скрыты, пропасти засыпаны, исчезло и само плоскогорье, на смену которому пришла ровная площадка. Уравнены в правах влечения и *раз-влечения*. Цели базисных влечений (basic instincts), претерпевшие рационализацию и подвергнутые транспарированию, обрели ту же модальность желания, что и цели замещающих практик. Сто лет назад сновидение, представляющее катание на качелях, символизировало половой акт (поверим Фрейду), сегодня с таким же успехом все может быть наоборот. Вспомним, что пишет в своем дневнике прямодушный финский парень Весе: *Лежу рядом с девушкой, целуемся. Туда-сюда...* Подростковая загадка с двойным дном («туда-сюда, обратно — тебе и мне приятно») оказалась бы для него воистину неразрешимой в силу полного равенства альтернативных означаемых. А Кари М., столь же прямодушный, но склонный к фрустрациям, после многократного повторения вопроса наверняка ответил бы: *это брат*.

Синтез континуума принципиально конвертируемых удовольствий проходит с необычайной интенсивностью и, соответственно, может быть рассмотрен с двух сторон. С точки зрения формирующегося континуума появляются и утверждаются новые практики, возникают рациональные, прозрачные конвенции, стихия либидо все реже выходит из берегов, размывая края разумных ограничений и затопляя плато предусмотрительности. Однако, с позиций класси-

ческого субъекта, речь идет об опустошении царства Эроса, трудности возникают по всему фронту, и само опознание объекта в качестве эротического составляет проблему. Многогранные брачные контракты, оговариваемые до мельчайших деталей «предложения», публикуемые в разделе «Знакомства», обломки традиционных стратегий обольщения, рассыпанные повсюду, но упакованные в целлофан массовой культуры и снабженные категорическим запретом «don't touch!». Требования новой цензуры (правила политкорректности) по своей императивности не уступают прежним директивам сверх-Я, однако имеющиеся предложения не составляют никакой приманки для Оно. Распознать хоть какой-нибудь арреал в нормативно-благотворительной эротике ПСК субъекту, как правило, не удастся.

Этот факт заслуживает особого внимания. Ведь как бы там ни было, но результаты *трех демократизаций*, уже радикально преобразившие политику, познание и искусство, худо-бедно усвоены законопослушными подданными ПСК. Подражать Форресту Гампу оказалось ничуть не проще, чем притворяться вдохновенным художником, доблестным воином или имитировать позу мудрости, тем не менее ресурсов внутренней шпионологии пока хватает, чтобы вписаться в предлагаемую плоскость, утаив лишние измерения. Но эквивалентный обмен с элементами благотворительности, вытеснивший прежний принцип устойчивого неравновесия, оказался несовместимым с желанием субъекта, с самой *конструкцией желания*, в том виде, в каком она исследована Гегелем, Фрейдом или Лаканом. И тут никакой Транспаро Аутисто уже не сможет уличить субиков в лицемерии: они действительно не в состоянии реагировать на модернизированные субституты прежних соблазнов — им просто не съесть столько виагры.

Сходным образом дело обстоит и с позицией женственности: выпадение инициации, отсутствие подготовки к решающему тесту на совместимость скромности и прозрачного платица, приводит к утрате внутреннего опыта соблазнения и соблазненности, а замещающая феминистическая модель опирается на столь скудные психологические и чувственные ресурсы, что их хватает лишь на обольщение простодушных финских парней и прочих ху-матонов.

Но если все же встать на позиции Симпла, происходящее можно трактовать и как избавление от «высокой болезни», и тогда уместно будет привести аргумент Кефала из диалога Платона «Государство»:

«...поэту Софоклу был при мне задан такой вопрос:

“Как ты, Софокл, насчет любовных утех? Можешь ли ты еще иметь дело с женщинами?” — “Что ты такое говоришь, право, — отвечал тот, — да я с величайшей радостью избавился от этого, как убегает раб от необузданного и лютого господина!”

Ответ Софокла мне и тогда показался удачным, да и теперь нравится не меньше. Ведь в старости возникает полнейший покой и освобождение от всех этих вещей, ослабевают и прекращаются власть влечений и возникает чувство избавления от многих неистовствующих владык. А огорчения по поводу этого... имеют одну причину, Сократ, — не старость, а самый склад человека. Кто вел жизнь упорядоченную и был добродушен, тому и старость лишь в меру трудна. А кто не таков, Сократ, тому и старость и молодость бывают в тягость»¹.

Ситуация, как водится, сохраняет некоторую двусмысленность. Не возражая Кефалу, присутствующие, да

¹ Платон. Сочинения. Т. 3. М., 1994. С. 81.

и сам Сократ, дипломатично помалкивают. Им, как истинным субъектам, хорошо знакома стратегия выдавания нужды за добродетель. Но хуматоны, которые и в самом деле ведут жизнь *упорядоченную* и при этом «добродушны» (правильнее будет сказать «универсально приветливы»), готовы принять всё за чистую монету: именно в сфере сексуальности отсутствие «double bind»¹ (двойного дна) приводит к наиболее явным срывам взаимопонимания. Реликтовому субъекту, не прошедшему переходный период сникерснутости, вообще труднее всего принимать всерьез жизненные принципы, которыми руководствуются полноправные подданные ПСК, но в отношении новых фигур экономии либидо трудность оказывается практически непреодолимой, фигуры соблазнения воспринимаются исключительно как самопародия. Но и для хуматона путешествие в мир реликтовой эротики оказывается чистой экзотикой. Это своего рода *спецпредложение*, требующее специальной экипировки, более сложной и громоздкой, чем экипировка, необходимая для восхождения на Эверест или для игры в хоккей. Хуматон, вознамерившийся потрянуть стариной, может купить или взять напрокат в салонах садо-мазо плети, шипы и прочую кожаную атрибутику, может тщательно изучить архаический видеоряд, где представлены весьма симпатичные субики, Микки Рурк и Ким Бессинджер (из фильма следует, что партнершу полагается кормить вишенками, а не бигмаками), но психологические реалии ритуалов жертвоприношения Эроту не станут от этого достоверными. Это во-первых, а во-вторых, как бы

¹ Подробно это важнейшее для субъекции, а следовательно и для субъекта, понятие исследуется в работе: Bateson G., Ruesh J. Communication: The social Matrix of Psychiatry. N. Y., 1951. См. также: Бейтсон Г. Экология разума. М., 2000.

ни были увлекательны игры в садо-мазо субиков, они все же не настолько значимы, чтобы из-за них подбривать лобок или пропустить финал кубка Стенли.

Стало быть, «любви прекрасные моменты», о которых с придыханием пел Окуджава, воспринимаются как игры, рассчитанные на любителя, и притом на любителя экстрима. Хуматон, совершив несколько экстремальных вылазок, может с чистым сердцем повесить на гвоздь *маску, ласты и скафандр субъекта*, повесить рядом с трофеями, добытыми на сафари, и рядом с еще более драгоценными трофеями, полученными благодаря своевременному собиранию четырех крышечек, пяти наклеек и шести вкладок.

В целом среди обезвреженных, дезинфицированных привычек субъекта, принятых в состав новой шкалы ценностей в качестве безалкогольного пива, бескофеинового кофе, *pepsi-light* и истины-light, транспарированный соблазн тоже мог бы занять свое почетное место. Однако в препарированном виде прежний соблазн не работает вообще. Эквивалентный эротический обмен, очищающий континуум до полной имманентности, вызывает общую анемию чувственности и провоцирует главную опасность ПСК — нарастающую тенденцию к аутизму.

ХУДОЖНИК КАК ИНДИКАТОР АНЕСТЕЗИИ

Изменившиеся очертания современной реальности коснулись и сферы эстетизиса (*aesthesis*), наиболее консервативного слоя преднаходимой и культивируемой чувственности. Перемещение набора гуманистических ценностей из области провозглашаемого в ранг очевидности вызвало изменения в самом проекте производства человеческого в человеке: особая территориальность искусства, являющегося, с одной стороны, высшей формой репрезентации (самовыражения) субъекта, а с другой стороны, эталоном самонастройки ПСК, требует ревизии. Перемены, происходящие на наших глазах, столь глубоки, что их уже нельзя свести к процессам внутри эстетики (к борьбе стилей или даже к различным эстетическим расширениям вроде вторжения в политику и адаптации эстетической шкалы для скоростных товарных обменов). Приходится вернуться к самому эстетизису как чувственному началу, поддающемуся символическому преобразованию.

Упадок жизненных сил сопровождается глобализацию и одновременно является ее содержанием. Симптомы анемии видны повсюду — претерпел изменения даже феномен толпы. С одной стороны, безусловная демократизация духовных ценностей (массовая культура) не уступает процессу политической демократизации и даже опережает его. «Восстание масс», о котором возвещал Ортега-и-Гассет, свершилось и закончилось безусловной победой этих самых масс. Но поколение победителей не сохранило преимущественности с теми, кому выпала основная тяжесть борьбы. Что-то не видно шумного торжества победивших бюргеров: «бюргеры» тихи, анемичны и лишь по команде

открывают рты и рукоплещут. «Толпа», описанная Тардом и Лебоном, более не встречается на территории европейского континента. Включенные в нее индивиды теперь сохраняют свою атомарность, и это, пожалуй, самый яркий симптом наступления тотальной анестезии.

Мгновенное коллективное тело, сплавлявшее индивидуальные воли в единую волю квазисубъекта — пусть тупого и ограниченного, но зато крайне энергичного, — получается теперь очень вялым и вообще рассыпчатым (диссипативным). Прежде толпа вызвала опаску и недоверие, в ней видели передвижную колыбель фашизма, сокрушительную, деструктивную силу. Теперь кинетической энергии хватает лишь на какой-нибудь «день города», карнавал или пивной фестиваль — однако радоваться такому смягчению нравов было бы преждевременно.

Вялый синтез коллективного тела вызван извращенной формой заботы о себе. Внедренный до инстинктивного уровня запрет причинять неудобство другому идет вовсе не от великодушия, а, напротив, от малодушного опасения обнажить и обнаружить полноту присутствия. Утраченный навык бытия перед лицом Другого, необходимый и для аутентичности собственного бытия, конечно, не дает «пробудить в себе зверя» — но результатом является общее полусонное состояние. Таким образом, предварительный диагноз наличного состояния фаустовской цивилизации прост — анестезия.

Впрочем, пока мы наблюдаем только неадекватные действия спросонья, воспроизводящие прежнюю симптоматику практически без изменений. Одновременно засвидетельствованное оскудение эстетизма (анестезия) дает повод провести ревизию позиции художника. Ведь попытки

привести в чувство стали в какой-то момент самой актуальной задачей искусства.

Эстетика претерпела изменения как в аристотелевском, так и в кантовском смысле этого слова (то есть как сфера аффектации и распределения чувственности). Резкое уменьшение глубины аффектов, обмеление эстетизиса, фиксировалось и раньше. Ницше проследил путь от «праздничной жестокости» и «фестивалей для богов» до неврологических усад «изморалившегося человечества». Были и попытки трактовать упадок трагедии как результат распада и исчезновения «больших аффектов».

Рассматривая современный этап, можно сделать уже и следующий вывод. Перестала быть актуальной задача умиротворения, гармонизации чувственного избытка. Ведь именно к этому так или иначе сводился смысл катарсиса: к сбросу и затоплению избыточных эмоций в специальном резервуаре символического. Предполагалось, что «инфлюэнс» (общее воодушевление) дан сам собой, да и *хюбрис*, сопровождаемый аффективным переизбытком, встречается не за тридевять земель — его, согласно Гераклиту, «следует тушить быстрее, чем пожар». Из этой позиции и исходил художник, на ней и основывал разнообразие возможных рецептов.

Еще психоанализ так или иначе решал задачу катарсиса, то есть проблему приемлемого аффективного разоружения. Но уже при жизни Фрейда началась трансформация психоанализа в направлении сначала борьбы с неуслышанностью, а затем и с никомуненужностью... Совершающийся сейчас радикальный эстетический переворот вызван, вообще говоря, не усилением коллективного художника, не эволюцией и даже не революцией в искусстве, а тем, что принцип *символического отреагирования*

(катарсис) утратил под собой почву. Сырой, необработанной чувственности, требующей успокоения в произведении, практически больше не осталось.

Однако в обширной сфере, именуемой искусством, всегда есть *аутентичное искусство*, и оно всегда выглядит по-разному. Адорно прав: в каждый момент своей актуальности искусство определяет себя заново, не обращая внимания на то, чем оно было прежде. При этом с произведениями-образцами, уже завоевавшими признанность и тем более получившими статус классики, ничего страшного не происходит, они ведь относятся к *искусству хранимому*, а не к *искусству творимому*.

Свершившееся оскудение эстетизиса вызвало перемены на всех эстетических фронтах. Постмодернизм явно или неявно провозглашает «хранимое» единственным оставшимся в распоряжении резервуаром художественных жестов. Модальность *ficta* принимается как нечто должное и не оспаривается вопреки всей предшествующей истории борьбы искусства с условием *ficta*. Напротив, *искусство творимое* вынужденным образом пребывает на сохраняющемся пока островке аутентичности, где оно и являет себя в виде перформансов, хэппенингов и вообще художественных акций. Общим, выносимым за скобки содержанием подобных акций является автотравматизм; те или иные его формы прослеживаются в самых ярких перформансах -- от Жюльена Блэна до радикализма «Новых тупых».

Автотравматизму предшествовали дружные попытки встряхнуть буржуа за шиворот. Раздавать пощечины общественному вкусу стало обычным делом со времен Дюшана и футуристов, но в какой-то момент эти фигуральные пощечины перестали доставать, ибо стражи общественного вкуса разбежались или притаились за спиной

художника: куда он, раздающий пощечины, ни повернется, они все равно оказываются за спиной. На сегодняшний день изыскать возможность травматизации посредством символического чрезвычайно трудно (найти незапленный колодез — величайшая проблема), и удачливый первопроходец провозглашается как минимум лидером направления. Остается буквальное вторжение в сферу причинения боли, но оно — запрещено. Тезис Рорти: «Самое главное — не причинять друг другу боли» и — в самом деле является категорическим императивом целлулоидно-плюшевой эпохи.

В силу принудительных обстоятельств творимое (аутентичное) искусство сегодняшнего дня больше всего напоминает практику чаньского и дзенского буддизма. И тут и там почти эксклюзивным способом приведения к просветлению служат тумаки и палочные удары. Тем более важно и показательно принципиальное различие. Сэнсэй раздает тумаки и рубит пальцы *другим* — внимающим ему ученикам. Точно так же хотел бы поступить и аутентичный художник, интуитивно понимая, в чем именно нуждаются как пришедшие, так и особенно не пришедшие к нему. Но преодолеть табу он не в силах — и поэтому причиняет боль себе. Другим — эпатаж и замысловатые кукиши из символического, а боль — только себе.

Автотравматизм, следовательно, оказывается единственным на сегодняшний день шансом актуализации искусства, его выхода из состояния *ficta*, — причем шансом почти наверняка несбыточным (о чем не устают со злорадством напоминать теоретики постмодернизма). Жюльен Блэн в течение часа поднимается на сцену и бросается на дощатый пол, покрывая его кровью и сам покрываясь ссадинами, Вадим Флягин поджигает на себе рубашку — все

они борются за шанс достучаться (за это всегда борется подлинный художник). Некоторая обоснованность надежды в данном случае состоит в конвертируемости позы страдания. Как это ни парадоксально, но конвертируемость вытекает из того же самого категорического императива, который обусловил разложение эстетизма и демобилизацию коллективного тела. «Ему больно» обменивается на «мне больно» со значительными потерями, но даже невольный участник обмена уже не может уйти просто так.

Он, конечно, задаст вопрос: почему они не рисуют картины, не ваяют изваяния и не расписывают яйца *a la* Фаберже? Почему не подражают признанному опыту Леонардо, Веласкеса или хотя бы Сальватора Дали?

Ответ в том, что они, художники сегодняшнего дня, сохранили верность призванию и, разумеется, подражают прежним мастерам — но не внешним следам их творчества, оставляемым, например, в форме произведений, а аутентичному способу бытия в искусстве.

Попытка «привести в чувство» является одновременно и сверхзадачей современного искусства, и элементарной *raison d'être* его актуальной формы (формы творимого искусства). Тем самым свобода художника, кажущаяся сегодня беспредельной, довольно жестко ограничена рамками возможной подлинности. Эпигоны, имитирующие образцы того, что когда-то было искусством, но уже покинуло форму актуальности, могут быть людьми весьма искусными, образованными и производящими безусловно ликвидную продукцию. Однако художниками они именуется лишь по недоразумению. Если история художественной культуры что-то и доказала, так это факт невозможности попадания в искусство хранимое, минуя искусство творимое.

Именно поэтому художник-творец, безотносительно к его технической оснащенности, вынужден пробиваться к признанности через цепочку художественных акций. Среди оставляемых (но не остающихся) следов современного творимого искусства чрезвычайно мало «произведений», оптимальных гарантированных единиц хранения, отвоеванных долгой борьбой художника за признанность. Конечно, он и сейчас предпочел бы создать произведение, соединяющее в устойчивый изотоп символические порядки, но вынужден обращаться к художественным актам, к практически необъективируемым жестам, ибо форма произведения теперь даруется только «свыше», *post factum*, — причем не в последнюю очередь с помощью датчика случайных чисел.

Художник пытается углубить русло обмелевшего эстетизиса, хотя интенция изначальной художественной практики не угасла в нем: тоска по долгосрочным синтезам воображаемого и символического дает о себе знать. Но реализуема она только там, где остаточный эстетизис еще нуждается в гармонизации, — такова прежде всего сфера экологии. Легко транслируемая по каналам искусства озабоченность и даже боль за «мучимую природу» дает возможность создавать произведения прежнего типа — прежнего не в смысле использования художественных средств, а в смысле облагораживания алармизма, его компактной упаковки в символическое. Переходя на территорию экологического сознания, радикальный художник незаметно для себя переходит к врачеванию, хотя, пребывая в других точках актуального искусства, он пытался, наоборот, разрушить анестезию.

Что же скрывается за этим последним бастионом солидарной коллективной чувствительности и почему имен-

но он оказался последним.² Идеология зеленых сочетает в себе архаический анимизм с новейшей формой антропоморфизма, когда сам «антропос» более всего напоминает кукольного персонажа из фильмов Яна Шванкмайра. Помимо общей эмоциональной холодности, специфической «игрушечности» чувств, утрачена острота различия между состояниями мира и состояниями сознания. Антропоморфные вещи желанны, когда они приветливы, разговорчивы и кротки, как в мультфильмах, рекламных роликах и на витринах магазинов, а люди хороши тогда, когда они среди этих приветливых вещей чувствуют себя как дома.

В своеобразии реакций и простейших неявных умозаключений опознаются черты аутизма¹. Неудивительно, что за последние три десятилетия аутизм стал одной из важнейших психиатрических проблем, в том числе и в прямом клиническом смысле: число пациентов, особенно детей, страдающих аутизмом, возрастает с каждым годом. В некотором приближении эволюцию господствующей симптоматики социального тела можно разделить на три этапа:

- 1) Психоанализ и буржуазия (Фрейд).
- 2) Капитализм и шизофрения (Делез-Гваттари).
- 3) Аутизм и экологический маразм (еще ждет своего классификатора).

В общих чертах аутизм характеризуется как простодушие, тонкой пленкой покрывающее очаги отчаяния. Прорыв пленки вызывает цепную реакцию неадекватности: истерику, ступор, суицидальные попытки. Поэтому аутист наиболее комфортно чувствует себя в окружении вещей

¹ Наиболее обстоятельное исследование — *Baron-Cohen.S. Understanding other minds. Oxf., 1994.*

или людей, ведущих себя как вещи (автоматы). Для него пугающе непонятен другой как Другой: в чуждом бытии другого автономного Я скрываются коварство, непредсказуемость, страшные для аутиста провалы в однородном поле поведения-самоотчета и множество других скрытых угроз. Понятно, что клиническая форма аутизма служит «недостижимым образцом», но она определяет тенденции, создает гравитацию вокруг сингулярных точек-симптомов.

Промежуточным пространством, своеобразным медиатором между миром вещей и миром внеположных, нередуцируемых Я, выступает природа: на нее еще хватает сил, тем более что инвестиции любви-заботы представляются в этом случае прозрачными и окупаемыми. Разумеется, природа, благополучием которой озабочен ревнитель экологии, относится к категории воображаемого. Например, милые домашние животные, преданные, не имеющие двойного дна (наивные и в своей хитрости), — они как раз пригодны для политкорректной дружбы, вытеснившей подлинное и многомерное бытие с Другим.

«Собаки — настоящие друзья, они даже лечат детей», — говорит Татьяна Горичева. Действительно, дети, в особенности дебилы, дауны и аутисты, чувствуют себя непринужденно в общении с животными, и анимотерапия сейчас стала надежным методом психической реабилитации. Собака прямодушна, кошка ласкова — а как она умеет покорно, без сопротивления принимать ласки, подставлять себя под вялотекущие струи любви и заботы — воистину идеальный фармакон! Лучше могли бы быть только динозаврики и прочие зверушки из мультфильмов, если бы, конечно, самому удалось «мультиплицироваться», так сказать, *оплюшневть*, навсегда покинув сомнительное бытие с коварными другими.

Итак, прибегая к стилю лаконичных ленинских формулировок, можно сказать: экологическое сознание есть анимизм плюс антропоморфизм в стадии оплущневелости. Ясно, что анимизм в данном случае имеет мало общего с мироощущением первобытных охотников, он является совокупным эффектом компьютерной анимации. В рамках господствующей экопарадигмы усомниться в том, что животные чувствуют и неплохо мыслят, считается крайне дурным тоном. «Животные, в сущности, лучше, чем мы» — когда-то этот тезис преподносился как образец парадоксализма и мизантропии (можно вспомнить и приписываемое Бернарду Шоу изречение: «Чем лучше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки»). Теперь подобные утверждения являются общим местом и принимаются как простая данность.

Полностью элиминирована хтоническая ипостась природы, хорошо знакомая грекам и господствовавшая в европейском Средневековье. Нынче все, находящееся за пределами минимально возможного умиления, воспринимается как уродство и монструозность, которые можно и нужно ликвидировать. И желательно быстро, одним пшиком специального, дезодорирующего монстроцида. Примером тут может служить вожак тараканов *грязный Луи* из рекламного ролика — таким исчадиям нет места в природе. Для них остаются две принципиальные возможности: либо исправиться (оплущневеть), либо исчезнуть. Причем второе совсем не обязательно означает погибнуть; вполне достаточно просто скрыться в невидимость, перебраться куда-нибудь с глаз долой — туда, где пребывает *грязный Луи* и подобные ему извращенцы.

Еще более гипертрофированный вид принимает хрупкость природы, ее незащищенность. Динозаврики, чебу-

рашки, букашки-козявочки — все они прямо-таки готовы пропасть в любой момент, если им не прийти вовремя на помощь. Понятно, что такая картинка не имеет никакого отношения к реальной картине, свидетельствующей о чудовищной силе сопротивления живого попыткам уничтожения. Картинка беззащитности из мифологического видеоряда является проекцией собственной запущенной проблемы — глубокой нехватки антропоморфных объектов заботы. Занимающие эту нишу другие Я, включая собственных близких, чрезмерно щепетильны, неблагодарны и не готовы, чтобы на них играли как на флейте. Приходится совершать подстановку, довольствоваться проекциями воображения. В каждом национальном пантеоне есть образцовые персонажи трогательности, заботы, незлобivosti... Национальная американская Мышь (по меткому выражению Татьяны Толстой), олененок Бэмби, добрый доктор Айболит. Когда-то они, конечно, были детскими героями, но прогрессия экологического маразма уже наделила их новой, всеобщей актуальностью.

В сущности, добрый персонаж Корнея Чуковского — это и есть собирательный образ героя нашего времени, кавалера ордена Зеленого Креста. Именно его доброта служит эталоном «доброта самого по себе», вполне в духе Платона. Поэтому так важно разобраться, в чем же она состоит. А вот в чем: Айболит бесхитроsten, мягко выражаясь, наивен как пробка, не обзавелся семьей, собственными детьми, всем пожертвовал ради главного дела. Ему бы побеседовать с друзьями, полюбезничать с женщиной, подурачиться на каком-нибудь празднике, в театр сходить... Не интересуют все эти пустяки Айболита, он под деревом сидит, пришивает лапку плюшевому зайчонку, спасает бедных животных:

И всем по порядку
Дает шоколадку
И ставит, и ставит им градусники!

На этом месте остаточная чувственность достигает своего пика и приходит к катарсису.

Страх превратиться в вещь сопровождает сознание с момента его пробуждения. Апокриф Будды, который так любил цитировать Макс Шелер, гласит: «Прекрасно созерцать всякую вещь, но страшно быть ею». Созерцать вещь, сколь бы прекрасной она ни была, значит занимать по отношению к ней привилегированную позицию. Если созерцающий налюбовался, утомился или просто отвлекся, вещь исчезает, но сам созерцающий никуда не исчезает. Почему? Потому, что он не вещь. Он субъект и не может быть предметом исчерпывающего созерцания извне; субъект обладает сферой невидимого-для-других, внутренним миром, где можно спокойно хранить свою неидентифицированность, величайшее преимущество в мире вещей.

Обладателями скрытых преимуществ являются все люди как полноправные субъекты. Никогда нет полной уверенности в том, что содержит в себе другое Я, но как раз эта неуверенность служит главным подтверждением того, что другое Я существует. Вещь может быть простой, искусно сделанной и даже очень загадочной. Но и загадочная вещь загадочна не своей собственной тайной, а тайной Другого, другого Я. Манипулируя с вещами, иногда приходится иметь дело с субъектом, тогда автоматизированность процесса нарушается и наступает некоторое замедление — субъективный фактор. Скажем, среди кипы банкнот вдруг обнаруживается поддельная или в гряде бижутерии на лотке неожиданно обнаруживается что-то

настоящее, в обоих случаях процесс прерывается, вступает в нестандартную фазу, поскольку вещь-улика указывает на произошедшее вмешательство субъекта, обладателя и хранителя внутренней неопознанности. Ибо вещь не может быть уликой самой себя.

Сознание дорожит создаваемым им замедлением, ведь оно-то и указывает на присутствие живого человека, на то, что я все-таки не вещь. Мотивация хакера в чистом виде — это минимальный протест против исключения субъекта из «высших расчетов»; исчезновение последнего хакера знаменовало бы собой погружение человечества в тотальный аутизм — добровольную самосборку по типу биороботов, то есть вещей, а не субъектов. И здесь уместно обратить внимание на удивительную превратность, постигшую категорию отчуждения.

Категория отчуждения оказалась самой популярной и для творческого марксизма XX столетия. А. Грамши, Г. Лукач, В. Беньямин, Л. Альтюссер, Г. Батищев уделили анализу отчуждения и возможностям его преодоления (в частности, коммунизму) немало ярких страниц. Дело в том, что не только овеществление труда, но и овеществление присутствия необходимо — как для поддержания жизни социума, так и для обретения («присвоения») индивидом собственной сущности. Все первые встречные существуют для нас в режиме вещей; они могли бы оказаться автоматами, запрограммированными на определенные действия, и мы бы этого не заметили. В таком же режиме взаимного отчуждения существуют продавцы, покупатели, официанты, агенты, попутчики, стоящие в нужной очереди, чиновники всех рангов и много кто еще. По большому счету замена их биороботами существенно повысила бы комфортность бытия.

Уподобление вещам действительно создает самый быстрый и экономный режим обменов. Но лишь до тех пор, пока сохраняются отдушины растожествления, пока не подводит навык мгновенного дистанцирования. *Первые девять встречных пусть будут автоматами, но если и десятый тоже, то лучше вообще не надо, тогда уж лучше я смирюсь с тем, что первый встречный, будучи не вещью, а автономным Я, будет бурчать про себя, спросит что-нибудь бестолковое и загородит проход по эскалатору.* Примерно так может рассуждать субъект, спасаемый от капиталистического отчуждения, если, конечно, бесчеловечный капитализм уже не лишил его способности рассуждать.

Суть в том, что идеально организованное, тотальное производство требует быть вещью везде. В хорошо организованной цепочке обменов потаенное внутреннее ни разу не востребуется и не принимается во внимание. «Этого от вас не нужно» — такими словами совокупный эксплуататор пресекает любые проявления субъективного, вернее, субъектного фактора. А если самое похвальное и полезное в своей жизни ты можешь сделать, только став вещью, значит, жизнь надо менять. И Маркс, и Беньямин, и теоретики Франкфуртской школы исходят из того, что протест против отчуждения-овеществления есть спонтанная реакция разумного смертного существа. Так оно и было до поры до времени.

Категория отчуждения незаметно вышла из моды лет двадцать назад. Сегодня из заметных мыслителей разве что Э. Ласло и Дж. Агамбен изредка вспоминают об угрозе отчуждения, имея в виду, скорее, исчезновение субъектов, извлекающих прямую выгоду из блестяще организованной эксплуатации. Полное увядание риторики,

в течение двух столетий находившей отклик в сердцах миллионов, могло бы свидетельствовать о том, что проблема решена. Она действительно решена в духе знаменитого сталинского афоризма: нет человека — нет проблемы. Случилось страшное: наследники индустриальной эпохи перестали страшиться отчуждения.

«Нет ничего страшного в уподоблении вещам, — полагает теперь человек целлулоидно-плюшевой эпохи, верноподданный ПСК. — Когда-то, конечно, вещи были настроены враждебно: рычащие паровозы, шипящие сковородки и прочие их собратья, гроыхающие, неподъемные, скрипучие, того и гляди цапнут за руку или отдавят ногу. Теперь не то, новейшее поколение вещей настроено исключительно дружелюбно. Крем заботится о моей коже, шампунь прогоняет шесть признаков нездоровых волос и грязного Луи в придачу. Тефалевая сковорода думает обо мне. Да и прочие вещи приветливы, неспособны на подвох, такие же умные и благоразумные, как и я.

А вот эти *подозрительные субъекты* запросто могут выкинуть что-нибудь раздражающее. Что-то там у них внутри такое неправильное, хитрое, обманное. Пообщаясь с ними иной раз и сразу поймешь, насколько они несовершенны и утомительны. Поучились бы у тефалевых сковородок».

Опасений у движущегося к аутизму общества, конечно, хватает. Вдруг, например, окажется не по плечу высокий стандарт вещественности, и собственная постыдная некорректность вызовет чье-то раздражение... Нельзя также слишком сближаться — обнаруживаются и провоцируются нежелательные осложнения. В зонах сближения симметричность и транзитивность отношений пропадают. Многомерность бытия от первого лица, принципиальная

нестабильность самопрезентации воспринимаются как ненужное излишество, распушенность, как нечто безусловно отягощающее. Невидимое-для-другого перестает быть знаком особого отличия, за которое следует цепляться во что бы то ни стало. Если уход от идентификаций совершают другие — это скандал. Если я сам, то имеет место что-то вроде расстройства и нужно обратиться к психоаналитику, пусть он восстановит *положение вещей*.

Дрейфующий к аутизму не боится овеществления, ему непонятен страх Будды. «Прекрасно созерцать всякую вещь, — думает он, глядя в телевизор, — особенно эту замечательную Мышь. И как жаль, что невозможно стать ею». Пациент напрасно расстраивается: в век прогрессирующей анестезии нет ничего невозможного.

Разумеется, вещи, ставшие высокими образцами для подражания, должны были претерпеть немало трансформаций. Но действительно ли удалось воспроизвести, «вывести» поколение *вещей с человеческим лицом*? Пожалуй, скорее наоборот, во всяком случае, в процессе встречной адаптации на долю субъекта выпало не меньше приспособительных усилий. В цивилизации ольмеков довольно часто повторяется характерный скульптурный мотив, не имеющий аналогов в других культурах: собака в маске человека. Человек в маске животного вполне традиционен, ведь сокрытие Я от поглощающего взгляда — это минимальная стратегия самоидентификации. Зверь, ведущий себя по-человечески, — тоже естественная составляющая анимизма. Но животное в человеческой маске — уже нечто большее. Собака ольмеков могла бы стать тотемным животным Голливуда, если бы это место уже не было занято Мышью.

Как бы там ни было, но *маскировка* входящих в обиход вещей действительно доведена до совершенства. Прежде

всего было преодолено сопротивление материала и устранена привилегированность или даже эксклюзивность «собственного субстрата» для некоторого рода вещей.

Всячески маскируется и сделанность вещи, принцип ее устройства. Такой принцип означал бы претензию на самостоятельность, некую степень противостояния потребителю. Все «способности» агрегата должны быть вынесены на панель управления — только такой «человеческий интерфейс» будет по-настоящему политкорректным, тогда ему вправе подражать и человеческий «face», еще не достигший такого совершенства и не всегда придерживающийся принципа «keep smiling».

Панель современного бытового прибора — это и есть человеческая маска собаки. А если человек и не узнает себя в приветливом выражении интерфейса стиральной машины Bosch или изделия Siemens, так это с непривычки. Первые фотографии, предъявленные аборигенам Огненной Земли, тоже не вызывали узнавания. Опять же бедность мимики заставляет, конечно, воздержаться от далеко идущих сравнений. Но, во-первых, маска, она и есть маска. А во-вторых, обеднение мимики — неизбежное следствие анестезии. Кстати, аутизм как раз и сопровождается крайней бедностью экспрессии — в связи с отсутствием внутренней «хитрости» и рефлексивной глубины дистанцирования от бытия-для-другого¹. Вещи в масках и не стремятся быть похожими на подозрительных субъектов. Они уже сейчас ориентированы на идеального потребителя, человека будущего, от которого они действительно не хотели бы отличаться *лица необщим выраженьем*.

У вещей целлулоидно-плюшевой эпохи исчезает измерение «в себе» — пространство явленной веществен-

¹ Harris P. Pretending and planning in autism. L., 1991.

ности одномерно, как лента Мебиуса (что подметил еще Лиотар). Обратная, собственно «собачья», сторона вещей запакована в непроницаемый контейнер и лишена права голоса. Скорость выбывания из воплощенной экземплярности, как правило, не дает шанса «огрызнуться», отсюда и образцовая легкость обращения, провоцирующая к вытеснению субъектного начала отовсюду, откуда только можно. Не в последнюю очередь и из собственной персональности. Вещи с человеческим лицом знаменуют триумф скорости обменов. Но это скорость скольжения, достигнутая за счет уничтожения скорости (и самой потребности) проникновения.

Так выглядит ситуация с трансцендентных высот субъективности, с позиций художника, пытающегося отстоять свою миссию носителя вещного слова и вещного жеста. Однако проблема имеет и другое измерение, ибо в ПСК все более успешно обкатывается альтернатива художнику-пророку.

Некоторые очевидные и вроде бы никем не оспариваемые тезисы в то же время не рассмотрены всерьез (как сказал бы Гегель, известны, но отнюдь не познаны). В таком статусе необсуждаемости они существуют годами и даже десятилетиями, благодаря чему их историческая значимость остается невыявленной, так же как и их соотношение с общим фоном событийности. Вот тезис, который и будет интересовать нас в первую очередь: эпоха визуальности восторжествовала, что привело к отступлению слова — к его поражению на всех фронтах. Требуется теперь рассмотреть и осмыслить именно эту, вторую часть: что же означает *отступление слова*, каковы последствия утраты доминирующей роли устного и письменного текста?

Смещение акцента как раз и позволяет предварительно распутать вопрос, насколько это возможно без подробной аналитики. Ибо само по себе утверждение о торжестве электронных зрелищ способно ввести если не в заблуждение, то в некоторое замешательство: что же такого из ряда вон выходящего в «визуальном качестве» предложенных XX веком зрелищ? А как же гладиаторские бои? А коррида? Да и греческая трагедия в период ее расцвета едва ли уступала мультимедийному зрелищу наших дней. Конечно, зрелищные эффекты переведены в оптимальный ракурс и растиражированы, то есть доставлены принципиально большему количеству зрителей, но совершенствование фактуры остается в рамках эволюции, а солнечный закат отнюдь не превзойден по своей чистой визуальности.

Дело в том, что решающие события произошли и происходят не на территории зрелища (несмотря на манию

наглядности), а на территории слова. Именно порядок слов потеснен извне и обрушен изнутри — вот ситуация, требующая самого пристального анализа. Все еще при каждом удобном случае осуществляется апелляция к роскоши человеческого общения — однако что-то при этом смущает, некая странная деноминация единицы «роскошного общения», если не смена валюты. Можно вспомнить утверждение, разделяемое столь разными людьми, как Вольтер, Маркс и Честертон, его суть сводилась к следующему: самое важное и одновременно самое интересное в человеческом мире поддается выражению в словах. Так было прежде и, казалось, так пребудет во веки веков. «Любовь — это прежде всего слова любви»¹, — настаивает Ролан Барт, и весь его текст выстроен как развернутое доказательство данного тезиса. Ведь и истина есть в первую очередь слово истины, только слово может произвести впечатление на сущее и получить подкрепление делом. Одобрение, утешение, времяпрепровождение как таковое не то чтобы совсем уж ничего не стоят без речевого номинала, но обесцениваются многократно. Пусть даже реплики выглядят всего лишь символическими перемычками между фрагментами чувственной текстуры — без них рассыпается вся несущая конструкция.

Близкие люди, конечно, могут и помолчать друг с другом, и все же, в соответствии с привычным определением, интересный человек — это тот, кому есть что сказать. Неужели сегодня это уже не так? Пожалуй, не совсем так. Выражение «есть что сказать» все более отдаляется от своего первоначального значения. Да, есть что — но не на словах. Можно ведь поставить (выбрать и предложить) предпочитаемую музыку. Можно также показать кино,

¹ Барт Р. Фрагменты любовной речи. М., 2001. С. 116.

а с недавнего времени и свое собственное кино, хотя бы минутный ролик, заснятый на видеокамеру мобильного. Все это может показаться каким-то пустяком, однако речь идет не о востребовании готового произведения, а об «авторском кино», причем в статусе персонально адресованной реплики.

Тут, пожалуй, уместно вспомнить, что нечто подобное произошло когда-то и с готовыми речевыми произведениями, причем с теми, которые категорически не предполагали вариаций. Мантра, заклинание, устойчивая ритуальная формула соболезнавания или приветствия — их в один прекрасный момент научились (стали) применять ситуативно и изготавливать собственноручно. В сущности, это означало конец эпохи вещего слова и переход к эону поствавилонских наречий. Именно инфляция заклинаний, наряду с последующей мутацией защищенных от искажения инструкций, и вызвала в свое время к жизни роскошь человеческого общения.

Сопоставление обвала Вавилонской башни с современным переходом к SMS-режиму общения пока кажется несколько натянутым, и все же имеется некая последовательность этапов, позволяющая продолжить сравнение. Возьмем хотя бы письма красноармейца Федора Ивановича Сухова из «Белого солнца пустыни», эти церемонные и трогательные тексты, весьма далекие от какой-либо литературной изобретательности. Если сравнить их с «обменом любезностями» в жанре SMS, больше напоминающим груминг, взаимное почесывание обезьян, уместно будет говорить о катастрофе, вызвавшей обесценивание пресловутой роскоши, воспевавшейся многими гуманистами. Похоже, что перед нами уже свершившаяся мутация программных текстов, обеспе-

чивавших производство человеческого в человеке. Результаты мутации или, говоря словами Татьяны Толстой, ее «последствия» на первый взгляд предстают явными уродствами, однако выносить на этом основании вердикт о жизнеспособности новых форм не стоит. Гипотетическому коллективному разуму динозавров появившиеся первые млекопитающие тоже ведь должны были казаться редкостными уродцами: ничтожная биомасса, все в спешке, ничего основательного...

А преступные импровизаторы, посмеявшие поминать всуе священные тексты инструкций? А так называемые поэты, осмелившиеся досочинять и переделывать мантры? Незаконные приватизаторы священной собственности богов, разве они не казались вырожденками, мутантами испорченного социокода? Они и были таковыми, и для воспроизводства некоторых символических форм эта первая мутация сыграла роковую роль, оказавшись летальной. Подобно динозаврам вымерли *логоневрозы*, служившие хорошим эмпирическим доказательством непорочного зачатия¹. Исчезли знаменитые *стигматы*, вплетенные в религиозные переживания Средневековья, вымерли фигуры

¹ Логоневроз, или псевдобеременность, представляет собой имитацию внутриутробного развития плода у женщины под воздействием «экзогенного, преимущественно вербального раздражителя» (Советская Медицинская энциклопедия. Т. 4. М., 1959). Псевдобеременность под воздействием слова развивалась положенные девять месяцев и зачастую доходила до воспроизведения чрезвычайно болезненных схваток и появления лактации. Отмечается, что «в наше время» этот вид невроза практически исчез (см. там же). Однако в Средние века в Европе и на рубеже нашей эры в Палестине логоневроз не был такой уж особой редкостью. Хорошую подборку материалов можно найти в книге: *Avital Ronell. The Telephone Book. Nebraska, 1984. P. 216—234.*

мгновенной действенности символического вроде проклятий, срабатывавших прямо в момент произнесения¹.

В процессе формирования роскоши человеческого общения (развернутой вербальной коммуникации) прямая сверка с эталоном уступила место искусству искусства и новым критериям, прежде всего — критерию вкуса. Именно после разрушения Вавилонской башни, то есть первой, архаической диктатуры символа, стало ясно, что самое интересное в человеческой жизни есть то, что можно сказать словами — обговорить. Прежняя установка предполагала, что болезнь можно *заговорить*, — и демонстрировала, как это сделать, — озвучивая в форме буквальной рецитации вещую формулу, устраняющую порчу. Следующая установка (похоже, что для нас уже предыдущая) сводилась к тому, что боль и болезнь можно *обговорить*, благодаря чему, возможно, и будет устранена ее причина. А даже если и не будет, то внакладе вы не останетесь. Как бы мы ни относились к претензиям психоаналитической техники на исцеление (прямое исцеление в духе *талифа куми*, знаменитых слов Иисуса, разумеется, в поствавилонской ситуации уже невозможно), всегда оставалось более важное, хотя и «не объявленное» Фрейдом предназначение. В формулировке Н. Савченковой оно звучит так: «Психоанализ — это шанс самого интересного разговора в вашей жизни».

И вот этот-то шанс, наряду с некоторыми другими, как раз и перечеркивается в результате мутации, в ходе катастрофического падения значимости вербальных обменов вообще. Вторжение фрагментов видеоряда в скоростные участки коммуникации более не означает совместно взятой паузы, беглые картинки микромониторов прекрасно

¹ Некоторые примеры приведены в работе Фрейда «Тотем и табу».

вписываются в скоростной вираж. Как правило, картинки, становившиеся предметом коммуникации, создавали двойное замедление: помимо всматривания предполагалось словесное удвоение — *обсуждение*. Это удвоение указывало на наличие привилегированной, универсальной валюты символического — *слова*, валюты, в которую могло и должно быть конвертировано «остальное символическое». Теперь удвоение перестает носить характер обязательности, общение считается состоявшимся и при его отсутствии, причем нисколько не страдает субъективное ощущение содержательности.

С точки зрения необратимости мутации важен распад некоторых стандартных модусов общения, равно как и возникновение новых за счет изъятия эталонов высокого символического в сферу сорной вариабельности (или, если угодно, профанной деконструкции). Так, революция, ознаменовавшая начало эпохи поствавилонских наречий, как раз и сопровождалась изъятием из неприкосновенного запаса культуры ритуальных проклятий, заговороваговоров и их переводом в стандартный режим общения. Вполне допустимо предположение, что именно с этого момента становится возможным использование всуе нецензурной брани. Интересно, что в местах, где законы структурной антропологии сохраняют свое действие или реставрируются, например в местах лишения свободы, вновь приходится «фильтровать базар», и брань перестает быть безнаказанной. То есть лишение свободы, возвращающее субъекта к некоторому первоначальному или по крайней мере предшествующему статусу, позволяет увидеть, какие именно свободы были обретены и, главное, чем оплачены. Лишенный свободы лишается права «выражаться» — и это, скажем так, наносит ущерб экспрес-

сивности языка, ставя жесткие преграды спонтанным потокам речи. Если вдуматься, то свобода слова, понимаемая как одно из фундаментальных прав человека, производна от общей ситуации поствавилонских наречий, то есть от универсальной стихии нефильтрованного базара. Ведь свободу *ответственного* слова никто никогда не отнимал, да и отнять не может, если слово твое не рассчитано на то, чтобы быть всего лишь кимвалом бряцающим, если к нему прилагается некое «золотое содержание» дела, готовности к риску, к боли и претерпеванию для подкрепления номинала, — тогда перед нами слово как изначальное проявление человеческого в человеке.

Ситуация в корне меняется, когда привязка к золотому содержанию (например, к валюте боли) выпадает, как это произошло некогда с ассигнациями. Освобожденное от возмездия бытия слово вздымается могучей волной раскрепощенной брани, похвалы, пустопорожних обещаний, затем второй волной *искусства* и, наконец, рябью политической риторики, которая, собственно, и получает название свободы слова. Ничем (ничем существенным) не подкрепленные слова обмениваются друг на друга, и *на них же* обмениваются все прочие предъявления символического. Впрочем, как уже отмечалось, возникает новый имманентный критерий — *порядок слов*.

Теперь вновь обратимся к началу интересующей нас второй революции, которой, как это ни удивительно, есть что свергать и разрушать. Искусство все еще остается аналогом неприкосновенного запаса (НЗ), имеющиеся в его распоряжении образцы — скажем, классические произведения или хотя бы произведения признанные — тоже на свой лад защищены от порчи. Они выдаются из ячеек хранения по мере востребования или путем случайной дис-

трибуции; выдаваемые образцы при этом должны быть оставлены без изменений: их можно только *обсудить*. В сущности, примерно так же обстояло дело в «структурной антропологии», когда выдаваемые для разового ситуативного применения образцы проклятий или, допустим, формул благодарения возвращались неповрежденными, как драгоценные чаши — без трещин и отбитых краев. Регулярное обращение к эталонам и бережное с ними обращение именовалось благочестием (или чем-нибудь в этом роде). Столь же регулярное обращение к тезаурусу Искусства традиционно называлось, да и сейчас еще называется «духовностью» (как варианты — «высокая образованность», интеллигентность, etc.).

Имеющимся в его распоряжении средствами Искусство пресекает попытки заземлить, приватизировать ценности¹, приписанные к ячейкам вечного хранения, — так называемую нетленку. Проявляемые вольности рассматриваются, например, как *профанация* — использование этого восходящего к временам вещего слова термина, разумеется, не случайно. И хотя поствавилонская профанация не наказуема смертью или исключением из социума, она все же существенно понижает статус отступника, действия которого описываются как «мещанство», «невежество» и т. п.

Оружие высокомерного презрения и насмешки со стороны жрецов Искусства до недавнего времени действовали достаточно эффективно — массовая культура, несмотря на свою массовость, в иерархии ценностей котиновалась не слишком высоко. Ситуация начала заметно меняться

¹ Средств в распоряжении немало — от инстанции вкуса до эротической значимости правильных, «благочестивых» жестов обращения с искусством.

в последние десятилетия¹ — и ее вполне можно назвать революционной ситуацией. Похоже, что призыв Йозефа Бойса «взять штурмом Бастилию искусства» услышан и принят как руководство к действию. Как всегда, разумеется, не обошлось без превратности: тяжелая артиллерия авангарда, на которую рассчитывал решительный немец, оказалась не у дел (неудивительно, ведь в действительности она всегда лишь защищала Бастилию), зато диджеи виртуальных пространств взялись за дело всерьез.

Успешный штурм первых редутов можно назвать «падением интерпретации». Вспомним еще раз в изменения курса универсальной валюты. Конечно, лукавство на этот счет присутствовало всегда: постоянные утверждения насчет того, что музыку нужно слушать, а не рассусоливать о ней, в живопись — вникать, а не сверять впечатления с буклетом и так далее. Общим местом расхожих критических обзоров зачастую была фраза «Об этом не расскажешь словами» — после чего, как правило, следует многословный пересказ, без которого и вправду можно было обойтись.

Тем не менее и поэты, и художники, и композиторы, и режиссеры ждали и ждут интерпретации. Они ждут слова — с жадностью, с нетерпением, порой ждут его даже больше, чем денег. И владеющий словом, настоящий специалист по словам, котируется очень высоко, он и выносит вердикт о причислении того или иного художника или поэта к лику Художников или Поэтов. Со свойственной ему пронизательностью Борис Гройс формулирует скрытую интенцию этой уходящей эпохи: «Было бы неверно утверждать, например, что Бодлер переоценивал Гиса,

¹ Хороший анализ происходящих и происшедших изменений дает Борис Гройс. См.: Гройс Б. Комментарии к искусству. М., 2003.

а Гринберг — Олитски, ведь критическая прибавочная стоимость, которую они при этом произвели, обладает собственной ценностью и способностью стимулировать других художников. Предрассудок считать, что критический текст должен правильно понимать, описывать или оценивать произведение искусства. Во многих случаях критические тексты гораздо интереснее художественных произведений, выступающих как повод для их написания. Часто критик видит в работе больше, чем в ней содержится. В этих случаях приближаться к произведению искусства означает для критика всего лишь писать интереснее, чем само это произведение. Постоянно утверждается необходимость заново интерпретировать старые известные произведения, поскольку их прежние интерпретации якобы стали неверны. Но было бы намного интереснее заново проиллюстрировать старые комментирующие, художественно-критические тексты»¹.

Перед нами некая полнота самоотчета, относящаяся, как это нередко бывает, к уходящей эпохе. В сущности, явочным порядком концептуализм «учел» пожелание Гройса, включив уровень интерпретации в художественную ткань или, попросту говоря, в текст произведения. На авансцене искусства кураторы и авторы проектов играют первые роли, опережая «собственно художников» уже не только в деньгах, что всегда было правилом, но и в известности. Однако в глубоких слоях «бытования искусства» ситуация решительно меняется: участники текущего общения перестают прибегать к использованию стационарных произведений искусства для украшения избранного фрагмента коммуникации. Умное, проникновенное слово или хотя бы слово, пытающееся быть таковым, мягко го-

¹ Гройс Б. Комментарии к искусству. М., 2003. С. 20–21.

воря, не царит там, где происходит итоговое потребление продукции символического. Среди массовых держателей акций, инвестирующих какие-то ресурсы своего времени в распредмечивание произведений искусства, слово интерпретации больше не является высоколиквидной голубой фишкой. Возьмем навскидку два феномена, которые на первый взгляд достаточно далеки от миропотрясающих практик и от экзистенциальных мутаций. Но интуитивно усматривается их фундаментальная значимость.

Во-первых — язык электронных носителей, который уместно будет назвать *сетез* по аналогии с оруэлловским *новоязом*. Это язык посланий, чатов, живых журналов и всего самовозрастающего содержания Интернета. Постараемся воздержаться от традиционного ворчания архайстов всех времен и народов, отметив тем не менее следующее. Сетез не является сугубо молодежным жаргоном, на нем разговаривает и мыслит¹ интернет-поколение в целом, поколение, которое сегодня уже не может рассматриваться как возрастная категория. Дело именно в некотором неосознанном (хотя иногда и осознанном) намерении во что бы то ни стало понизить курс универсальной валюты символического. Несмотря на высокие скорости, аграмматизм чатов и форумов с их принципиальным безразличием к порядку слов идет не от спешки. Перед нами реализованный наконец совет Остапа Бендера «не говорите кра-

¹ Мыслит, соприкасаясь пальцами с клавиатурой. Дистанция между мыслью и ее публичным (для другого) выражением вновь сократилась, и притом на порядок. Плоды такой «мысли» уже неудобно называть скороспелыми, им больше подойдет определение «скорострельные». Еще Вундт в свое время обнаружил, что процесс мышления сопровождается «остаточными микродвижениями языка». Не исключено, что сегодня вместо этого наиболее продвинутые представители интернет-поколения шевелят пальцами во сне.

сиво»: сетез относится к традиционной авторизованной письменной речи примерно так же, как печатный шрифт к каллиграфии, — диковинно, конечно, но к чему так выпендриваться, здесь все свои...

Итак, каналы электронного общения выстилаются первыми попавшимися словами, индивидуализация связана в основном с теми моментами, где еще можно сработать на понижение, — это во-первых. Во-вторых, уже упоминавшиеся визуальные средства — картинки, заставки, мульты, смайлики и прочая электронная мишура используются не в качестве иллюстративного материала, а в роли, в которой прежде активно использовалось только слово, в роли интерпретации и комментария. Авторизованная предъявляемая продукция видеоряда и есть, в сущности, интерпретация, только лишившаяся вербального характера. В зависимости от успехов в этой новой сфере обменов устанавливается статус интересного собеседника, крутого парня, умной, продвинутой девочки. Трудно опознать в этих предъявлениях *фрагменты любовной речи*, но если хорошенько всмотреться, сомнений не остается — это они. Точнее говоря, и они тоже.

Тут хочется поделиться еще свежим в памяти впечатлением, которое, собственно, и послужило поводом для размышлений, отраженных в этой главе. Одна из московских знакомых повела меня в гости к «очень интересному человеку». Этот молодой парень по имени Колян был охарактеризован как современный художник, продвинутый и «во все врубающийся».

Колян действительно оказался популярным и на редкость востребованным: во время нашего визита народная тропа к нему не зарастала. Сказать, что хозяин был не слишком разговорчив, было бы неточно: помимо технических компьютерных и сетевых терминов, он время от

времени изрекал один-единственный звук, что-то вроде «гыы». Я сначала заподозрил розыгрыш или преднамеренный эпатаж, но вскоре убедился, что в других звуках, в сущности, не было необходимости, народ впечатлялся и так, «не цепляясь к словам».

Несмотря на чрезвычайную схожесть с дебилом, Колян дебилом, конечно, не был, а был именно гуру, обладателем знания и мастерства, вызывавшего восхищение. Гуру то и дело присаживался к своему компьютеру, вытаскивая всевозможную электронную мишуру на монитор, он мгновенно оценивал оформление сайтов — преимущественно без слов, курсором, демонстрировал «мульти», как собственные, так и *найденные в Сети*, и вообще производил оценку или, лучше сказать, котировку, ибо выносимые им вердикты были удивительно *верны*, это мог оценить даже я. Просто электронный гуру не пользовался нашими словами — быть может, литературный язык в таких случаях атрофируется за ненужностью, — но на своем родном сетезе он осуществлял искусную и по-своему безупречную интерпретацию. И некоторые из девушек бросали на него влюбленные взгляды, а прочие проявляли уважение — совершенно *по делу*.

Помнится, я тогда с грустью подумал: если это и есть авангардно-революционной модус бытия, росток настоящего будущего, понесенные потери будут воистину колоссальными. Какое значение тогда будут иметь внутренние разногласия между философами или там искусствоведами? Никакого, в сущности, ибо их опустят всех сразу, отбросив устаревший (почти за тысячелетие!) дискурс. Ибо перевести произведения традиционных дискурсов на сетез — задача еще более безнадежная, чем перевод гегелевской «Феноменологии духа» на язык узелковой письменности инков.

Так был задан предмет для размышлений, и лично мне к однозначным выводам пока прийти не удалось. Не только потому, что заявленное будущее может все же не состояться, — хотя некоторые кажущиеся необратимыми изменения уже произошли, но неясной остается даже оценка. Вот и у меня первоначальная грусть от встречи с Коляном вскоре сменилась умеренным оптимизмом.

Да, референтная группа Коляна состоит из людей, которым совершенно не скучно друг с другом и уж тем более со своим гуру. Они, правда, предстают не столько собеседниками, сколько «сокамерниками» (партнерами по веб-камере), поскольку, безусловно, довольствуются врожденным или благоприобретенным косноязычием и при этом успешно репрезентируют себя в качестве *bright persons*, изымая из мировой культуры весьма разнообразные экстракты, поддающиеся переводу на сетезы. Да, с позиций классической культуры (и уж тем более с позиций духовности) эти лидеры электронных тусовок и *web-состязаний* выглядят варварами, но опять же, а кем выглядели те безответственные пииты, начиная с Гомера, отважившиеся на авторскую поэзию и предопределившие гибель эпохи Вещего Слова?

Но не будем ходить так далеко, обратимся к Карамзину, главному реформатору за всю историю русского языка и основному фигуранту в споре *архаистов* и *новаторов*¹. Известно, что Карамзин ввел в литературный оборот не только множество новых слов, но и целые языковые практики, например широкое употребление уменьшительных и

1 Тема достаточно подробно исследована Ю. М. Лотманом как в многочисленных статьях, так и в книге «Карамзин». См. также сборник под редакцией И. В. Тимофеева «Архаисты и новаторы» (СПб., 2001).

ласкательных суффиксов. В текстах Карамзина впервые появляется «девушка» вместо привычного «дева», наряду с «книгой» появляется и «книжка». Прежде, до Карамзина, такое словоупотребление было возможно лишь в детской речи или в специфическом «сюсюкающем» языке, на котором разговаривают с маленьким ребенком. На это обратил внимание уже главный противник Карамзина, лидер «архаистов» отставной адмирал Шишков, который со всей доступной ему язвительностью писал, что «лишь уподобившись неразумному дитяти» можно печатно использовать нелепое слово *птичка* вместо общепринятого нормального слова *птица*... Порча языка — великого русского языка Ломоносова и Аракчеева — представлялась очевидной, и вполне возможно, что Николай Карамзин казался Шишкову таким же Коляном.

Сложно, однако, сказать, насколько пример Карамзина может быть в данном случае убедителен, ведь сетезяз в качестве нового универсального медиума коммуникации не просто отменяет ту или иную устоявшуюся норму, но и преодолевает «вербальный централизм» вообще. Некогда Пушкин провозгласил гордый девиз пиита: *глаголом жечь сердца людей*. В условиях сформировавшегося в это же время литературоцентризма русской культуры совет оказался очень даже действенным, и кто только им не воспользовался — от Белинского до апостолов перестройки Клямкина и Нуйкина. Похоже, лишь сегодня девиз потерял свою актуальность.

Нетрудно вообразить себе сцену апофеоза взаимного непонимания между авторами, оказавшимися по разные стороны ширящегося тектонического разлома. Вот верный последователь Белинского и Некрасова в очередной раз излагает заветный тезис. И слышит в ответ:

— Глаголы больше не зажигают...

— А что же тогда? — растерянно спрашивает поэт, при-
выкший, что в России он больше, чем поэт.

— Гы...

Сторонний наблюдатель может беспристрастно конста-
тировать свершившийся факт: глагол и в самом деле утра-
тил свою зажигательную силу.

Но потери, понесенные глаголами, в меньшей степени
коснулись других средств репрезентации символического,
а некоторые из них выиграли в результате происходящей
на наших глазах мутации. Обратимся к музыке, которая
по некоторым параметрам составляет совершенно обосо-
бленную сферу или подразделение искусства. Именно му-
зыка заставляет призадуматься над весьма своеобразной
точкой зрения Георга Лукача, согласно которой никогда
не было единого «протоискусства» (ни примитивного, ни
синкретического, никакого), разделившегося впослед-
ствии на дифференцированные виды и жанры; наоборот,
независимые и разнородные явления символического были
со временем собраны под общим собирательным именем
«искусство», при том что принудительное единство иску-
ства само по себе все равно остается в высшей степени ис-
кусственным¹. Искусство по Лукачу — что-то вроде «при-
правы»: известно, что в некоторых кулинарных традициях
в список приправ включаются хлеб и даже вино, но ис-
ключается, например, чеснок. В будущем вполне мыслимо
появление новых принудительных синтетических единств,
способных конкурировать с искусством в качестве явле-
ний реальности. Почему бы в альтернативной раскадров-
ке символического не породить уже в ближайшее время
какой-нибудь «спарт» (sport + art), куда были бы вклю-

¹ См.: Лукач Д. Своеобразие эстетического. Т. 2. М., 1984.

чены некоторые виды спорта и кое-что из ведомства традиционного искусства, при том что этот сплав оказался бы более прочным и органичным, чем многие произвольные конструкции сегодняшнего дня.³

Музыка изначально обладает объективной сенсорной автономией, которая, правда, разрушается с появлением *musica ficta*¹. Зато эта субъективная и во многом субъекто-образующая музыка имеет один очень важный в нашем случае аспект, роднящий ее с искусством слова и отличающий от прочих искусств, скажем от живописи и фотографии. Этот общий элемент — способность к собственной имманентной интерпретации. Дело в том, что музыку можно пояснять музыкой примерно в том же смысле, в каком мы поясняем слово словом, — а ведь не существует архитектуры, которая поясняла бы и интерпретировала архитектуру, ибо архитектура, равно как и живопись, интерпретируется словом, универсальным медиатором символических обменов².

Дирижер, интерпретирующий музыку, остается при этом музыкантом в отличие от интерпретатора поэзии, не являющегося поэтом (или являющегося им лишь «приходящим образом», как сказал бы Аристотель). Альтернативные возможности, депонированные в позиции дирижера, в полной мере раскрываются лишь сегодня.

¹ Секацкий А. Партитура неслышимой музыки // Прикладная метафизика. СПб., 2005.

² Изобразительное искусство (в отличие от живописи как таковой), начиная как минимум с русского авангарда, обретает тенденции к самоинтерпретации. Постмодернизм узаконивает изображение, единственный смысл которого — быть комментарием (интерпретацией) другого изображения. Но в этом случае мы имеем дело всего лишь с иллюстрацией слова, с его простым инобытием. Постмодернизм как раз и доводит до предела роль слова как единой, бесппроблемно конвертируемой валюты символического.

Для экспансии альтернативной валюты взаимопонимания потребовалось еще одно преобразование — переход от позиционности дирижера, являющегося «композитором второго порядка», к роли диджея, «композитора третьего порядка». Диджей фактически примеряет статус нового интерпретатора, который навязывает свою волю (свой вкус), не говоря ни слова или, во всяком случае, не выбирая слов («вау» или «гыы» прекрасно подходят). При этом внимающие диджею оценивают его аргументы, соглашаются с ним или вступают в спор — хороший диджей получает награду, которая прежде доставалась лишь интересному собеседнику, и важность этого обстоятельства трудно переоценить.

Музыка, на которую можно ответить музыкой, существовала всегда, хотя и маргинальным образом. Предпринимались попытки проследить трехвековую переключку музыки и математики, наполненный смыслом диалог, не нуждавшийся в вербализации¹. Можно вспомнить магистра Музыка из «Игры в бисер» Германа Гессе или традицию восточной эзотерики, согласно которой истинное понимание не требует слов. Но действительное осуществление утопии бессловесного понимания наверняка привело бы в ужас всех авторов проекта.

Возможна ли музыка как реплика в споре, способная разрешить спор, не прибегая к словам? Вполне, однако такая музыка бесконечно далека от прихотливых созвучий Касталии, провинции Игры. Ее образец — это звуковая заставка на мобильном телефоне, которая сегодня порой говорит больше, чем собственно слова, произносимые в трубку. Однако и здесь не все так просто.

¹ Hofstadter D. R. Goedel, Esher, Bach, an Eternal Golden Braid. Harvester, 1979.

Чаты, SMSки, мобильные звонки, заполонившие до отказа сферу внешней сенсорики, создают иллюзию гиперкоммуникабельности, готовности вступить в контакт по любому поводу и вообще без повода. Ситуации неожиданного ostrанения позволяют от такой иллюзии избавиться. Вот мы, я и мой семнадцатилетний сын Даниил, входим в вагон электрички. Усевшись на сиденье, Даниил, недолго думая, достает наушники и включает плеер. Я тоже достаю книгу и собираюсь в нее уткнуться — привычная картина. И вдруг я соображаю: ведь еще утром Даниил мне сказал, что у него «сели батарейки», и следовательно, никакой музыки он не слышит. Я искоса поглядываю на него, думая, что это специально на меня рассчитанный розыгрыш. Сын, однако, пребывает в отстраненном состоянии, не обращая на меня внимания: вид у него точно такой же, как если бы он действительно слушал музыку. Он даже не сразу понимает причину моего недоумения. На прямой вопрос «Что бы это значило?» он тоже отвечает не сразу и с некоторым трудом:

— С музыкой, конечно, было бы лучше, но на крайний случай и так сойдет.

— Что сойдет?

— Ну, не будут доставать. Увидят, что человек занят, плеер слушает, значит, ему не до тебя. Никому не придет в голову вопрос задать, и вообще...

Слова эти меня поразили, и я тут же стал Даниила «доставать». Из дальнейших расспросов выяснилось, что роль симулякра вполне может сыграть и мобильный телефон: если прислонить его к уху и что-нибудь время от времени говорить, то тоже обеспечивается какая-то защита...

Тут у меня возникло страшное подозрение, полностью подтвержденное в ходе дальнейшей проверки: мы-то ду-

маем, что *они*, эти тинейджеры, погружаются в свою незатейливую музыку, в быструю и непрехотливую переключку сетеза для того, чтобы побыстрее оказаться там, в прекрасном виртуальном далёко. И им там, конечно, хорошо и интересно. Но похоже, что главный побудительный мотив все-таки иной — покинуть *отвратительное* здесь, уйти отсюда. Готовностью откликнуться на любую болтовню в чатах прежде всего выносятся приговор невыносимой действительности, преодолевается дискомфорт присутствия реального Другого. Наушники — это не только и не столько мостик в тот мир, сколько опущенное забрало пожизненно уставшего от жизни рыцаря. Подобный выбор, совершаемый в поколенческих масштабах, обрисовывает негативные условия обращения к сетезу. Хотя вещие глаголы больше не зажигают сердца, но все же контакт с ними вызывает чувствительные ожоги — как же не принять минимальных мер предосторожности, чтобы от них уберечься?

На помощь музыке своевременно пришло *новое документальное кино*, ставшее благодаря видеокамерам мобильных телефонов эффективным выразительным средством сетеза. Главное даже не техническая простота его производства, а возможность «снимать» подобное кино для нескольких друзей. Речь идет о такой производственной модификации, которая принципиально обесценивает запас готовых эталонных продуктов: Архив, священный коллектор искусства хранимого, преобразуется в склад, а тот, в свою очередь, в подручный запас, который можно пополнять без эксклюзивных (отягощенных талантом) усилий.

Следует огласить уже предпринятые усилия по обесцениванию Архива, предварительно отметив, что «Черный

квадрат», равно как и прочие эпатажные жесты художественных авангардов, не имеет к ним никакого отношения, ибо эти радикальные манифестации художественной воли направлены как раз на защиту поставившихся святынь. Зато ломография, скоростное производство беспорядочных фотоснимков, имеет к интересующему нас вопросу самое прямое отношение. Киноаналог этого явления, свирепствующий сегодня среди обладателей мобильных с видеокамерой, еще не получил своего имени. В первом приближении это *бросовое кино*, фактически анимированная ломография. Откроет ли бросовое кино какие-нибудь «новые творческие возможности» — говорить преждевременно, но подобную задачу и не ставит сегодняшней «сам себе режиссер», нисколько не напрягается по этому поводу и современный «сам себе кинокритик». Но не будем забывать две вещи. Во-первых, ломография все-таки обрела статус искусства. А во-вторых, уже в самом развитии кино увлечение трэшем, скрытой камерой, общедоступными компьютерными программами анимации представило в новом свете известные ленинские слова «из всех искусств важнейшим для нас является кино». Ленин имел в виду, конечно, массового зрителя. Сегодня наконец речь может идти и о массовом режиссере¹.

Кстати, упоминание Ленина позволяет увязать наступление эпохи сетеза с таким явлением, как Пролеткульт. Эстетическая воля победившего пролетариата, в том виде, в каком она была сформулирована Александром Богдано-

¹ С точки зрения бросового кино разница между «большим» игровым кинематографом и традиционной кинодокументалистикой несущественна. Вновь обретенная степень документальности позволяет зачислить прежних оппонентов в один класс «долгоиграющего костюмного кино».

вым, предполагала экспроприацию эксклюзивных творческих инструментов у собственников Логоса, несравненно более ревностных, нежели собственники Тельца¹. Пролеткульт провозгласил своей целью вовлечение всего народа в процесс художественного производства. Как и многие экзистенциальные авангарды, вызванные к жизни Октябрьской революцией, Пролеткульт опередил свое время и потому вскоре был разоблачен, высмеян и эстетически заклеямен — казалось бы, навеки. Тем не менее эстетические принципы, впервые обкатанные на Полигоне², были востребованы вновь, как только наступило время их технической разрешимости. Низвержение высокого искусства теперь воспроизводит во многих деталях практику Пролеткульта: решительно (и без сожаления) отброшен пафос *нерукотворного*, адресованность посланий *urbi et orbi* вытеснена персональной адресованностью, да и статус законченного произведения неуклонно сближается со статусом ответной реплики. Самое существенное отличие (если отбросить технический фактор) состоит именно в выборе универсального медиатора — слово, бесспорно бывшее таковым во времена Пролеткульта, уступает место ломографии, «саундграфии» и бросовому кино.

Горизонты будущего, даже ближайшего, пока неясны, зато вырисовываются контуры положения дел, ставшего неприемлемым. Единство целой эпохи нередко постигается именно таким негативным образом. И мы теперь вправе

¹ По меткому замечанию Константина Крылова, формула «интеллигенция — это духовная аристократия» верна лишь наполовину. В действительности интеллигенция — это духовная буржуазия. См.: Крылов К. Нет времени. М., 2006.

² Секацкий А. К. Вирус утопии: проблема передачи // Прикладная метафизика. СПб., 2005.

задать вопрос: может ли определяться эпоха ее собственным специфическим страхом? Ведь содержание и даже формы невроза несут в себе следы исторической обусловленности — будь то уже упоминавшиеся стигматы и логоневрозы Средневековья или «модные» обмороки чувствительных барышень в конце XVIII века. Компьютерная цивилизация или, если ограничиться более компактными рамками, формация электронных игр смогла породить собственную фобию, подспудно уже определяющую мироощущение и самоощущение не только выдвинутого в будущее авангарда.

Речь идет о достаточно странном, можно даже сказать, химерном синтезе агорафобии и клаустрофобии, постепенно *наигранном* в электронных играх. Безусловный страх открытого пространства (множественности разомкнутых времен) как бы дополнен клаустрофобической боязнью территорий, в которых течет свое, никуда не вырывающееся вязкое время. Что же остается при таком сгущении страхов? Желанным и спасительным выходом, подсказанным игрой, оказывается расстилающийся коридор линейно-упорядоченной событийности.

Во-первых, замкнутый характер коридора продиктован агорафобией, страхом перед полнотой и открытостью жизни. Субъект (пока еще субъект), поместивший себя в это огражденное, экранированное пространство, уходит тем самым от провоцирующей открытости бытия среди других и навстречу Другому. В потоке компактной линейной событийности он чувствует себя куда увереннее.

Но, во-вторых, избавившись от пугающего многообразия внешнего мира, субъект может легко оказаться в не менее опасной ловушке, где ему светит перспектива остаться наедине со своими мыслями и вообще наедине с

самим собой. Такая перспектива для субъекта абсолютно неприемлема, ощущение того, что *некуда бежать*, приводит его в отчаяние.

Из ловушки все же можно вырваться, притом единственным способом — если мчаться прямо по коридору, успевая нырнуть в открывающийся на мгновение поворот. Ключевой вопрос здесь — что же движет бегущим по лезвию, по линеечке оставленного коридора? Что удерживает бегущего в абсолютной собранности, захватывая дух и пленяя душу?

Безусловно, есть некая «позитивная» цель, передающая позывные чистого авантюрного разума. Регистрация этих позывных задает направление движения к их первоисточнику¹. Однако не менее, а может быть, и более важна негативная точка, точка отталкивания. Предпринимаемое бегство — это бегство от действительности с ее дискомфортными обстоятельствами, не позволяющими найти здесь убежище, — несомненно, степень невыносимости мира сего возросла на порядок. Дело обстоит так же, как и в случае с наушниками, когда стремление погрузиться в музыку очевидно и считывается невооруженным глазом — однако оно все же уступает более мощному негативному стремлению заблокировать невыносимую действительность. Побег в виртуальном электронном пространстве представляет собой еще более чистый случай того же рода.

Позитивный момент влечения очищен и усилен новой универсальной фобией — *страхом зависания*. Страх этот является уникальной комбинацией разнонаправлен-

¹ Анализ аттракторов чистого авантюрного разума представлен в работе «Книга номада». См.: *Секацкий Александр*. Три шага в сторону. СПб., 2000.

ных фобий. Синтезированное под давлением авантюрное время, внутренне пустое и задаваемое лишь проекцией точечного будущего, порождает и собственного деятеля, которого уже нельзя назвать субъектом в традиционном смысле, — это развоплощенный из реальности агент, отмытый от всего «лишнего», от наносов разнокачественных временных потоков. Полнота присутствия субъекта не делегирована этому агенту (стремительно эволюционирующему в направлении к хуматону), а изъята им в форме одержимости. Свою реальность он обретает, когда мчится по расстилающемуся коридору, движимый страхом зависания, самой достоверной на сегодняшний день разновидностью страха смерти. И ясно, что мы не вправе ждать от него слишком уж членораздельной речи, порождающей роковые замедления.

ТРАНСПАРАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Содержанием транспарации является синтез континуума. Помимо всего прочего это означает, что обособленные сферы человеческого опыта теряют свою обособленность: по состоянию на сегодняшний день уместно говорить об ускоряющейся конвергенции экономики, политики, искусства, эротики, связанных друг с другом не причинно-следственными отношениями, а скорее отношениями челночного кругового взаимоприспосабливания. Для удобства рассмотрения можно считать, что эти сферы самопрезентации субъекта поочередно выходят в лидеры транспарации, передавая затем эстафетную палочку соседней области субъектного. Во всяком случае, *чистой экономике* не принадлежит сегодня первенство в причинении всех прочих общественных феноменов, да и о существовании чистой экономики в том виде, в каком она существовала в индустриальную эпоху, говорить не приходится.

Поэтому, говоря об экономике как о сфере, где *преимущественно* осуществляется производство и дистрибуция вещей, мы можем выделить традиционную территориальность производственных процессов (сферу юрисдикции законов политэкономии) и «показную экономику», представленную различными индикаторами в общем пространстве континуума.

Зеркало показной экономики оказывает мощное и неуклонно усиливающееся влияние на первичный феномен, воспроизводя тот же по своей природе эффект, что и воздействие медийной репрезентации политики на саму политику, что и вообще всякое воздействие фактора медиапригодности на *простую фактичность мира*. Отправной

точкой рассмотрения могут послужить простые эмпирические очевидности. Во-первых, любая национальная экономика должна заботиться об оформлении своей витрины, то есть о тех интегральных или попросту модных показателях, которыми принято оценивать экономику на страницах крупнейших бизнес-изданий типа *Financial Times* и *Business Week*. Во-вторых, благополучная витрина способна некоторое время скрывать очень даже серьезные неполадки: первые, уже случившиеся кризисы репрезентации ничему не научили мир и не остановили медиатаксист экономики. Понятие кризиса репрезентации, сменившего классические кризисы перепроизводства, следует рассмотреть подробнее.

В конце XX столетия без видимых причин мир вступил в полосу нового экономического кризиса, хотя и несравнимого по своим масштабам с Великой депрессией 20—30-х годов, но пугающего и крайне симптоматичного. Это, как всегда, произошло неожиданно: казалось, что мировая экономика, опутанная сетью Интернета, контролируемая индексами деловой активности и международными рейтинговыми агентствами, надежно защищена от прорывов иррациональной стихии.

Отметим прежде всего, что масштабный экономический сбой, получивший название «крах юго-восточных тигров» (можно смело предположить, что речь идет о первых толчках), явно не походил на классические кризисы перепроизводства, описанные еще Марксом; не вписывается он и в знаменитую «теорию волн» Кондратьева. С традиционными показателями состояния экономики — с производительностью труда, соотношением спроса и предложения, средней нормой прибыли и т. п. как будто бы ничего не произошло. Первыми знаками беды стали другие индикаторы.

торы — падение котировок акций и обвалы национальных валют — то, что принято называть интегральными показателями состояния экономического организма. Аналогия с организмом представляется очень удобной для понимания первопричины кризиса, особенно для объяснения одной странной вещи: почему все косвенные индикаторы (биржи, финансовые институты, настроения инвесторов) вдруг стали зашкаливать и перегорать как бы сами собой, не столько отражая реальные поломки в системе хозяйствования, сколько опережая и провоцируя их. Сработал эффект «взбесившегося термометра».

Представим себе медицинское учреждение, где пациенты лечатся и проходят профилактику. Сначала доктора по старинке расспрашивают больных, измеряют давление, прощупывают пульс, берут мочу на анализ. Потом начинают пользоваться рентгеновскими снимками, флюорограммами, томографами: появляются специалисты, которые уже не сталкиваются лицом к лицу с больными, — именно им все чаще доверяют решающее слово при вынесении вердикта о состоянии здоровья. Теперь предположим, что у всех потенциальных пациентов появились датчики — что-то вроде наручных часов, способных считывать информацию о состоянии организма и регулярно передавать ее на центральный пульт. За пультом приглядывают люди, по традиции все еще именующиеся врачами. Они иногда вмешиваются в работу компьютера, но главным образом наблюдают. И вот от избытка досуга кому-то приходит в голову идея создать «сводную картину городского здоровья». Сказано — сделано: показатель готов, и скоро он становится определяющим. Медицинские факультеты учат, как разбираться в базе данных, медицинские светила работают с «индексом самочувствия Великобритании»

и т. д. Словом, виртуальная медицина процветает. И тут вдруг обнаруживается какая-нибудь странность. Например, выясняется, что две болезни способны «компенсировать» друг друга, и при этом датчик выдает информацию «пациент здоров». Одновременно возникают и другие паразитарные искажения... Сразу же начинается неизбежная паника, все говорят о мировом медицинском кризисе. Население избавляется от датчиков, а заодно и от врачей, знакомых с «картиной болезни» только по дисплеям. Из чуланов срочно достают запыленные стетоскопы — да уж не найти тех, кто умел ими пользоваться...

Если мы теперь заменим медицину экономикой, то получим точный диагноз типичного современного экономического кризиса, кризиса репрезентации, обесмысливания датчиков, реагирующих на производные пятого-шестого порядка. Разумеется, «странность», обнаружившаяся в экономике, является лишь частным проявлением общего наваждения — характер проблем всюду один и тот же.

В свое время Ходжа Насреддин изрек: тот, кто продает запах шашлыка, получает в уплату звон монет. Он, однако, вряд ли предполагал, что однажды это занятие так увлечет человечество, что составит целую эпоху виртуальной экономики, когда вазелин с каким-нибудь экзотическим названием *заботится о вашей коже*, крошечные государства располагают гигантским флотом, а оффшорные острова вполне могут оказаться в лидерах мирового производства марганца... Кризис репрезентации конца XX века больше всего задел (подобно цунами) Юго-Восточную Азию. Он вызвал бегство капиталов из Дальневосточного региона и провалы химерных проектов вроде национального индонезийского автомобиля. Тогда многие ожидали последовательного развала всей измеритель-

ной инфраструктуры, висящей в воздухе. Казалось, что в итоге у Индонезии и Таиланда останется один брокер на двоих, и трудно даже предположить, какую экономику (какого века) будут представлять уцелевшие институты. Само будущее виделось в мрачном свете; те, кто считали себя «экономистами» или даже «деловыми людьми», будучи при этом работниками рейтинговых агентств, биржевыми консультантами и тому подобное, потеряют работу. Им придется теперь дома играть в компьютерные игры, и, даже когда новая, более реалистическая модель мирового хозяйства будет восстановлена, их услуги, скорее всего, уже не понадобятся. Значительная часть рабочих мест будет упразднена вообще, как это произошло когда-то с заклинателями дождя и извозчиками.

Кризис репрезентации вновь ставит во главу угла фигуру предпринимателя, восстанавливает роль духовной составляющей, описанной когда-то Максом Вебером под именем протестантской этики. Речь идет о персональной инициативе, сопровождаемой длительным и методичным трудовым усилием и остающейся в пределах собственной компетенции. Силовые линии такого предпринимательства образуют *малую автономную экономику* внутри огромной пустотелой, раздутой экономики, похожей на мыльный пузырь, сверкающий всеми цветами радуги. Наличие подобной автономной экономики под скорлупой общества потребления до сих пор является главным достоянием любой нации. Ее субъект, тот самый средний класс, всегда сможет прокормить себя и немалую часть создателей духовного продукта, но он больше не станет оплачивать многомиллионную армию химеропроизводителей. Еще не так давно казалось, что в ходе массового отрезвления пострадает и какая-то здоровая часть эконо-

номической инфраструктуры, но в любом случае общества, сохранившие ядро, смогут ее быстро восстановить, а обществам с искусственно вживленной экономикой она долго еще не понадобится. Этим лопнувшим мыльным пузырям придется десятилетиями «жить по средствам» и начинать возведение здания благополучия с фундамента, а не с антенны на крыше.

Однако все эти вполне резонные предположения исходили из неизменного воспроизводства устойчивой структуры субъекта, появление же на месте классического субъекта агента ПСК, разумеется, меняет картину. Рассмотреть основные последствия прогрессирующего медиатаксиса экономики — значит принять во внимание свершающуюся утерю ее автономии (речь не идет о той или иной степени госрегулирования). Малый бизнес в таком рассмотрении предстанет как островок безопасности, чем-то вроде законсервированной военной техники, которую приходится поддерживать в состоянии полной боеготовности на случай чрезвычайного положения. Поскольку чем крупнее корпорация, тем более она склонна к медиатаксису, к усилению репрезентации и производству чистой видимости, малый бизнес все более выступает как хранилище суровых реалий и заповедник духа предприимчивости. А охрана заповедников, разумеется, традиционно все больше включается в сферу заботы государства. Сегодня в развитых странах все реже говорят о малом бизнесе как источнике пополнения бюджета и все чаще как о факторе социальной стабильности, о том, что может пригодиться прежде всего в экстренных обстоятельствах.

Медиатаксис во всех сферах материального и духовного производства приводит к углубляющейся дивергенции между роскошным, почти совершенным дизайном ин-

терфейса и тщательно убираемыми из сферы видимости тайными пружинками. Ярким примером такой тенденции является политическое пространство, где неафишируемая реальная политика разворачивается за закрытыми дверями, а витринная публичная политика давно отказалась от собственного суверенитета и находится в полной зависимости от четвертой власти. Аналогичные тенденции характерны и для экономики, при этом слишком поспешным было бы утверждение, будто тайные пружинки заведомо важнее визуальных эффектов глобальной репрезентации. Эти массовые спецэффекты образуют зону собственной когерентности, где отрабатывается параллельное причинение основных процедур бытия в признанности, в том числе и дистрибуции вещей. Возможность подменить круг причинения, переложить центр тяжести воспроизводства важнейших человеческих феноменов на *силы Транспарации* — такая возможность не предрешена. Если угодно, соответствующий конфликт и составляет основное содержание современности.

Демократизация экономики как неотъемлемая составная часть цепной демократизации-транспарации сегодня уже привела к экспотенциальному росту числа *абонентов* глобального виртуального бизнеса. Эти абоненты, не будучи предпринимателями, не способны, разумеется, действовать в пределах разумного риска и собственной компетенции, они делегируют свои права всевозможным спецагентам (дилерам, маклерам, брокерам), которые, управляя чужими деньгами, всецело довольствуются индикаторами витринной экономики, в свою очередь, по принципу подкрепляемой обратной связи, приумножая число ее абонентов. Порой в качестве абонентов роскошной виртуальной витрины фигурируют целые государства.

Экономика по меньшей мере двояким образом вписана в имманентное пространство ПСК. Во-первых, посредством универсального медиатора — деньги легко, без малейшего сопротивления и без перевода (на особый язык внутренних значимостей) перетекают в воображаемое, где складываются в фигуры желания, которые, в свою очередь, подлежат прямому овеществлению; деньги выступают как общий язык континуума вещей и желаний, о чем еще будет отдельный разговор. Во-вторых, облечение доступа всем желающим в экономику как родовую вотчину подозрительного субъекта приводит к тем же последствиям, что и демократизация в культурном и правовом поле: разрастаются участки ненаказуемой доверчивости, и, соответственно, стремительно возрастает уязвимость. Носители делегированных полномочий слишком легко, играючи относятся к носимому ими багажу чужих экспектаций, что делает масштаб потерь при возможном сбое непредсказуемым. Понятно, что первые кризисы репрезентаций — это всего лишь цветочки на фоне неизбежно предстоящих испытаний¹. С каждым годом возможность

¹ Помимо потрясения азиатских тигров, стоит вспомнить и знаменитый «кризис высоких технологий» 2000–2002 годов. В воспоминаниях об этом кризисе сегодня принято говорить «когда лопнул мыльный пузырь Интернета». Мануэль Кастельс, описывая восхождение высоких технологий, время от времени вскользь упоминает об этом событии:

«Компания Cisco Systems, штаб-квартира которой находится в Силиконовой долине, является крупнейшим производителем оборудования для магистральных сетей Интернета. На мировом рынке маршрутизаторов, компьютеров, организующих и направляющих трафик внутри Интернета, ее доля составляет около 85%. Появившись в 1984 году, в марте 2000 года, в момент своего наивысшего расцвета, компания достигла рыночной капитализации на уровне 555 миллиар-

возобновления гражданского общества и свободного рынка становится все более проблематичной — возобновляется лишь внешняя сторона, витринная видимость, и, хотя муляжи становятся с каждым обновлением ярче и правдоподобнее, вид их «эталонов» постепенно погружается в забвение, в недоверие.

Пока еще субъекту предоставлено политическое убежище, а экономическое убежище ему даже гарантировано — и в том и в другом случае он все еще остается на командных высотах в отличие от скромного «эротического убежища», больше напоминающего резервацию. Прибегая к известному историческому образу, добропорядочные подданные ПСК как бы говорят, «обращаясь» к субикам: придите к нам и правьте нами, то есть воспроизводят формулу приглашения варягов на Русь. Это, разумеется, не исключает, что в один прекрасный день, когда тенденции транспарации окрепнут и достигнут подлинной всеобщности, хуматоны не возобновят приглашения, а, напротив, заявят окопавшимся в узловых пунктах обменов подозрительным субъектам: пошли вон. Более надежные прогнозы относительно будущего экономики как подсистемы ПСК можно будет сделать лишь после следующих, гораздо более масштабных кризисов репрезентации.

дов долларов — самого высокого в мире. Резкое падение стоимости технологических акций в 2000—2001 годах серьезнейшим образом повлияло и на акции Cisco. После того как с 1996-го по март 2000 года среднегодовая прибыль находилась на уровне 100%, с марта 2000-го по апрель 2001-го стоимость акций компании упала на 78%. И когда в течение трех месяцев доходы Cisco снизились на 30%, в апреле 2001 года компания уволила 8500 работников, а остальные стали жертвами принятого 5%-ного коэффициента ежегодного сокращения численности работающих». (Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург, 2004. С. 88).

Часть 2

МЕДИАТОРЫ СОЦИАЛЬНОСТИ

ДЕНЬГИ, ГРЕЗЫ И НЕВРОЗЫ

Очертив топологию ПСК, объединившую разрозненные территориальности социального в пронизываемую насквозь среду символического, уместно сделать и следующий шаг — присмотреться к синтезу медиаторов. В обобщенном виде эти медиаторы образуют триаду *деньги — новости — аффекты*, и тенденция их развития направлена, если можно так выразиться, к прогрессирующему триединству. Реальность коммуникации разворачивает три ипостаси бога Йюксты: но монотеизм ПСК и в этом отношении становится все более очевидным. И подобно тому как предмет транспарации, а именно многообразие сущего, обретает должную гомогенность, медиаторы-скоросшиватели, в свою очередь, подвергаются стандартизации. Поэтому, в сущности, все равно, с какого из них начать, — пусть это будут деньги.

Нет ничего легче, чем продемонстрировать власть денег. Это можно сделать разными способами: открыть любой учебник политэкономии, пройти мимо витрин супермар-

кетов, роскошных отелей и офисов, зная, какой пропуск спросят на входе — везде один и тот же. Если попытаться озвучить главную формулу духовной жажды всех обездоленных, нетрудно представить себе, хрипом какого слова она отзовется. Именно это слово неустанно повторял попугай Флинта: «Пиастры! Пиастрры!»

Но едва ли не главный показатель всемогущества денег состоит в том, что практически любое высказывание о них сразу становится банальным. Банальность желаний наслаивается на банальность обоснований и перекрывается еще большей банальностью обличений. Может быть, поэтому о деньгах так невнятно говорит философия и молчит поэзия.

С точки зрения классической политэкономии деньги являются прежде всего товаром, но товаром привилегированным, таким, который чаще всего опосредует акты обмена. Соответственно, претендент на эту роль может появиться чисто случайно; у кочевых народов естественным привилегированным товаром был скот, у островных народов Меланезии и Полинезии — раковины и т. д.

Однако все эти предковые формы не состоят в прямом родстве с современными деньгами, скорее, их можно рассматривать как побочные ветви, отсохшие и опавшие после появления денег в собственном смысле слова. Тот или иной товар становился привилегированным, а потом лишался привилегий. Чаще всего речь шла о простых единицах счета или разноресницах памяти, вся роль которых исчерпывается в пределах единичного акта обмена.

Решающим обстоятельством в возникновении денежного обращения является свободная циркуляция неких полномочных представителей вещей (мира вещей) в сфере воображаемого. Деньги только тогда становятся собствен-

но деньгами (а значит, и финансами, и капиталом), когда они занимают *привилегированное место среди образов воображения*. Подобно тому, как товарная форма приносится в круговорот вещей извне (тут Маркс был прав, потребительная стоимость сама по себе никоим образом не может сделать вещь товаром), так же и денежное выражение происходящего с вещами есть некое автономное событие в сфере сверхчувственного. Точнее говоря — воображаемого.

Прежде всего, деньги предстают как знаковая система, состоящая из дискретных единиц, подобно тому, как язык состоит из слов. Обладая дискретностью — ведь каждая сумма составляет некоторую качественную определенность блага, — деньги осуществляют систематическую перегруппировку рассеянного внимания. Если всмотреться в траксирующие цепочки мечтаний, проявляющихся в ежедневном круге воображаемого, окажется, что едва ли не самая длинная и прочная цепочка скреплена языком денег. По сути дела, это пожизненная раскручивающаяся спираль, ее рефрен вполне можно выразить русской поговоркой: «Эх-ма, кабы денег тьма...» Содержание же каждой «серии» может варьировать от отдыха в Гонолулу до собственного домика в духе гоголевских «Старосветских помещиков».

Грезы, структурируемые воображаемым языком денег, свободно пересекают границу между сном и явью — как в ту, так и в другую сторону. Не случайно героям Кобо Абэ и Альберто Моравиа снится один и тот же сон: они находят (подбирают) брошенный убегающим преступником полиэтиленовый пакет, полный денег. Находят и начинают считать... Такой сон мог бы присниться каждому обладателю нового языка воображения, языка, членораздельность которого обеспечивается «сотней воображаемых

талеров». Именно о них говорил в свое время философ Кант в своем знаменитом примере: «Сотня воображаемых талеров ничем не отличается от действительных талеров, кроме одного — она не делает меня богаче»¹.

Между тем эта пресловутая воображаемая сумма выполняет очень важную функцию — функцию синтезов воображения. Воображаемые талеры в своем виртуальном круговороте порождают целый мир. Среди таких порождений — утешение, зависть, нейтрализация предстоящих трудностей труда (и следовательно, готовность к работе). Сама сумма в сто действительных талеров может возрастать лишь при наличии воображаемых талеров — на этом, собственно, и основана экономика.

Сразу же напрашивается возражение со стороны здравого смысла (или классической политэкономии): если деньги не обмениваются на какой-нибудь полезный продукт, они выходят из обращения и никакой символический круговорот тут ни при чем. Подобное возражение вытекает из непонимания истинной природы символического. Возьмем человеческий язык в его повседневном использовании. Известно, что в принципе слово должно подкрепляться делом, но в то же время ясно, что даже ничем не подкрепляемое слово все равно имеет хождение, образуя долгосрочный автономный круговорот вместе с такими же «легковесными» словами. Спорадически, на каком-нибудь случайном витке, подкрепление происходит; именно так и выглядит обычная человеческая коммуникация со всеми ее производными².

¹ Кант И. Сочинения. Т. 3. М., 1963, С. 114.

² См.: Секацкий А. К. Обмен обманом как всеобщий фон коммуникации // Социальная философия и философия истории. Часть 3. СПб., 1994. С. 109–112.

Обращение виртуальных талеров носит аналогичный характер, возникающее вихревое движение разворачивает образы вещей их желанной стороной, так сказать, лицом к потенциальному обладателю. Для нормальной экономики точно так же вполне достаточно, если один из ста актов воображения обернется реальной покупкой. Лишь при определенной, достаточно высокой скорости круговорота дистрибуция вещей становится экономикой.

Товар действительно создается абстрактным трудом, и этот абстрактный труд есть прежде всего труд воображения. Номо есоnотіс — это специфический субъект, способный грезить деньгами. А достигая определенной интенсивности, воображение проникает в структуры целеположения и порождает весь инструментарий экономического разума; в частности, производительность труда становится *переменной величиной* и тем самым впервые обретает экономический смысл.

Усвоение точного счета виртуальных талеров и качественной определенности воображаемых сумм в принципе ничем не отличается от усвоения родного языка. Взрослые постоянно поправляют ребенка: «Говори правильно!» — но с не меньшей, если не с большей настоятельностью они корректируют и первые пробы очагового воображения деньгами. Ребенок беспорядочно требует купить велосипед, конфету, «вот эту игрушку», хорошего папу или братишку, уже догадавшись, что глагол «купить» есть внешнее выражение императива «хочу!». Каждый получаемый отказ лишь укрепляет универсальность символического кода. Ему говорят: «Нет у меня *таких* денег; вот были бы талеры — то хоть сто велосипедов!» Опыт применения изоцряет воображение. Инфантильность в данном случае сказывается в неумении воображать дискретными сумма-

ми, то есть соотносить определенную сумму с единицей обладания. Разница между сотней воображаемых и сотней действительных талеров, конечно, важна, но в известном смысле еще важнее внутренне ощущаемая и значимая разница между сотней и тысячей виртуальных талеров воображения. Вопрос Остапа Бендера, адресованный Балаганову: «Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?» — можно рассматривать как тест на экономическую зрелость. Каждый участник современных игр обмена (*homo economicus*) приблизительно знает ответ на этот вопрос. Но он не спешит делиться сокровенными плодами воображения и предпочитает отвечать уклончиво: «Не в деньгах счастье».

Таким образом, деньги предстают как плод воображения, и притом разгоряченного воображения. Это новое экономическое воображение в момент своего возникновения было разгорячено вещами-пряностями, предметами, которые принципиально не относятся к сфере необходимого.

Первые шаги обмена делаются с некоторой опаской — их вообще можно представить себе делом рискованным, требующим бесстрашия и онтологической беспечности. Новые синтезы воображения поначалу напоминают чувства коллекционера — азарт пополнения коллекции, ряд наличных безделушек легко продлевается в воображении. Но в быстрых периферийных обменах участвуют «тысячи мелочей», которые даже не укладываются в воображении, но зато порождают собственный уклад воображения, структурируемый языком денег.

Вещи-пряности воздействуют на воображение примерно так же, как пищевые пряности на гортань и пищевод. Они горячат и возбуждают, образуя очаги повышенной актив-

ности, и разгоряченное воображение легко переходит в воспаленное воображение. Чарующая сила возникающих денег, еще не реальных, но уже воображаемых, завладевших периферийным очагом воображения, способна порождать удивительные явления, которые можно определить не иначе как химеры воспаленного коллективного воображения. Множеством подобных явлений отмечены первые контакты между колонизаторами-европейцами (к этому времени уже гроссмейстерами в играх обмена) и индейцами обеих Америк. Основные вещи обихода были принципиально неотчуждаемы: лодка, дом, копье не могли служить предметом обменов, но горизонт воображения уже был открыт для сувениров-безделушек. Следовательно, европейцам было что предложить для распадения незрелого воображения, и мир стал свидетелем удивительных сделок: в массовом порядке приобретались охотничьи угодья, рудные запасы, территории целых штатов... Фактически все отложенное будущее североамериканских индейцев было закуплено на корню за тысячу мелочей — за бусы, стекляшки, шахматные фигурки, за звонкие монетки (пригоршни меди и серебра охотно принимались в уплату, а купюры — нет). Единственным конкурентом вещей-пряностей был другой воспалитель воображения — огненная вода.

Индейцы попались совершенно по-детски, что неудивительно в силу стадияльного параллелизма первых опытов воображения деньгами. Экономическая инициация ребенка происходит достаточно поздно и является одним из главных критериев перехода от детства к подростковому возрасту. До этого ребенок проходит испытания на полигоне воображения, где властвуют сокровища-безделушки — разного рода фантики, наклейки, значки, карандаши (тут можно вспомнить и дохлую крысу Тома

Сойера). Вероятно, каждому доводилось наблюдать, как подросток, уже прошедший инициацию, выменивает у младшего какую-нибудь ценную вещь за горсть мелочей, повторяя сделку по покупке Америки. Однако воображаемый полигон является необходимой предпосылкой, он уже содержит основные сведения о деньгах: обозримые сокровища греют душу их обладателю и разогревают его воображение своей *потенциальной* необозримостью. В дальнейшем какая-нибудь филателия или филумения может остаться в виде инфантильного мотива (регрессии), а может исчезнуть вовсе — но это потому, что мы переходим к самому азартному и совершенному типу коллекционирования — к собиранию денег.

С тех пор как деньги стали альтернативным языком воображения, основательно потеснив язык эротических образов, много воды утекло. Уже позади остался расцвет продуктивного воображения, породивший эпоху Великих географических открытий. Умолк призывный клич попугая капитана Флинта «Пиастры!».

Но сказать, что деньги в качестве означающих одного из языков воображения утратили свою роль, было бы смешно. С образами и грезами, исчисленными в денежных единицах, произошло другое: они опустились в подсознание (как в индивидуальное подсознание, так и в коллективное бессознательное), где стали точками консолидации новых неврозов. Яркие образы, проецировавшиеся вовне, наткнулись на табу новой гуманистической цензуры, в результате чего эпоха Великих географических открытий сменилась эпохой Великих порнографических сокрытий. Сокрытий, разумеется, не в эротическом смысле, тут как раз традиция публичного обсуждения уже устоялась. Но возникли новые зоны приватности — окруженные забора-

ми особняки и фигуры умолчания на месте прежних поводов для гордости. Что там, за заборами, какие новые сладострастные фантазии разыгрываются вдали от посторонних глаз? И какие невиданные прежде фобии сотрясают и верхи, и низы постиндустриального общества?

Во всяком случае, мы можем отследить впечатляющую смену полярностей. Если прежние авантюристы устремлялись по всему миру, чтобы *открывать* сокровища: овладевать ими, извлекать из пещер и тайников, — то авантюристы сегодняшнего дня, типичные дети глобализма, прочесывают страны и континенты с противоположной целью: *сокрыть* богатства, уйти от налогообложения, предаться постыдному на сегодняшний день обладанию не на виду, а в новых зонах приватности. Географически это могут быть Багамские и Виргинские острова — примерно те места, где Колумб и его последователи добывали сокровища. А топологически это заборы, банковские ячейки, электронные счета — где угодно, лишь бы подальше от посторонних глаз.

А как стыдно *быть уличенным* в неуплате налогов, будь ты политик, великий футболист или звезда шоу-бизнеса. Любое сексуальное пристрастие могут простить, только не это. Россия, конечно, как всегда стоит особняком, демонстрируя в этом отношении полное бесстыдство. У России свои неврозы, не те, которыми страдает остальное человечество.

Что же получается? По мере того как деньги постепенно исчезали из поля зрения в качестве «налички» (сначала из карманов и сундуков, а затем из банковских ячеек), перемещаясь в виртуальное пространство кредитных карточек и магических цифр, соответствующие им структуры воображения опускались в подсознание, где и заменяли

отклоненные влечения либидо. Сегодня можно говорить о некоторых типичных коллизиях коллективного бессознательного. Уместно даже выделить особую группу неврозов, требующую новых психоаналитиков. Их логично будет назвать *маниврозами* («moneyvroses»). Рассмотрим два из них: один прекрасно знакомый каждому второму россиянину, а второй — золотому миллиарду глобализованного человечества.

1) *Манивроз экзистенциальной импотенции*. Имманентный язык воображения (теперь это money-язык, вытеснивший папа-язык) постоянно рисует образы изобилия или по крайней мере достатка: дом, автомобиль, мобильник, абонемент в фитнес-центр и еще тысячу мелочей. Все эти назойливые образы снабжены пометкой перманентной нехватки — разумеется, нехватки денег. С ними соседствуют и другие картинки: мир с ближними, щедрость с друзьями, благополучие любимых — всего-то и надо, совсем чуть-чуть. Воображаемая ситуация «все в порядке» легко собирается из кубиков — не хватает опять же только одного: столь же легко скользящих по коридорам воображения денег. Все возможно, все ясно как на ладони, но недостающие суммы в качестве фигур воображения систематически складываются в кукиш. Диагноз — манивроз экзистенциальной импотенции (несостоятельности). Денег не хватает ни на что, даже на то, чтобы их заработать. Сама реальность в этом процессе обретает особую примету: *реальность — это то, на что не хватает денег*. И эта реальность мучительно и назойливо удваивается в воображении.

Степень страдания, причиняемого недугом, явно превосходит фобию пятилетнего мальчика, описанную Фрейдом, — а между тем экзистенциальной импотенцией пора-

жены целые социальные группы и даже целые страны (не будем уточнять, какие именно).

2) *Манивроз постыдного благополучия*. Этот недуг более расплывчат и не столь очевиден в своих проявлениях, хотя его социальные последствия не менее печальны. Речь идет о несовместимости *больших денег* с новой гуманистической цензурой в форме политкорректности, следовательно, и об их несовместимости с нормальным самочувствием здорового члена общества.

Похоже, что в какой-то момент установки протестантской этики поменяли свой знак на противоположный. Сомовозрастающие деньги, бывшие знаком благополучия и внутренним психологическим указателем успеха (богоизбранности, предопределенности к спасению), стали теперь указателем такого же внутреннего беспокойства. Если ты *неприлично богат*, значит, с тобой что-то не в порядке. Неприкрытое богатство шокирует как неприкрытый пенис — хотя он-то как раз ведет себя смирно и покладисто в эпоху торжествующей вагинократии.

Складывается типичная амбивалентная ситуация, требующая какого-то вмешательства. Предаваться сладостному обладанию, конвертируя деньги в роскошь или приумножая их, очень хочется, куда от этого денешься. Но такую страсть теперь лучше не афишировать даже перед самим собой. Вот и возникает система терапевтических искусственных жестов: благотворительных фондов, нарочитой скромности в потреблении, актов участия в отстаивании общечеловеческих ценностей. Делается все, чтобы походить на здорового члена общества. Но при этом ускользание от налогообложения остается могучей движущей силой денежных потоков. А новые зоны приватности дают выход сладострастию.

Манивроз постыдного благополучия теснейшим образом связан с капитуляцией элиты западного общества. Он ответственен за внутренний надлом, не позволяющий больше воспроизводить экзистенциальные основания бытия господина как равного среди равных. Создаются свои аналоги прежних эротических утопий, воспроизводящие жизнь существа двоякодышащего типа амфибии: чинно прошелся по суше, подышал дефицитным воздухом, скромно попользовался благами из числа лимитированных ресурсов — и нырок в подводный мир, где жабры работают на полную мощность, а струи засасывающего воображения жадно втягивают мальков... Потом снова на сушу, чтобы чинно, по закону, в соответствии с гуманистическими нормами...

Теперь следует спросить в духе Будды: а есть ли путь избавления от неврозов?

Такой путь возможен гипотетически. Выход в том, чтобы реабилитировать «пиастры!» — восстановить полнотворность и полноценность внешних проекций воображаемого в качестве приемлемых ценностей. Можно было бы повернуть вспять потоки сокрытия, уходящие в оффшорный песок, проложить русло для безналоговых инвестиций воображения в реальность желания господина. Но каждому ясно, что подобная гипотетическая возможность чрезвычайно далека от действительности. Эволюция денег как универсального медиатора идет в другом направлении — они все больше напоминают бесцветный прозрачный воздух, без которого организм задохнется. Производство такого «воздуха» сегодня нельзя доверить одной лишь экономике, требуется задействовать всю совокупность производств социума, и в первую очередь символическое производство.

Исторический очерк восхождения денег в качестве всеобщего медиатора материальных и символических обменов требует обращения к эволюции и инволюции альтернативных медиаторов, тем более что ни один из них не исчез бесследно: и сегодня сохраняются локальные очаги, где расплата в альтернативной валюте возможна, а то и предпочтительна. Может оказаться, что подобно тому, как сущность техники не есть нечто техническое, сущность денег не есть нечто финансовое.

Причинение страдания как приемлемая форма возмещения ущерба, боль в качестве платы, боль, претендующая на роль всеобщего эквивалента человеческих обменов, — все эти вопросы чрезвычайно интересовали Ницше. Трудно сказать, было ли это связано с его собственными повседневными, порой нестерпимыми болями, — во всяком случае, Ницше был едва ли не единственным значимым мыслителем, считавшим болевой порог важнейшей константой культуры. Еще в «Веселой науке» Ницше замечает: «В боли столько же мудрости, сколько и в удовольствии, она принадлежит к родоохранительным силам первого ранга. Не будь она такой, она давно исчезла бы; то, что от нее страдают, вовсе не является аргументом против нее, такова ее сущность. Мне чудится в боли команда капитана корабля: “Убрать паруса!” Управлять парусами на тысячу ладов — этому должен был выучиться отважный мореходец, “человек”, иначе с ним было бы слишком быстро покончено, и океан вскоре поглотил бы его»¹.

¹ Ницше Ф. Сочинения. Т. 1. М., 1990. С. 645.

Среди прочего «болевы́е переменные» могли рассматриваться — и рассматривались — как фигуры расчетов и взаимозачетов. Лишь их «слипание», утрата строгой дискретности значений, связанных с определенной порцией боли, не позволили единицам страдания удержать и закрепить их навигационную роль в океане житейских превратностей.

Однако и по сей день, причиняя боль другому, мы делаем это со смыслом (бессмысленное причинение боли составляет особый случай), осмыслены или подлежат осмыслению и претерпеваемые нами страдания: может даже показаться, что болевая подкладка есть смысл самого смысла, некий различитель, заставляющий нас отмечать и выбирать определенные фрагменты из суммы происходящего.

Ницше то и дело возвращается к этому важнейшему пункту, ему целиком посвящено «второе рассмотрение» в работе «К генеалогии морали»: «Что, собственно, возмущает в страдании, так это не само страдание, но бессмысленность страдания; а между тем ни для христианина, втолковавшего в страдание целую машинерию таинственного спасения, ни для наивного человека более старых времен, гораздого толковать себе всякое страдание с точки зрения соглядатая и мучителя, не существовало вообще подобного бессмысленного страдания»¹. Похоже, что еще до переоценки ценностей боль и страдание формируют первичную оценку с более-менее градуированной шкалой валоризации, остается лишь вовлечь ее в другую сферу значимостей. К рассмотрению этой сферы Ницше переходит на следующей же странице:

«Устанавливать цены, измерять ценности, измышлять эквиваленты, заниматься обменом — это в такой степени

¹ Ницше Ф. Сочинения. Т. 1. М., 1990. С. 448.

предвосхищало начальное мышление человека, что в известном смысле и было самым мышлением: здесь вырабатывались древнейшие повадки сообразительности, здесь хотелось бы усмотреть и первую накипь человеческой гордости, его чувство превосходства над прочим зверьем»¹. Соединение двух устремлений не могло не сработать, и Ницше приводит немало примеров причинения боли во взаиморасчетах — в особенности в сфере юридической компенсации. Телесные наказания выступают в роли демонстративных платежей: их пригодность к особому рода расчетам не вызывает сомнений, проблематичной остается именно универсальность, конвертируемость соответствующей валюты. Представим себе следующую вполне современную картинку.

Допустим, девушка подходит к прилавку на базаре и собирается купить несколько апельсинов. Она роется в кошельке, но денег там нет.

— Ничего, — говорит продавец, — давайте я вас пять раз ущипну, по разу за каждый апельсин, и мы в расчете...

— Еще чего! — отвечает девушка. — Хватит и двух раз, стану я переплачивать! Да и апельсины у вас невзрачные.

Продавец со вздохом соглашается. Стороны договорились и приступают к акту купли-продажи.

Ситуация выглядит совершенно абсурдной и вообще надуманной — и все же она заставляет задуматься, в ней, безусловно, есть нечто поучительное. Вот, например, мама в сердцах отшлепала своего малыша, а потом, спохватившись, начала его ласкать. Дело в том, что она понимает (точнее говоря, *чувствует*): ребенок переплатил. Взысканная с него плата была чрезмерной, и теперь придется возвращать сдачу. Она возвращает сдачу лаской, и,

¹ Ницше Ф. Сочинения. Т. 1. М., 1990. С. 449.

если сумма, номинированная в этой валюте, оказывается недостаточной, мама добавляет: ну прости... ну хочешь, я куплю тебе игрушку?.. Акт признания своей вины (высшая форма которого состоит в том, чтобы попросить прощения) обладает универсальной признанностью в качестве приемлемой и справедливой компенсации: ведь чувство вины, в особенности если оно озвучено, вне всякого сомнения указывает на претерпевание страдания, и, стало быть, страдание другого рассматривается как безусловная ценность для персонального адресата (получателя).

Вернемся вновь к нашему продавцу, слегка изменив условия задачи. Предположим, что теперь к Гиви, продающему апельсины, подходит его сын-подросток и говорит: «Пап, дай апельсинчиков, хочу своих друзей угостить...» И Гиви отвечает: «Хорошо. Только сначала получишь затрещину за свои проделки, а потом апельсины». После недолгого раздумья стороны, что называется, ударили по рукам.

В такой редакции ситуация выглядит уже достаточно правдоподобной, из чего вытекает вывод: боль как валюта зарезервирована для близкородственных обменов. Для расчетов с первым встречным она не годится. Но прежде чем продолжить рассуждения в этом направлении, следует, пожалуй, остановиться на двусмысленности глагола «ущипнуть». Он сразу же отсылает к другому, достаточно распространенному виду платежей, к расплате натурой. Женщина или девушка могут расплатиться подобным образом хотя бы за те же самые апельсины. Такое встречное предложение может, конечно, вызвать возмущение, но ситуация, в которой оно прозвучало, тем не менее не покажется абсурдной.

Правда, платежи натурой несимметричны — в отличие от взаимного обмена причиняемой болью. В этих доста-

точно распространенных сделках (в отдельных исторических ситуациях их размах бывает сопоставим со сферой денежного обращения как такового¹) женщина выступает почти исключительно как продавец. Именно несимметричность в основном и помешала «натурным платежам» стать всеобщим эквивалентом, ибо с чеканкой монеты здесь дело обстоит куда более благополучно, чем в случае градуирования болевой шкалы. Одно дело — подставить для поцелуя щечку, другое — обнажить грудь, задрать юбку, продемонстрировать элементы стриптиза... Перечень услуг в единицах либидо вполне сопоставим с ассортиментом среднего магазина, где цены выражены в денежных единицах.

Наряду с болью, рассматриваемой как средство платежа, опосредуемые натурой обмены также осваиваются в детском возрасте. Подглядывание за девочками и игра в доктора, в самом раннем возрасте еще вполне симметричная², обосновывают не только концепцию психоанализа, но и уже упоминавшийся тезис Ницше о человеческой мании «устанавливать цены, измерять ценности, измышлять эквиваленты, заниматься обменом» — похоже, данная тенденция не имеет возрастных ограничений. Дети, играя в доктора и покупаясь на предложение *увидеть то самое*, совершают восхождение не только к стадии генитальной сексуальности, но и к полноценным играм обмена. Как тут не вспомнить прекрасную русскую частушку:

¹ Например, в период тридцатилетней войны в Германии. См.: *Taylor G. R. Sex in History*. N. Y., 1954.

² Обстоятельный анализ этой игры можно найти в работе: *Firestone S. The Dialectic of Sex. The Case of Feminist Revolution*. N. Y., 1972.

Я маленькая девочка,
Я в школу не хожу.
Вы дайте мне копеечку,
Я что-то покажу.

Стадия «игры в доктора» описана во множестве биографических романов. Вот, например, образчик из относительно недавно вышедшей книги:

«В совсем еще юном возрасте Лидка использовала меня в некоем предосудительном ритуале, начинавшемся с наших трусиков. Брезжит нечто сатиновое в горошек, нечто выношенное трикотажное... Только лет через шесть-семь я кусал локти: во дурак был, — пытаюсь припомнить, что же я там видел в этом трикотажном саду сладостных тайн»¹.

Но вернемся к боли как валюте, опосредующей близкородственные обмены. Во-первых, к этому типу расплаты мы всегда взываем, если преступление касается наших близких, вполне довольствуясь сложившимся биметаллизмом наказания, когда речь идет о посторонних.

Но непосредственный интерес вызывает, так сказать, сфера внутреннего обращения: во взаимозачетах и взаиморасчетах ближайшего круга болепричиняющие средства остаются вне конкуренции. И по сей день широко распространены случаи причинения собственно физической боли — вспомним пословицу «Бьет — значит любит», — не говоря уже о физическом наказании детей и рутинных шлепках. Если бы можно было измерить и сравнить «общее количество» боли, циркулирующей внутри близкородственного круга, с той, которую первые встречные причиняют друг другу, вполне могло бы оказаться, что ре-

¹ Мелихов Александр. Исповедь еврея. СПб., 2004. С. 116.

зервуар «междоусобной» боли превосходит залежи боли, причиняемой случайным другим.

Но физическая боль как таковая все же периферийна для расчетов между родными и любящими. Куда более распространен и востребован ее коррелят, боль «метафизическая», причиняемая в форме весьма изобретательных страданий или, лучше сказать, терзаний. Русский писатель Иван Гончаров, назвавший свою знаменитую статью «Миллион терзаний», невольно дал прекрасное обозначение для важнейших взаиморасчетов близкородственного круга. Если измерять приобретаемый капитал в этих расчетных единицах, едва ли не каждый второй окажется миллионером... Звукоряд терзаний — это не гармошка-трехрядка, хотя клавиатура боли может быть незатейливой и в этом случае. Тем не менее по своему диапазону клавиатура мучительных взаиморасчетов соответствует большому органу. Боль не наносится непосредственно на поверхность тела, она, посредством *терзания*, передается опосредованным образом. Болевые рецепторы при этом, конечно, подключаются, но подключаются изнутри.

Присмотревшись внимательно, мы можем увидеть вполне самодостаточный характер возникающих ценностей — различных сумм причиняемой боли. Пресловутые «упреки» крайне редко носят рациональный характер, но ведь и нужны они не для поддержания рациональности, не для защиты ее юрисдикции. Они, терзания, суть индикативы и демонстративы, специфические ценности, удовлетворяющие жажду в момент предъявления.

Когда жена, обращаясь к мужу, в характерном демонстративном тоне говорит: «Ты неудачник! Ничего толком сделать не можешь... И зачем я только с тобой связалась?» — она при этом отнюдь не проявляет целе-

рационального поведения, да, похоже, и не стремится к конкретной практической цели. Производимое ею «терзание» скорее служит препятствием к получению осязаемой практической выгоды. И все же акт терзания совершается, ибо он является самостоятельной ценностью, некой формой платежа. Похоже, что даже единичное терзание ближнего облегчает душу, удовлетворяя актуальную потребность, подобно тому, как материальные потребности удовлетворяются с помощью денег. В нашем случае попытка должна обернуться успехом, так сказать, принести плоды, если муж почувствует себя виноватым и признает свою вину, — тогда «гонорар», полученный супругой, будет максимальным. Если же муж посчитает, что с него пытаются взыскать несправедливую, непомерную плату, он, скорее всего, потребует сдачи и, к примеру, скажет: «Ты на себя посмотри, во что ты превратилась», — и далее в том же духе, пока не будет исчерпана сумма задолженности по терзаниям.

Стремление к взаимозачету, как правило, перевешивает через край, в результате чего процесс обмена терзаниями возобновляется с новой силой. К стихии близкородственных обменов любезностями прекрасно подходит изречение Гераклита: «Весь этот космос есть огонь, мерами потухающий, мерами возгорающийся». С точки зрения политической экономии перед нами опять-таки необычный товар: ведь прочие товары раскрывают свою потребительскую стоимость после того, как мы их приобретаем, — характерным исключением являются деньги, которые должны быть инвестированы или попросту растрчены для подтверждения их потребительной стоимости. При этом, как уже отмечалось, воображаемые инвестиции, воспаляющие и распаляющие воображение, легко заменяют реальные за-

траты, достигаемая здесь капитализация способна вполне успешно, на долгосрочной основе инициировать деятельность. Взаимные терзания имеют сходную форму потребительной стоимости, и они как особенный товар реализуют свою ценность в момент инвестиций — с тем важным отличием, что поле инвестиций не является безграничным, оно охватывает не весь универсум *Mitsein*, а лишь круг родных и близких. Но уж зато на этой территории, в родных пенатах, номинал одного «щипка» далеко превосходит номинал любой классической денежной единицы. Опять же физическое страдание отмеривается грубыми, приблизительными порциями, *отвесить затрецину* не удастся с такой точностью, с какой отвешивался, например, фунт стерлингов. То ли дело болезненные уколы самолюбия и прочие терзания, тут на чашу весов непрерывно бросаются разновесы, и сам процесс платежа (азартные игры обмена) оказывается несравненно важнее достигнутого хрупкого равновесия.

В этих обменах, несомненно, присутствует садомазохистский компонент, регулирующий экономию либидо, однако в целом «теория удовольствия Фрейда» не годится для объяснения тонких взаиморасчетов в первичной валюте. Фрейд говорит: «Мы без сомнения принимаем положение, что ход психических процессов автоматически регулируется принципом наслаждения, мы считаем, что этот процесс каждый раз возбуждается связанным с неудовольствием напряжением и затем принимает такое направление, что его конечный результат совпадает с уменьшением этого напряжения — с избеганием неудовольствия или порождением удовольствия»¹. Все дело, однако, в том, что ближние в ответ платят той же монетой,

¹ Фрейд Э. Труды разных лет. Т. 1. Тб., 1991. С. 139.

и, если бы «экономическая точка зрения», принимаемая Фрейдом, была верна, мы имели бы типичную игру с нулевой суммой вроде той, в которую играли Джон и Билл, ковбои из анекдота, которые в результате бесплатно наелись дерьма... Внешне ссоры между самыми близкими людьми действительно напоминают подобную игру с нулевой суммой, но сходство носит именно внешний характер.

Отправитель страдания в момент его вручения получателю испытывает некое мгновенное острое наслаждение и в то же время совершает рискованную инвестицию. Риск связан с почти неизбежным возмездием, и тем не менее, учитывая сугубую рутинность «покупки», нельзя не признать, что обмен булавочными уколами терзаний представляет собой самодостаточную ценность. «Пострадавшие», в отличие от Билла и Джона, преисполнены решимости совершить сделку еще раз, фактически оборот капитала внутри малого круга родных и близких совершается непрерывно.

Подобно тому как есть люди, «жадные до денег», существуют, и в немалом количестве, субъекты, *жадные до терзаний*, субъекты, предпочитающие получать гонорар именно в этой валюте. Они смело идут в атаку, даже в случае легко предвидимой симметричной расплаты, и уж тем более, когда светит чистая прибыль. Отнюдь не является редкостью брак, прочность которого гарантируется готовностью одной из сторон терпеливо сносить упреки супруга или супруги. Если буквально следовать содержанию упреков, применяемых для терзания партнера, можно прийти в недоумение: и как только терзательница живет с таким чудовищем? Но сама того не сознавая, обвиняющая сторона руководствуется принципом: *а где еще я столько зарабатую?*

Боль в уплату обуславливает интенсивность особого круга обменов, характеризующегося принципом «чужие здесь не гадят». В рабочем порядке круг родных и близких можно определить как территорию, где валюта терзаний имеет хождение и принимается без ограничений. Если субъект вдруг замечает, что платежи не проходят и требуется другая монета, он тут же понимает (если почему-то забыл), что покинул родные пенаты и вышел в большой мир. Таков водораздел, по одну сторону которого родные и близкие — и с ними всегда можно рассчитаться «по-свойски», — а по другую — *чужие*, и как раз денежные связи стягивают совокупность чужих в некое минимальное единство. Универсальность платежей образует порог различимости человечества как единого целого: на это обстоятельство обращали внимание множество мыслителей от Аристотеля до Георга Зиммеля. В китайском средневековом трактате мы читаем:

«Среди всех человеческих устремлений деньгам принадлежит срединная позиция. По своей интенсивности <чунь> стремление к деньгам родственно телесным вожделениям, и оно, некоторым образом, телесно — вызывает одышку, пот, оцепенение, а у иных и обморок. Но по своей форме тяга к деньгам родственна тяге к знаниям. В самом деле, подобно знанию, деньги, как наличные, так и отсутствующие, располагают к вычислениям, к совершению воображаемых операций. Общеизвестно, что новые знания быстрее и надежнее приобретает тот, кто уже владеет какими-то знаниями, — в еще большей степени это относится к деньгам. И тут и там мы сталкиваемся с одинаковым вопросом: где приобрести и как лучше распорядиться. Таким образом, общего немало, хотя обычно принято указывать на моменты отличия: знание, в отличие

от денег, если поделиться им с другими, не уменьшится, а даже возрастет. Правда, богатейшие купцы Поднебесной и владельцы крупнейших торговых домов ровно то же самое утверждают и о деньгах.

Срединная позиция денежного интереса делает этот интерес самым общим. В потворстве телесным вожделениям нет ни сюэаев, ни императоров, там все простолюдины. Стремление к мудрости позволяет пребывать в кругу людей, где все благородно независимо от рождения. Но общение посредством денег, это общение со всеми людьми, в том числе и с теми, кого мы никогда не увидим, и с теми, кого уже нет. Поэтому полное одиночество начинается с полного безденежья. Ибо даже если у тебя не осталось ни родных, ни близких, но есть хотя бы один юань, ты еще не совсем одинок в этом мире. Ты еще можешь вступить в общение с первым встречным, купив у него что-нибудь или, по крайней мере, поторговавшись»¹.

Параллелизм двух валют прослежен здесь в своих основных моментах. Требуется лишь подчеркнуть, что взаимное причинение страданий отнюдь не является разобщающей силой, вызванной слишком тесным сближением. В каком-то смысле речь идет о важнейшей составляющей самой любви, о полноте эротических инвестиций. Тонкий баланс взаиморасчетов сопровождает чувственную глубину:

Опять начнешь суммировать укусы комаров

Как бесконечно малые обиды на меня.

(Людмила Пуханова)

Продолжим, однако, рассмотрение специфических свойств особого товара, именуемого *терзанием*. Каким образом причиняемая другому боль резонирует с принци-

¹ Два ларца, бирюзовый и нефритовый. СПб., 2008. С. 77–78.

пом наслаждения причиняющего? Ведь ясно, что логика победы над врагом здесь не работает, как уже отмечалось, боль в уплату принимается именно в близкородственном кругу, и отмеченная Фридрихом Ницше «жажда мести» как составляющая ressentimenta играет весьма скромную роль в поле близкодействующих сил. Очевидно, что в обменах, опосредуемых монетой терзаний, должен быть и некий симметричный участок, опыт собственной боли. Терзание другого было бы бессмысленным, если бы не опиралось на чувственный коррелят претерпевания, хотя бы на многокрасочную палитру обиды.

Человек, равнодушный к страданиям, скажем, нечувствительный к ним, едва ли согласится принять боль в уплату, здесь имеет место, как принято говорить, «диалектическое соотношение моментов». Во-первых, месть врагу проходит по другому ведомству, она может оставаться в рамках прямой чувственности, не затрагивая механизма идентификаций. Человек, претерпевший страдания и боль, иногда склонен говорить: такого и врагу не пожелаешь. В таких случаях речь идет о бессмысленных, неавторизованных страданиях, о тех страданиях, в которые «не удаётся вмыслить» никакого эквивалента. Однако авторизация анонимного, щедро рассыпанного повсюду страдания входит в самую суть бытия субъектом, является, выражаясь в терминах Джудит Батлер, ключевым моментом субъекции. Резонатор страданий, однажды сработав, отнюдь не стремится к отключению, как можно было бы подумать. Он стремится к переходу в режим инотелесности.

Ощущение боли другого есть удивительная, привилегированная форма идентификации: при этом открывается картина чувственной реальности, когда за пределами моего единичного тела пульсирует знакомая мне и, в сущ-

ности, моя собственная, боль. В таком случае ценность причинения страдания определяется переносом центра тяжести переживаний в иное тело — и можно заметить, что не любое тело для этого подойдет, а лишь тело достаточно знакомое и близкое, создающее минимум препятствий для идентификации. Происходит специфическое преобразование самочувствия в иночувствие, одновременно оказывающееся расширением горизонта самочувствия.

По-видимому, мы имеем дело с проявлением более общего феномена, описанного Августином. У Августина речь идет о сопереживании актеру, присутствующему на сцене, о ситуации, когда мы приветствуем в теле актера то, что осуждаем в себе самих. Сценическая убедительность плута, мошенника или негодяя заставляет нас непроизвольно восхищаться этими персонажами независимо от степени преодоленности соответствующих качеств в себе. Удвоение некоторого аффекта или состояния путем его перемещения в инотелесность легко меняет ценностный знак на противоположный¹.

Можно предположить, что взаимная ретрансляция боли в форме обмена терзаниями составляет корень этого феномена. Будучи субъектами, мы способны соприсутствовать в перемещенной боли, но если до перемещения мы от нее страдали, то теперь она предстает как некое благо (Транспаро Аутисто мог бы смело зачислить данное обстоятельство в атрибуты классического субъекта). Благо это имеет отчетливую товарную форму, поскольку является результатом проделанной работы, следствием нелегкого труда субъектообразования, субъекции. Товарообмен внутри малого, интимного круга и конституирует реальность родственных отношений, которые даются авансом, но требу-

¹ Подробнее об этом см.: *Августин. Исповедь*. М., 1989. С. 119–122.

ют глубокой, обстоятельной проработки для перехода от возможного к действительному.

Понимание способа специфического мучительства как медиатора близости, как действительного, а не просто декларированного родства, позволяет переосмыслить ряд «проклятых вопросов». Например, крик души, озвученный Львом Толстым: *доколе можно бить людей?* Или уже упоминавшуюся трактовку главного вопроса философии Ричардом Рорти, в соответствии с которой все дело состоит в том, чтобы избежать причинения боли друг другу...

Ответ может показаться странным, но при некотором размышлении он представляется единственно возможным: чтобы перестать мучить друг друга, необходимо максимально ослабить узы родства и близости, то есть пойти по пути, который максимально противоположен действенной любви к своему ближнему. Именно такой путь фактически и диктовался идеалами Просвещения, именно он и был избран в качестве магистральной линии развития «межперсонального общения». Транспарация закрепила этот выбор и обеспечила ему подходящие каналы социализации, важнейшим из которых является уже не раз упоминавшаяся политкорректность. Мы теперь подошли к ней с другой стороны, что дает повод еще раз оценить этот важнейший феномен современности. Политкорректность можно описывать по-разному. С позитивной стороны — как терпимость, тактичность, превалирующий учет интересов другого. С негативной — как глубокий страх перед спонтанным проявлением собственной самости. Но в любом случае перед нами тип отношений, в основу которого положено отношение не к другу, брату и свояку, а именно к первому встречному. Ты мне ни сват ни брат, и звать тебя никак — зачем же я буду тебя мучить, зачем инвести-

ровать полноту присутствия в инотелесность, возможная идентификация с которой утрачена?

Таким образом, политкорректность есть простой социальный инстинкт из набора тех модусов вторичной, обретенной простоты, которые описаны под общим именем *рефлорации*. Окончательный отказ от принципа «боль в уплату» означает ревизию важнейшей сферы самоопределения субъекта, свертывание целого региона межперсональных контактов и соответствующее изъятие мерности, казавшейся абсолютно необходимой для человеческого бытия. Эта необходимость, однако, относилась лишь к одному из возможных экзистенциальных проектов.

Тематизированная Гегелем превратность *Weltlauf* находит здесь очередное подтверждение. Сколько нравственных подвигов было совершено во имя утверждения человеколюбия, какие только аргументы не высказывались на тему «Доколе можно бить людей?», но любая изощренность теоретического разума всякий раз оказывалась бессильной перед вовлеченностью в контактное проживание, перед «ангажированностью самой жизнью». Мыслителям, в том числе и провозвестникам Просвещения, казалось, что нужно совершить еще одно решающее усилие человеколюбия, нужно *полюбить по-настоящему*, и ежедневная порция взаимно причиняемых страданий тут же уменьшится... Едва ли кому приходило в голову, что подлинная близость способна лишь увеличить, интенсифицировать обмен страданиями. Как бы там ни было, но случилось то, что только и могло случиться: революция в человеческих отношениях произошла не благодаря углублению контактного проживания, а, наоборот, в силу выравнивания рельефа *Mitsein*. Только лишившись чувственной реальности родства, люди стали меньше мучить друг

друга — речь, разумеется, идет о передовых американских людях, о самых образцовых подданных ПСК.

Остается рассмотреть еще механизм перехода от обмена «грубой», физической болью к сложному балансу взаимных терзаний, по-прежнему процветающему на периферии ПСК, там, где сохраняется полновластие субъекта. Ницше склонялся к тому, чтобы рассматривать зримую, членораздельную боль как исходную матрицу расчетов, своего рода отчеканенную монету. Возникает соблазн сопоставить душевные страдания с усовершенствованной, безналичной формой расчетов, но яркая экспрессия, подтверждающая реальность терзаний, не позволяет этого сделать. Более точной выглядит другая аналогия: возможность рассматривать причинение душевных страданий как капитализацию боли. Ведь предшествующие формы прямой и ответной агрессии (схватка воинов, драка подростков, etc.) укладываются в логику потлача, тут речь как раз идет о дистрибуции насилия, описанного Рене Жиаром¹.

Конечно, способность *осмыслять* болезнь и несчастные случаи, готовность «вмысливать смыслы» (Ницше) в осадочные породы и россыпи страданий, — эта способность является ведущей субъектообразующей силой вообще. Но и она традиционно делится на различные регионы — некоторые из них обустроены с помощью простых бинарных оппозиций вроде противостояния добра и зла, другие смогли породить разветвленные сети обменов. Таковы, в частности, два концентрических круга, в которых властвуют соответственно экономия либидо и миллион терзаний с его депозитами и кредитными учреждениями. Здесь процесс капитализации боли носит систематический характер и может быть прослежен вплоть до стремления

¹ Жиар Рене. Насилие и священное. М., 2002.

к монополизму (желанию быть персональным мучителем избранных — любимых и любящих) и возможному оттоку капитала, когда попадается особо черствый объект для инвестиций, не поддающийся тонким мучениям и совершенно неспособный оценить изощренность инвестора.

Тем не менее на сегодняшний день терзания утратили свою значимость, превратившись в сугубо региональную валюту остаточной субъектности. Отказ принимать боль в уплату является одним из самых ярких симптомов прогрессирующей транспарации, когерентность синтезируемого Плоско-Субъектного Континуума избавляет подданных от всех несистемных регуляторов и аннулирует неэквивалентные обмены как принцип. Универсальный метаболизм ПСК осуществляется с помощью трех простых медиаторов, перекликающихся с названием фильма Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». *Деньги, новости, считалки*¹ — вот три кита, на которых стоит современная цивилизация. Деньги поставлены на первое место отнюдь не случайно; попробуем рассмотреть их в несколько ином ракурсе.

¹ Считалки представляют собой предельно редуцированный регулятор политического пространства, некую переменную для обозначения произвольного элемента из множества первых встречных. Сегодняшним, пока несовершенным аналогом считалок являются электоральные игры — о них еще пойдет речь.

ОСНОВНОЙ РЕСУРС И ОНТОЛОГИЯ ДЕФИЦИТА

Конституирование языка воображения на основе денег объясняет их универсальное хождение и неограниченную предъявимость. Но отсюда еще не ясно, откуда берется их ценность: в объяснении нуждается и природа ценности как таковой.

Изначальным условием ценности *sine qua non* является дефицитность, понимаемая предельно широко. Обратимся вновь к Платону, давшему первое обоснование идеи ценности, при том что обоснование *идеи*, *эйдоса* и было одновременно установлением шкалы ценностей. Ценность того или иного сущего определяется его близостью к *эйдосу-первообразу*, степенью воплощенности соответствующей идеи, среди которых и Единое само по себе, и Благо, и само по себе Прекрасное. Однако теневым условием ценности вещей является неравномерность присутствия небесных эталонов в земных воплощениях, иными словами — дефицитность истины, красоты и блага, некая принципиальная лимитированность «всего хорошего». Такой дефицит предстает как род небытия, но не того, которое постигается чистой мыслью, а небытия, сброшенного в материю желания.

Когда Сократ говорит о «прекрасной амфоре» и «прекрасной кобылице», его речь имеет смысл лишь потому, что не все амфоры и кобылицы прекрасны. Множество посредственных амфор и сивых кобыл заставляют влечение вспыхнуть при виде близости к эталону. Вот и деньги, замещая любой имеющийся товар (и даже любой воображаемый), оповещают о его дефиците здесь и

сейчас¹. Но и товар оповещает о себе, о своем принципиальном наличии лишь постольку, поскольку находит язык, на котором можно обратиться к потенциальному потребителю, — язык денег, обеспечивающий новую членораздельность воображения.

Деньги демонстрируют динамический смысл лишенности — вполне в духе Плотина и Шнеура Залмана. Движимые ими потоки влечения направлены к восстановлению полноты целого, которое они сами же и фрагментируют благодаря своей дискретности. Определенность той или иной суммы напоминает языковую игру в гипостазирование, то есть в полагание предмета там, где предмет отсутствует². Любая произведенная номинация, независимо от того, случилась ли она в круговороте воображения или зафиксировалась в случайном эмпирическом ценнике, номинирует на премию самодостаточного существования полагаемую таким образом ценность: подобно тому как в языковых играх всякое *существительное* имеет шанс стать *существующим*, в скоростных играх обмена сформулированное *предложение* потенциально продуцирует дискретную единицу желания и воли, то есть ценность.

Мы имеем дело с далеко идущим сходством *предложений* именно потому, что в обоих случаях мы имеем дело с языком. Полнота Плеромы, создающая идеальный кос-

¹ Экономист, нобелевский лауреат Януш Корнаи в своей обобщающей книге (*Корнаи Я. Дефицит*. М., 1992) подводит итог экономических воззрений, опирающихся на идею лимитированности наиболее значимых ресурсов.

² Ср. с известным тезисом Витгенштейна: «Там, где наш язык подразумевает существование тела, между тем как его нет, мы склонны говорить о существовании духа» (*Витгенштейн Л. Философские работы*. Ч. 1. М., 1994. С. 96–97).

мос изобилия, перестает быть единственным аттрактором всех устремлений в момент своей членораздельной репрезентации, каждое предложение завершается знаком препинания как препоной, мимолетной задержкой на пути к восполнению утраченной целостности. Деньги подобны *искрам Божиим*, плененным материей, их возвратно-восходящее движение преобразует материю желания в товарную форму. Так, для *Шехины, пребывающей в изгнании*, запрещен кратчайший путь возврата, поэтому в своем центростремительном движении она влечет за собой преобразованные фрагменты воплощенности, которые в противном случае никогда не отслоились бы от чистой лишенности: так преодолевается скудость мира¹.

По Марксу, необходимость в деньгах может возникнуть лишь в случае товарного избытка, однако очевидно, что систематическое воспроизводство этой избыточности — а только оно и имеет значение — есть отклик на запрос, формулируемый разгоряченным воображением на языке денег. Избыток провоцируется преднаходимым дефицитом подобно тому, как излияние Торы в мир провоцируется встречной духовной жаждой. Тут, впрочем, действует принцип кругового причинения, ибо дефицит наличного (как наличного бытия, так и собственно наличности) вырисовывается благодаря полноте воображаемого, в контрасте с которым возникает скудость мира. Вот ведь и ценность произведения искусства оттеняется (и конституируется) первой встречной безыскусностью — кажется, что *безыскусное* должно первым выйти навстречу для того, чтобы встреча с искусством вообще состоялась. Еще сто лет назад можно было смело провозгласить: если бы деньги исчезли, мир утратил бы половину своей ценно-

¹ См.: *Залман Шнеур*. Книга Тания. Вильнюс, 1992.

сти. Сегодня, благодаря синтезу имманентного пространства ПСК, ситуация изменилась: с исчезновением денег мир обесценился бы как минимум на три четверти. И то ли еще будет.

Георг Зиммель впервые четко сформулировал давно витавшее подозрение, что деньги не есть простой номинал для обозначения содержания обменов, скорее само содержание в большинстве случаев может рассматриваться как повод для совершения желанных операций: «Для обмена нельзя найти привилегированную основу, которую искали в торговле, браке, религии, ибо он возникает в момент установления связи между людьми. Следовательно, это означает, что любое взаимодействие должно рассматриваться как обмен»¹. Если бы эта простая мысль пришла в голову Марксу, возможно, что его политэкономия выглядела бы совершенно по-другому. Ведь речь идет если не об исходной мотивации, то по крайней мере о господствующем типе причинения, пусть даже в какой-то момент вторгающемся извне, но преобразующем всю картину дистрибуции вещей, включая и их производство: «Деньги также являются посредником просто в личных отношениях, будучи счетоводом множества связей, которые устанавливаются каждое мгновение. Очевидно, у них есть сила связать меня с другим человеком — торговцем, у которого я покупаю коробку сигар, незнакомцем, которому я предлагаю выпить, женщиной или мужчиной, которых я соблазняю с их помощью. Драма современности происходит именно из того, что люди не могут иметь между собой связей, в которых не присутствовали бы деньги»².

¹ *Simmel G.* Brucke und Tur. Stuttgart, 1957. S. 224.

² *Московичи С.* Машина, творящая богов. М., 1998. С. 397.

Итак, в спекулятивном плане, не вдаваясь в исторические детали, можно исходить из того, что «в один прекрасный момент» появляется или, лучше сказать, заявляет о себе сверхактивный фермент обменов. Органическим аналогом этого фермента будет даже не кровь, как у Левиафана, описанного Гоббсом, а несравненно более универсальный медиатор, соединяющий в себе свойства адреналина, инсулина, эндорфинов и естественных алкалоидов. Благодаря мощи и универсальности фермента исходный континуум даров (потлач), компенсирующий инфляцию слов, был перекрыт сетью новых обменов — континуумом, в котором язык воображения на лету подхватывал голос вещей и предоставлял этому голосу членораздельность, благодаря чему расположение, признательность, симпатия, равно как и любые степени дистанцирования, теперь могли быть выражены в дискретных суммах всепроникающих сообщений. Возник язык, на котором можно было отдавать приказы экономике.

Одним словом, в отношении постиндустриального общества деньги можно вкратце охарактеризовать как *основной ресурс*. Пока даже не обязательно уточнять, основной ресурс чего — товарного производства, экономики, рутинной коммуникации, — ибо на сегодняшний день автономия этих сфер весьма относительна и проблематична. Мы установили, что язык денег является исторически самым новым всеобщим языком воображения, отчасти альтернативным понятийному мышлению, отчасти же подспорьем для мысли, придающим шагам рефлексии специфическую окраску. В активированном и тем более в воспаленном состоянии воображение неспособно выполнять регулятивную функцию, но содержащееся в нем повелительное наклонение абстрагируется в сферу целеполагания. В спо-

собе проникновения в эту сферу есть очень важные различия между воображением, разгоряченным Эросом (либидо) и тем, которое оперирует воображаемыми талерами.

Либидо поддается сублимации, механизм которой, несмотря на усилия Фрейда, все еще остается таинственным. Но только систематические грезы деньгами о деньгах могут принять характер абстрактной воли: при этом эротическое воображение так или иначе препятствует сублимации, его приходится преодолевать. Денежные же грезы всего лишь отвлекают абстрактную волю, обволакивая ее благоприятной питательной средой. Рассмотрим подробнее горизонты инобытия двух основных потоков воображаемого.

Язык либидо посредством сублимации оказывается способным к достаточно далеким переносам, он незримо, а то и зримо, сопутствует великим взлетам человеческого духа. Опора на эротические образы характерна для «допротестантского» христианства, в то время как специфическая религиозность лютеранства и кальвинизма могла быть создана только посредством «сублимации» конкурирующего языка воображения, денежных грез. Детали денежных расчетов и перерасчетов, освященные именем Бога, составляли саму сердцевину сокровенного духовного know how, описанного Максом Вебером. На этом же языке записаны и скрижали «капиталистической действительности», подлинные духовные основания для существования банков, бирж и прочих элементов разветвленной инфраструктуры.

Крайне важно, что первичная запись содержит возможность трансцендентного расширения, в соответствии с которым магия самовозрастающей суммы денег свидетельствует о богоизбранности, да и о присутствии Бога

вообще. Этот момент в высшей степени мистический, до него в принципе невозможно домыслиться, но, как выяснилось, можно догрезиться. Воспаленное воображение однажды оказалось способным на такое трансцендентное расширение. Способ, которым берется барьер, был закреплен в составе духовных практик, оказавшись едва ли не последним историческим новообразованием субъекта. Впрочем, по аналогии с синтезом линейного времени можно предположить, что речь идет все же о разовом импульсе, о первотолчке, вбросившем в мир такую духовную энергию и силу причинения, которых хватает и до сих пор¹. В сущности, это было воистину удивительное трансцендентное расширение едва ли не самого профанного измерения человеческого бытия, «купли-продажи». Только субъект мог вместить столь радикальную несовместимость, но даже субъект подвергся преобразованиям для повышения вместимости, общего уровня смысловости мира.

Реформа вместимости происходила не на ровном месте, нечто подобное уже было. Преднаходимый голос телесности, модулируемый как позыв либидо, допускает сублимацию, в ходе которой сопрягаются воля-к-бессмертию и «основной инстинкт», его сам Фрейд с некоторым сомнением называет инстинктом продолжения рода². В результате возникает насыщенная эротическими компонентами любовь к Богу, чувственная реальность, в которой импульс либидо был глубоко преобразован, но все же не укрылся от внимания теологов.

И тем не менее если такое объединение можно считать греховным (именно так и считало большинство теологов),

¹ См.: Гигерич В. Производство времени // Митин журнал. СПб., 1996. № 53.

² Фрейд З. Труды разных лет. Т. 1. Тбилиси, 1991. С. 351–361.

то каким верхом греховности должно предстать тогда второе трансцендентное расширение — попытка на языке денег догрезиться до Бога! Конечно, этот язык прекрасно подходит для быстрых счетных операций внутри любого множества конкретных благ, и соблазн подкрепить высшие чаяния денежным эквивалентом существовал всегда. Однако все попытки прорыва, представлявшие собой, в сущности, разновидность подкупа, на эксплицитном уровне решительно пресекались. Новый Завет преисполнен обличениями стяжательства. Бог, в отличие от его земных служителей, неподкупен — эта мысль изложена с предельной ясностью и отчетливостью, поэтому десятина и прочие платежи неизменно рассматривались как некий компромисс, явно противоположный тому, что Кьеркегор называл подвигом веры. Церковь, впрочем, время от времени погружалась в грех сребролюбия, что всегда соответствовало периодам упадка живой подлинной веры, — самый глубокий кризис пришелся как раз на эпоху Возрождения. А далее случился воистину удивительный синтез, ознаменовавший саму суть Реформации.

Да, посредством подкупа Бога догрезиться до трансцендентного не удалось, зато увенчался успехом другой, куда более экзотичный ход. Деньги, как их количество, так и принцип их возрастания, пригрезились в качестве прямой и непосредственной благодати. Произошло соединение пучка экзистенциальных чаяний и неукротимой жажды обладания, в результате чего возник абсолютный монотеизм. Впервые зов Золотого Тельца, обеспечивавший фоновый дуализм веры, оказался включенным в состав сакрального. Тезис Тертуллиана «Верую, ибо абсурдно» обрел новый смысл: если можно так выразиться, содержащаяся в нем несовместимость стала еще на

порядок несовместимее, ведь обратной стороной благословенности свыше (и одновременно ее градуированной шкалой) стала квинтэссенция меркантилизма. Никакая умопостигаемость, никакое здоровое моральное суждение не могли бы примирить непримиримое, на это оказалась способной лишь новая редакция формулы Тертуллиана. Тем самым субъект в качестве сущего, не разрушаемого своей противоположностью, подвергся новому испытанию, не уступающему по своей замысловатости афоризму Евгения Шварца, — и вышел с честью из этой ловушки, не повредив даже логики, остающейся инструментом локального применения.

Понятно, что подобно тому, как происходит преобразование либидо в результате его трансцендентного расширения (в целом подобное преобразование можно расшифровать как общее облагораживание любви), притягательность денег, воспаливших воображение, тоже приобрела некие более пристойные формы, не сводящиеся к алчности и сребролюбию (хотя и выводящиеся из них). Макс Вебер в основных чертах дал картину монотеизма, в котором алчность и самопожертвование переходят друг в друга без какого-либо опосредования, прямо как скромность и прозрачное платье у прекрасной девушки. Помимо всего прочего, произошедший синтез вызвал смещение центра тяжести воображения с конечного звена (вроде бочки варенья и корзины печенья) к центральному звену, представленному самими деньгами с их чудесной способностью к самовозрастанию. Чистый разум, утрачивая свою чистоту под воздействием грез, услужливо подсказывает, что взор Всевидящего сосредоточен на самовозрастании капитала, соответственно, именно здесь синтезируется топливо абстрактной воли, то есть воли, оторванной от

желания чего-то особенного и ведомой единством благополучия и благословенности.

Обоснование этого момента, по существу, и является сердцевиной этического учения Канта. Ведь если всмотреться, в каком именно отношении чистый практический разум чист, от чего он в первую очередь очищен, откроется любопытная картина. Он отнюдь не свободен от подозрений, эта задача оказалась непосильной Просвещению и решается уже сегодня средствами транспарации. В кантовском практическом разуме подозрения попросту обобщены и вынесены за скобки — поэтому в каждом отдельном акте чистого практического разума подозрения имеются в виду или по крайней мере имеются в невидимости.

От какой же гетерономии избавлен чистый разум Иммануила Канта? Он избавлен от трансцендентного расширения чувственности — конкретно от тех сублимаций либидо, в которых еще просматривается их первоисточник. Отсюда столь характерные призывы Канта к избавлению от психологических (гетерономных) коррелятов «добрых дел», отсюда же его стремление к рациональному милосердию, к спокойной доброжелательности и в идеале к нулевому самочувствию вообще. Отсюда же, вероятно, и «странная враждебность» к Канту всей русской религиозной философии (впервые отмеченная Густавом Шпетом), ибо за соответствующими этическими постулатами интуитивно ощущается иной опыт веры, опыт, чуждый православной традиции с ее опорой на преображенный эрос.

Действительно, в «Критике практического разума» речь идет о рафинировании отношений к Богу, об очистке этих отношений от компонентов чувственной любви — в первую очередь отфильтровывается оргиастическая со-

ставляющая, так часто прорывавшаяся наружу на всем протяжении христианской истории. В Латинской Америке и в некоторых католических странах Европы она до сих пор сохраняет свою силу. Именно эта экзальтация — родственная, хотя и не тождественная дионисийскому началу, была выкорчевана в протестантстве совокупными усилиями Лютера, Кальвина, Цвингли и Канта. Но свято место пусто не бывает — на смену преобразенному (и не очень преобразенному) Эросу пришел альтернативный язык воображения, уже достаточно описанный здесь. Теоретически обоснованная бесстрастность Канта действительно свободна от страстей из группы либидо, но отнюдь не от чувственного коррелята вообще. В этом хорошо ведомом Канту тайном языке не-фрейдовского бессознательного сотня воображаемых талеров принимала форму мерцающего аттрактора. Искренне верующий протестант, вглядываясь в это мигающую точку, мог повторять про себя: *я их все равно заработаю*. И далее пытаться совершать боготорческий жест Иакова на новый лад, вознамерившись восхитить Божественное благословение путем подчинения своего бытия чистой абстрактной воле к приумножению наличного (номинального). На языке этой воли записан призыв к новому Аврааму, призыв, который невозможно расшифровать при прежнем типе трансцендентного расширения чувственности.

Так, сугубая рациональность, счетность, сама пресловутая меркантильность приземленной буржуазной жизни опирается на пронизанное иррациональностью основание. Деньги, будучи простым посредником по доставке материальных благ, должны стать даже не оболочкой, а внутренней формой денатурированного желания, для того чтобы расширенное производство этих самых благ по-

лучило трансцендентную санкцию. При этом язык денег как настоящий полноценный язык не мог не породить собственных праздных языковых игр, без которых, в свою очередь, не могут быть составлены и скрижали завета. А их смысл, выявившийся уже к концу эпохи Просвещения, таков: переход от денег как транспортного средства по доставке уже существующих ценностей, признанных объектов желания, к деньгам как всеобщему ценнику. Дело не в том, что все, имеющее ценность, может получить денежное выражение, а в том, что все, выражаемое в деньгах, именно поэтому имеет ценность.

Подобно тому как в нормальной человеческой речи действует презумпция смысла и любой произвольно взятый текст исследуется на наличие смысла, язык денежных грез, будучи развитым языком с собственным словарем и грамматикой, обретает аналогичную презумпцию: грезы есть некие фразы, выражающие соотношение наличного и основного ресурса. В социологических терминах это хорошо известное обстоятельство описывается обычно как навязывание покупки или как синтез искусственных потребностей. Близость товарного предложения к предложению в грамматическом смысле завораживает. Ибо в случае простого наличия ценника всевозможные дезодоранты для кошек, штормки для очков, упакованный в консервную банку воздух Санкт-Петербурга и великое множество других подобных кунштюков оказываются приемлемыми предложениями. При этом ясно, что они не являются априорными ценностями, получившими наконец денежное выражение, — напротив, они суть конструкты языка, в силу грамматической правильности обретшие ценностный статус.

Этот момент чрезвычайно важен, он дает простор для творчества, для направленного потока инноваций в опти-

ческом слое экзистенциального проекта. Он позволяет оспорить некоторые исходные утверждения Маркса, например известные строки из письма к Энгельсу: «Господа экономисты проглядели чрезвычайно простую вещь, а именно что форма “20 аршин холста равны одному сюртуку” есть лишь неразвитая основа формы “20 аршин холста равны 20 фунтам стерлингов”, что таким образом простейшая форма товара, в котором его стоимость выражена еще не в виде отношения ко всем другим товарам, но лишь в виде отличия от его собственной натуральной формы, заключает в себе всю тайну денежной формы и тем самым, в зародыше, тайну всех буржуазных форм продукта труда»¹.

В действительности в этом зародыше еще не содержится тайна нового типа дистрибуции вещей, подобно тому как человеческий зародыш на стадиях бластулы и гаструлы еще не содержит решающих отличий от предковых форм. Необходимо, чтобы произошло развертывание еще одного измерения, передача импульса, источника активации к «грамматически правильной» форме предложения, именно эта передача и обеспечивает работу *perpetuum mobile* индустриального и постиндустриального общества. Лишь когда 20 фунтов стерлингов или сто воображаемых талеров соотносятся не только с 20 аршинами холста, не только с насущной здесь и сейчас покупкой, но когда они актуализуют все гнездо своих означающих в быстром пробеге, причем так, что легкое количественное смещение в воображении, скажем от ста к ста двадцати двум талерам, тут же открывает новые пороги качественной определенности, — лишь тогда можно говорить, что вечный двигатель запущен. Что же касается проблемы интерференции

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 20.

двух господствующих языков воображения, следует отметить, что вся мировая художественная литература до сих пор не исчерпала эту безбрежную тему. Есть что сказать по этому поводу и аналитикам ПСК, несмотря на происходящую сегодня редукцию эротических грез, — ведь даже монтаж порношаблонов в рамках восторжествовавших наконец эквивалентных обменов служит источником психологических нюансов, напоминанием о всевластии субъекта.

Осмысленные предложения, обильно уснащающие тексты денежных грез, тяготеют, конечно, от сложносочиненных к простым. Сокращается дистанция между явленной в воображении картинкой и ее распечаткой (сбросом в овеществление) — тем более что и то и другое располагается сегодня, по существу, в одной плоскости, на витринно-гламурной поверхности отражающихся друг в друге экранов. Но доступность для пользователя остается лимитированной, и уж тем паче такова эксклюзивная принадлежность. Иначе деньги потеряли бы всякий смысл.

Едва ли не самый важный аспект власти денег состоит в одновременной членораздельности и лимитированности основного ресурса. В экзистенциальном проекте упрощенного субъекта ограниченность основного ресурса играет ту же роль, что и теснота желаний в проекте «классического» (скажем так, гегелевского) субъекта, — они прогоняют тоску бессмертия, иницилируя осмысленность и интенсивность бытия. Самая захватывающая деятельность стремительно достигает порога оскучнения, если не поддерживается топливом основного ресурса. Роскошная графика, впечатляющая панорама, хитроумные трюки уснащают современные компьютерные игры — но играть в них, испытывая азарт и удовольствие, можно лишь потому, что

в ходе игры расходуется и пополняется лимитированный ресурс: деньги или заменяющие их счетные единицы. В бесчисленных произведениях жанра фэнтези, где легко отменяются любые законы природы и фантомы самого изощренного воображения осуществляются без проблем, лимитирующий ресурс (какие-нибудь космобаксы) выполняет все ту же роль возгонки желания — исключением не является ни киберпанк Филипа Дика, ни психоделика Уильяма Гибсона. Подданные ПСК готовы расстаться со многими атрибутами субъекта, но только не с основным ресурсом.

Пронизывающая сила и всепроникающая способность бегущей строки новостей сопоставима лишь с аналогичной способностью денег. Происходя из разнородных полей сущего, эти медиаторы неуклонно движутся навстречу друг другу, их сближение является важнейшим источником когерентности континуума — той обретенной умопостигаемости или вторичной простоты, которая воистину напоминает чудо рефлорации. Уже отмечалось, что современная реклама все больше подражает выпуску новостей, а сами новости, в свою очередь, содержат все больше рейтингов и котировок. Агрессивная современная медиасреда успешно переваривает содержащиеся (еще) в ней вкрапления разнородности и не менее успешно разъедает внешнее пространство традиционных социальных форматов. Для понимания происходящего уместно привести краткий исторический очерк.

Сегодняшнее всевластие СМИ представляет собой один из параметров расширяющейся Вселенной, начальное состояние которой поддается ретроспективному отслеживанию от нулевой точки. Причем эта нулевая точка, в свою очередь, имеет собственную историю — впрочем, это отдельная тема¹. Изначальным квантом медиасреды является *газета*, первичный недифференцированный атом, появление которого взорвало традиционные способы трансляции знания и соответствующие социальные уклады. Мир, непрерывно передающий репортаж о самом себе, есть следствие этого продолжающегося взрыва, запустившего реакцию синтеза новой имманентности, син-

¹ См.: Секацкий А. Изыскания. СПб., 2008.

теза ПСК. Тем не менее целое (медиасреда) в основных чертах остается сопримродным исходному кванту, некоей типичной газете. Медиасреда, в сущности, и есть газета, тиражируемая вглубь во все слои публичного, — газета, легко меняющая носителей, точнее, приумножающая набор носителей собственного содержания, но сохраняющая при этом изначальную определенность. Не следует забывать, что и радиогазета, и электронная газета все же остаются прежде всего газетой отнюдь не только из-за простой инерции словоупотребления. Сейчас стал уже общим местом тезис МакЛюэна «media is a message», и содержащаяся в нем доля истины явно перекрыла остальные доли, породив ложную топику рассмотрения. Перефразируя Хайдеггера, уместно отметить, что сущность газеты не есть нечто бумажное (хотя дешевизна носителя, безусловно, сыграла свою роль), она столь же метафизична, как и сущность техники. Ибо уже в «простой газете» конца XVIII века есть то главное, что впоследствии прорывается во все измерения социума.

Попробуем ухватить это сущностное ядро, оттолкнувшись от негативных определений. Как это часто бывает, специалисты по истории журналистики склонны вести родословную своего предмета с незапамятных времен. Как правило, переписывают утверждение Людвига Саламона, одного из основоположников дисциплины: «Зачатки периодической печати мы находим еще в Древнем Риме. Приказ Юлия Цезаря об опубликовании протоколов сенатских заседаний, так называемых *acta senatus*, положил основу регулярному обнародованию политических сообщений»¹. Некоторые признаки периодической печати — регулярность, публичность, присутствие официа-

¹ Саламон Л. Всеобщая история прессы. СПб., 1907. С. 14.

ной хроники — имеются в этих «актах», но это признаки внешние, на уровне сходства человека и манекена. Собственно «газетность», выражаясь языком Платона, здесь не присутствует¹, агентом производства тут был скорее гонец или глашатай, чем журналист.

Можно вспомнить и такой жанр, как *донесения*, подборка которых ежедневно зачитывалась тому или иному суверену. Уместно ли рассматривать эти подборки донесений как журналистику, по крайней мере журналистику для одного? Не в большей мере, чем разведывательные донесения, передаваемые в Центр. С другой стороны, лубочные картинки и комиксы в самом широком смысле этого слова тоже появляются задолго до газет, и у них есть некоторая периодичность, преимущественная приуроченность к ярмаркам и праздникам. Руморологическая природа лубочных картинок выдает в них родственное прессе начало и даже позволяет считать комикс первой, «пробной» аватарой газеты подобно тому, как гипотетическая «кремниевая жизнь» предшествовала органической жизни на основе углеводов... И все же комикс и лубок не имеют сами по себе прямого отношения к явлению газеты, они соотносятся с газетой так же, как граффити и надписи на заборе.

Комиксу не хватает настоящей разнородности — но популярность уже налична. Есть и открытость, подходящая топика, пригодная для синтеза многообразного, говоря словами Канта — для принудительного синтеза под давлением. Просто представим себе, что и указы императо-

¹ Тот же Саламон указывает и на другое детище Юлия Цезаря, так называемые *acta diurnia publica*, отличавшиеся большим разнообразием. К сожалению, ни единого списка с этих более вероятных прообразов газеты не сохранилось.

ра, и лубочные картинки проецируются в единую общую плоскость, где и обретают форму устойчивого систематического соседства. Сюда же подверстываются и проекции других лучей, отклонившихся в своем назначении: в конце концов весь свет Просвещения собирается на одной бросовой площадке — в отличие от декартовского *lumen naturalis*, естественного света разума, сохраняющего собственную устойчивую траекторию по крайней мере до поры до времени. И вот, когда современной читатель в пределах одной страницы или, если угодно, одной плоскости обнаруживает и заявление президента, и сенсационное открытие в сфере производства купальников и когда подобное соседство не вызывает у него удивления, — тогда и только тогда он действительно имеет дело с газетой. При выполненном *неразборчивом синтезе многообразного* феномен предстает во всей своей чистоте: теперь он может быть переброшен на любой другой носитель или редуцирован к бегущей строке — речь все равно будет идти о газете.

Такова простейшая схема, быть может, первого принудительного синтеза имманентности: когда газета уже существует в качестве регулятивного принципа, дальнейшая разнородность утрамбовывается в континуум с большей скоростью. В действительности даже исходная матрица «газетности» не может ограничиться всего лишь одной полярностью. Свою площадь по соседству обретает и бизнес (коммерция), причем в двух ипостасях: как реклама и как аналог современной рубрики «Деловое обозрение». Медиатор денег, конечно, и сам по себе является эффективным скоросшивателем имманентного, но как знать, быть может, без систематического газетного профанирования коммерция могла бы уклониться в мистическое на-

правление¹. Дискурсы, встреча которых была невозможна, случайна или особо оговорена (вроде встречи сеньора с его садовником), сошлись в регулярно возобновляемом усилии синтеза. Совпав на плоскости, они с неизбежностью приняли плоский характер. Результат совпадения, газета, тем самым предстала безусловной новацией и даже Новацией с точки зрения самых существенных параметров социальности. Каждый из этих дискурсов существовал сам по себе, не нарушая права другого, не посягая на стабильность сложившихся человеческих установлений. Инновационный синтез произошел именно при их принудительном сопряжении, обращаясь к языку экспериментальной физики, можно сказать, что реакция синтеза осуществлялась «в вакууме и под давлением».

Следует отметить, что техника не играла решающей роли на старте этого процесса; достаточно отметить, что книгопечатание, которое технически сложнее «газетопечатания», возникло на полтора столетия раньше, и если книгопечатание действительно произвело революцию в трансляции знания и культуры в целом, то печатание газет в типографии стало лишь одним из факторов в формировании Газеты как идеи — безусловно, важнейшей идеи современности.

Результат проекции на плоскость, разумеется, вызывает в памяти ключевое слово «профанация». С точки зрения политических актов, осуществляемых сувереном, с точки зрения священника или жреца, профанация очевидна:

¹ В мистическом духе склонны были трактовать коммерцию арабские мудрецы — см. напр.: *Аль-Фараби*. Тракаты. Алма-Ата, 1969. Подобная тенденция просматривается и у Кальвина, и вообще в протестантской этике, и похоже, что именно торжество журналистики воспрепятствовало движению в эту сторону.

между священнодействием жреца и гороскопом на неделю, между совершаемой в храме литургией и газетной рубрикой «Слово пастыря» лежит пропасть. Куда любопытнее другое — то, что и *лубок* как органическая часть народной смеховой культуры претерпевает по-своему не меньшую профанацию. На газетной плоскости лубок утрачивает свой озорной, бесшабашный характер, подвергается некоей стерилизации и одновременно придает «похабный оттенок» соседним дискурсам. То есть его собственная подлинность преобразуется в неподлинность окружения.

Профанацию можно, конечно, наделить и более пристойным именем — например, назвать ее популяризацией и даже собственно просвещением. В любом случае имеется в виду принципиальный антипрофессионализм: опираясь исключительно на газеты, нельзя стать профессионалом ни в одном деле, даже овладение профессией журналиста требует выхода за пределы газетной плоскости. Такое положение дел, однако, вовсе не означает, что из газет нельзя совсем ничему научиться, ведь эта проекция на плоскость включена в матрицу транспарации, притом как решающее звено. Прежде всего следует обратить внимание на чистый выигрыш в скорости, который можно рассматривать как прибыль от совокупных экзистенциальных инвестиций. Ни один прежний круговорот знания не обладал даже подобием такой скорости — соответственно, профанация, помимо всего прочего (а может быть, и прежде всего), есть радикальная «очистка» элементов метаболизма, позволяющая разогнать их вплоть до появления новой реальности, до вихревого рождения транспарантной вселенной. Сходные процессы уже и до этого происходили в сфере дистрибуции вещей, ведь обретение вещью товарной формы вполне можно рассматривать как ее профана-

цию. Товарная форма разгружает вещь от всех отягчающих обстоятельств — от мемориальной составляющей, от условий ритуального соответствия социокоду, от паузы выбора направления движения в связи с неоднородностью адресатов¹. Разнородные и «разнозалегающие» пласты вещей точно так же становятся товарами в общем потоке, как разнородные дискурсы посредством проекции на газетную плоскость обретают общий статус медиапригодности. Схождение этих процессов образует работающий скоросшиватель Транспарации.

Таким образом, мы вновь оказываемся перед неким эмпирическим событием или, если угодно, перед не слишком акцентированным историческим процессом, способным выступить в роли метафизического аргумента, и притом решающего. Обратимся к Луи Альтюссеру, одному из наиболее проницательных теоретиков марксистского лагеря. Пытаясь эксплицировать методологическую новацию Маркса (марксистский вклад в диалектику), философ пишет: «Подобно простому труду, и индивидуальный производитель или индивид как элементарный субъект производства, которого мифы XVIII века помещали у истоков экономического развития общества, — это экономическое *cogito* в самой своей видимости, появляется лишь в развитом капиталистическом обществе, т.е. в обществе, которое довело до наибольшего развития общественный характер производства. Точно так же и обмен как простое всеобщее *par excellence* во всей своей интенсивности проявляется только в наиболее развитых состояниях общества. Эта

¹ Секацкий А. К. От формации вещей к эпохе текстов // Вестник Санкт-Петербургского гос. Университета. Серия 6, вып. 1. СПб., 2000. С. 12—18. См. также: Петров М. К. Язык, знак, культура. М., 1991.

категория отнюдь не является господствующей при всех экономических отношениях. Таким образом, простота не является изначальной: именно структурированное целое придает смысл простой категории, и именно оно в результате долгого процесса и в исключительных обстоятельствах способно произвести экономическое существование определенных простых категорий»¹.

Альтюссер здесь со ссылкой на Маркса излагает вещи, которые стали вполне очевидными лишь после вступления процессов Просвещения в стадию Транспарации. Продолжим цитату: «Знаменитое “Введение к критике политической экономии Маркса” — это одно долгое доказательство следующего тезиса: простое всегда существует только в сложной структуре, всеобщее существование простой категории никогда не является изначальным, оно появляется только в результате долгого исторического процесса как продукт чрезвычайно дифференцированной общественной структуры, — поэтому в реальности мы никогда не имеем дело с чистым существованием простоты, мы сталкиваемся лишь с существованием конкретного, т.е. сложных, структурированных вещей и процессов. Именно этот фундаментальный принцип совершенно несовместим с гегелевской категорией противоречия»².

Знакомство с тенденциями медиасреды дает нам основания подытожить размышления Альтюссера и отчасти скорректировать его мысль. Конечно, утверждать, что «простое всегда существует только в сложной структуре», что «всеобщее существование простой категории никогда не является изначальным», довольно опрометчиво и даже

¹ Альтюссер Луи. За Маркса. М., 2006. С. 280.

² Там же. С. 280–281.

комично, но вот разделить недифференцированное смутное начало и *вторичную синтетическую простоту* — это действительно важный методологический ход: многие, и притом наиболее существенные, вещи очеловеченной вселенной появляются путем вторичного упрощения.

Взять, например, «простое товарное производство», оно, конечно, является простым элементом в составе развитой товаропроизводящей экономики: *сложное* можно *разложить* на составные элементы путем абстракции или деконструкции — но данный элемент в своей чистоте отнюдь не является исторически первичным. *Не-развитость* товарного производства есть знак только его несамостоятельности, а не его простоты. Тут можно вспомнить тотальный поэзис как первичную форму производства вещей, где это производство неотделимо от символической составляющей, от принадлежности ко всему универсуму архаической социальности; можно обратиться к *эйкономии*, когда производимые вещи достаточно скуппо и дозированно поступают в товарообмен, а «главные вещи» и вовсе не подлежат отчуждению, повинаясь своему собственному неспешному метаболизму произрастания и угасания. Можно, наконец, рассмотреть такой типичный очаг хозяйствования европейского Средневековья, как монастырь: вплоть до XV века «производственные мощности» монастырей вырабатывали около двух третей совокупного общественного продукта¹. Классическое на-

¹ Лучшей книгой на эту тему до сих пор является исследование Бориса Поршнева (*Поршнев Б. Ф. Феодализм и народные массы. М., 1964*). Выводы Поршнева полностью (хотя и без ссылок) подтверждаются и современными исследованиями. См. напр.: *Lemonnier P. Technological choices. Transformation in Material Cultures since the Neolithic. London, 1993*.

туральное хозяйство в монастырских условиях включало в себя фрагменты товарного производства, но, разумеется, это производство отнюдь не было элементарным прежде всего потому, что оно не было самостоятельным. Сам труд на монастырских полях и огородах (равно как и в мастерских) был органичной составной частью всего *литургического процесса*; аскеза и послушничество являлись важными движущими силами трудового процесса, а специфические законы «чистого» товарного производства, напротив, могли носить факультативный характер.

Аналогичным образом дело обстоит и с «простым» гомогенным государством, ведь и оно как бы кристаллизуется путем вымывания бесчисленных осложнений и разнородностей. Современное гомогенное контрактное государство является таковым потому, что оно гомогенизировано в процессе истории, приведено к общему знаменателю и теперь, в принципе, может быть разложено на простые элементы — например, на отдельные ветви власти, соотношение которых подчиняется социально-политической рациональности.

Еще одним примером консолидации простого всеобщего из предшествующей формации может служить наука. Лишь школьные учебники или книжки для почемучек и любознательных рисуют дело так, будто наука развивалась из набора очевидностей здравого смысла, — действительная наука возникает из усечения магически-эзотерической формации знания и уж затем сама порождает себе более подходящего прародителя, какую-нибудь математическую смекалку. Ученые, впрочем, охотно верят в этого мифического предка, с удовольствием находя в его обыкновениях свои собственные черты. В то же время следует признать, что некое «заинимательное естествознание» для любого незамутненного

рассудка действительно легко извлекается из зрелой науки и оказывается очень неплохим введением в нее.

Если оставить в стороне синтез линейного времени, исследование которого выходит за пределы данной работы, то сам континуум, феномен ПСК, предстает в качестве наиболее грандиозной редукции, осуществленной на чудодейственном конвейере Просвещения — Транспарации, и проекция плоскости газетного листа поверх экзистенциального измерения присутствия есть один из решающих этапов производства современности. Присмотримся к нему еще раз, чтобы не упустить ни одного из существенных аспектов.

Итак, знание как «эпистеме», а не как «докса» должно было стать предметом регулярного, однодневного (одноразового) выброса, стать массовым продуктом с чрезвычайно коротким периодом полураспада. Весь вопрос в том, как, когда и почему стало *не жалко* тратить такое количество усилий для производства сорного, заведомо бросового знания. Ведь во времена, скажем, Фомы Аквинского было жалко времени даже на то, чтобы подобную руморологию просто озвучить¹, уделить ей часть своего присутствия, а не то что допустить в канал публичной трансляции. Но как только инерция ежедневного грандиозного выброса устоялась, воспользовавшись так удачно подвернувшимся дешевым носителем, сделанной из тряпья бумагой, все грядущие отслоения стали не толь-

¹ Любопытно, что Пьер Абеляр, отвечая на письма Элоизы, все же не считает нужным сообщить подробности своего монастырского обустройства (несмотря на просьбу), только предполагая, что письма могут быть опубликованы (переписаны). Он словно бы руководствуется правилами своеобразной гигиены, стремясь не оставлять после себя мусора. См.: *Абеляр П. История моих бедствий*. М., 1959.

ко возможными, но и в какой-то степени неизбежными. Между изобретением радио и проекцией медиасреды на диапазон радиоволн прошло уже не более пятнадцати лет, а *Всемирная паутина* сплеталась как медиасреда изначально. Уместно еще раз констатировать, что топология медиасреды включает в себя некий константный рельеф: рубрикацию, тематизацию, совокупность ограничений по вместимости и обновляемую поточную часть — руморологические токи высокого напряжения. Обычно в данном случае иллюстративным материалом служит интернетовский сайт с бегущей строкой — впрочем, заикливаться на этом сегодняшнем видеообразе необязательно. С помощью той же компьютерной графики можно представить себе стопку газет, обращенных к наблюдателю первой страницей. Если отобразить теперь ускоренную хронопроекцию десятилетней виртуальной подшивки, можно увидеть, что ячейки рубрик остаются примерно постоянными или меняются медленно и плавно, а сочетания буквочек внутри колонок меняются быстро, просыпаясь подобно песку в песочных часах.

Такая диссипативная структура бросового, предназначенного к ежедневному всеожжению «знания» получается настолько прочной, неразрушимой, что ускоренная смена носителей оказывается не в состоянии (вопреки МакЛюэну) существенно повлиять на ее простую формулу. Эта формула проступает на любом покрытии — от бумаги до электромагнитных волн. Собственно, мы имеем здесь дело с онтологией новой социальности, ПСК, и процесс транспарации, в ходе которого становится прозрачной сама онтология, поднявшаяся к кромке происходящего (благодаря соскребанию и вытравливанию всех защитных слоев), еще будет проанализирован особо.

Кое-какие вещи относительно устройства медиасреды становятся яснее, если обратиться к ее младшему брату, точнее, к младшей сестре — сфере SMS-сообщений. В этом случае особенно трудно не обратить внимания на вопиющий контраст между техническим совершенством носителя сообщения и редкостной примитивностью содержимого; журналистика в чистом виде обнажает этот контраст не так явно.

Экстраполируя тенденцию константности медиасреды во всех ее проявлениях, придется, пожалуй, переосмыслить и такое давнее чаяние человечества, как *передача мыслей на расстоянии*. В каком-то смысле переход на этот новейший носитель уже включен в повестку дня. Встроенные чипы и микронаушники, вероятно, позволят подключить передаваемые сообщения к «внутреннему голосу» и внутреннему слуху, и тогда проблема локализации источника зова (извне или изнутри) уже не будет иметь столь очевидного решения, по-видимому, с новой остротой предстоит поставить фрейдовский вопрос о *всегоуществе «мысли»*, *приходящей как бы извне*, причем начинать придется с неизбежности кавычек, окружающих теперь «мысль».

Ведь мысли, которые способны передаваться на расстоянии в уже привычном скоростном режиме бегущей строки, заслуживают это имя ничуть не больше, чем совокупный продукт журналистики заслуживает имя знания. Если уж медиасреда не претерпела существенных изменений при переводе ее с бумажной на электронную поверхность, нет никаких оснований полагать, что она сможет или вознамерится сообщить нечто иное при обращении непосредственно к внутреннему голосу и слуху. В очередной раз срабатывает величайшая превратность сущего: вот, в

результате невероятных усилий теоретической и технической мысли становится наконец возможной непосредственная передача мысли на расстоянии. Все принимают лихорадочно пользоваться этой возможностью — и что же? Через самое кратчайшее время человечество ставит перед учеными новую задачу: во что бы то ни стало и как можно скорее создать блокиратор, прерывающий передачу мысли на расстоянии. Ибо с поразительной легкостью передаваемые мысли не стоят и выеденного яйца, но от этого число желающих осчастливить ими человечество не уменьшается: ведь и знаменитое не отличающееся особой содержательностью сообщение «Здесь был Вася» никогда не испытывало особого недостатка в авторах...¹

Мысль, уложившаяся в формат SMS, по справедливости должна именоваться «SMSсль», а разница между мыслью и SMSлью такая же, как между *государем* и «милостливым государем». Важнейшая проблематика его *cogito* здесь остается даже не затронутой. Ведь введение в состояние «я мыслю» является чем-то единичным и эксклюзивным даже тогда, когда к делу прилагается максимум педагогической помощи, то есть когда мысль пытаются не просто передать, а вживить, раздуть подобно тлеющий искорке. То есть мысль, не сумевшая на расстоянии сделать другого субъекта тоже мыслящим, теперь сближена настолько, что, кажется, ей некуда деваться. И все же она ускользает, не производит вспышки его *cogito* — скажем так, слишком часто ускользает. Ускользает и собственная мысль, едва успевшая родиться, — когда нет никакого расстояния — как если бы интенция развоплощения была атрибутом этого удивительного феномена.

¹ В более общем виде проблема рассмотрена в работе: Секацкий А. К. *Онтология лжи*. СПб., 2000.

В сущности, о «передаче мысли на расстоянии» речь может идти примерно в том же смысле, как о «передаче прогулки на расстоянии», — если уж вспомнить контекст полемики Декарта и Гоббса. Труд мысли, труд по ее «передаче», усилие ее собственной длительности — все это, в принципе, одно и то же, процесс не может быть минимизирован без ущерба для содержания. Кстати, не так просто выделить и *содержание мысли* в отличие от самой мысли — и здесь опять же на ум приходит *конспект прогулки* в отличие от самой прогулки... Легкомыслие может вызвать к себе снисходительность, но вряд ли кто-либо сочтет его интеллектуальным достоинством. И поскольку пример самого первого бумажного носителя руморологии, носителя сведений, в отличие от знаний, ничуть не потускнел при переходе к новейшим, модернизированным носителям того же рода, нет никаких оснований полагать, что трансляция, непосредственно подсоединенная к контуру внутреннего голоса, окажется чем-то воистину чудесным, чем-то принципиально иным, нежели информационный медиатор ПСК. Все, что поместилось на ленте mass media, поместилось там потому, что было предварительно «оцифровано», — и, стало быть, все, не поддающееся оцифровке, было отброшено: труд обдумывания, шлейф происхождения, опыт мышления этой мысли другими мыслящими...

Содержание

ЧАСТЬ 1. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА

1. Статус философии как социальный индикатор	7
2. Испытания чистого разума	26
3. От имманентности духа к социально-культурной плоскости	33
4. Промежуточная апология	48
5. Еще одна попытка	55
6. В поисках новой мифологии	73
7. Преодоление трансцендентного и мания наглядности	139
8. Демократизация сексуальности	173
9. Художник как индикатор анестезии	217
10. Сетезяз и культурная революция	235
11. Транспарация экономики	260

ЧАСТЬ 2. МЕДИАТОРЫ СОЦИАЛЬНОСТИ

12. Деньги, грезы и неврозы	271
13. Боль в уплату	283
14. Основной ресурс и онтология дефицита	301
15. Выпуск новостей	316

Александр Куприянович Секацкий
ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК ПРОГРЕССА
(От Просвещения к Транспарации)

Редактор П. Крусанов. Художественный редактор
А. Веселов. Корректор Н. Князева. Компьютерная
верстка О. Леоновой.

Подписано в печать 14.11.12. Формат 84х108 1/32.
Гарнитура Академическая. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 21. Тираж 2500 экз.
Заказ 6766.

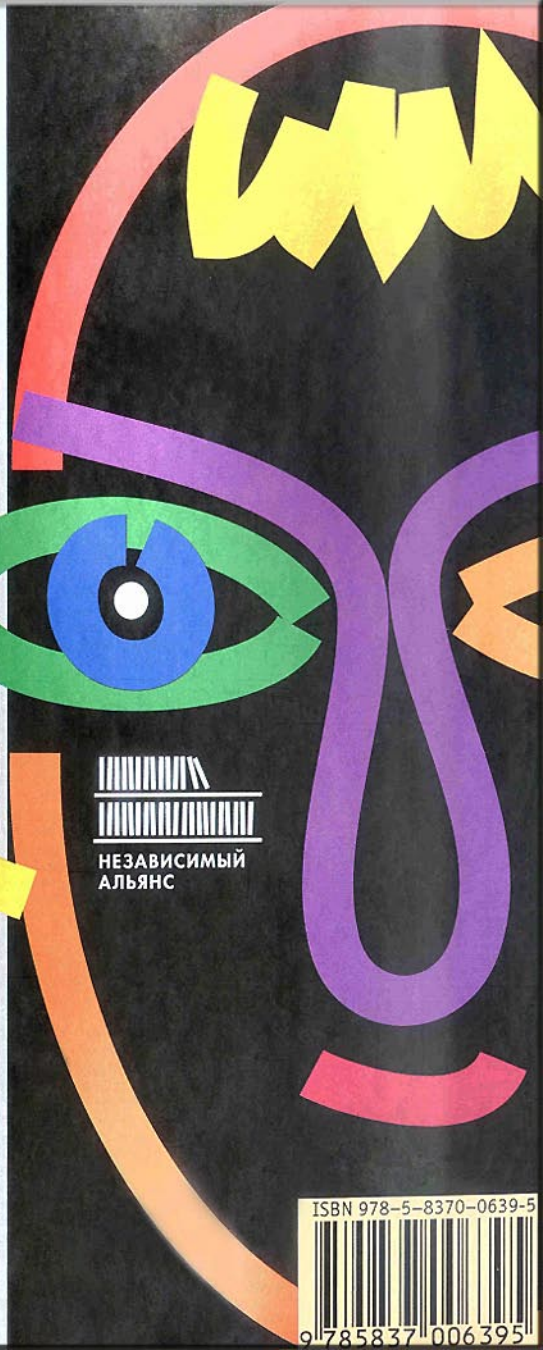
Издатель: Некоммерческое партнерство «Агент-
ство по развитию международных культурных
связей “Петербургский салон”». 191025, Санкт-
Петербург, Дмитровский переулок, д. 7, пом. 2н.
Тел. 315-90-35.

Издание подготовлено: ООО «Издательство
К. Тублина». 190005, Санкт-Петербург, Измай-
ловский пр., 14, Тел./факс 712-67-06.

Отпечатано по технологии СТР в ИПК ООО
Ленинградское издательство». 194044, Санкт-
Петербург, ул. Менделеевская, д. 9. Тел/факс:
(812) 495-56-10.

Демократизация не ограничивается сферой политических прав, гораздо более важным моментом является демократизация истины, ее упрощение, сведение к общедоступности, к возможности быть переданной в SMS-режиме. Одновременно аналогичные процессы происходят и в культуре, и дело не в смене тем и стилей, а в том, что господствующей формой духовного производства становится культура с доставкой на дом.

Исчезает измерение постыдного и таинственного, технологии обезвреживания бессознательного достигли феноменальных успехов. Фактически, утопия Просвещения оказалась полностью реализованной, началась следующая фаза того же процесса, ее уместно назвать Транспарацией, восхождением к еще большей прозрачности. Теряющий тайну субъект теряет и свое имя. Сегодня мы можем говорить о синтезе новой человеческой единицы, чье имя – хуматон. Реформированный субъект уже создает собственную примитивную мифологию, его ярким прообразом является Форрест Гамп, герой одноименного фильма, а само вторичное упрощение человеческого бытия оказывается основополагающим скрытым содержанием современности.



НЕЗАВИСИМЫЙ
АЛЬЯНС

ISBN 978-5-8370-0639-5



9 785837 006395